**Любовь на темной улице**

Ирвин Шоу

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЖЕНИЛСЯ НА ФРАНЦУЖЕНКЕ

Эта привычка крепко-накрепко укоренилась в нем. Теперь, по сути дела, она превратилась в ночной ритуал. Как только он садился в поезд для сезонников и льготников на Центральном вокзале, то первым делом раскрывал французскую газету. Чтение ему давалось с трудом, так как он начал сам изучать французский, когда вернулся с войны из Франции, а с тех пор прошел только год. В конце концов ему удалось прочитать почти всю ее: на второй полосе сводку о несчастных случаях и совершенных преступлениях, раздел политики, театральную и даже спортивные странички. Но, прежде всего, его интересовали информационные сообщения о покушениях, взрывах пластиковых бомб, одиночных и массовых убийствах, которые совершала в Алжире и по всей Франции ОАС — секретная вооруженная организация, поднявшая мятеж против правительства генерала де Голля.

Он искал одно имя. Вот уже больше года не мог его найти. И однажды дождливым весенним вечером, когда битком набитый этими провинциалами, жителями предместий, поезд медленно выползал из-под свода вокзала, он его, наконец, увидел. В газете сообщалось, что накануне ночью в Париже произошло одиннадцать взрывов. Были взорваны книжный магазин, аптека, квартиры двух чиновников, дом журналиста. Репортер получил несколько ранений в голову, но его жизнь, как обычно говорят, была вне опасности.

Бочерч бросил газету под лавку. Нет, такую домой он не принесет.

Он сидел, глядя в окно, покрытое каплями дождя, а поезд, выскочив из тоннеля, мчался вдоль Парк-авеню. Все произошло не совсем так, как он предсказывал, но его прогнозы оказались весьма и весьма точными. Он смотрел в окно. И вот нынешний год пропал, многоквартирные жилые дома Нью-Йорка с их мокрыми крышами исчезли тоже, и их заменили парижские улицы в разгар дня...

Бочерч вошел в табачную лавку и с помощью разыгранной небольшой пантомимы и довольно понятных жестов получил то, что хотел, — сигару. За этот день это уже вторая. Дома он закуривал сигару только после обеда, но сегодня он в отпуске, к тому же он с двумя старыми приятелями вкусно поел за ланчем, а Париж вокруг него был таким оживленным, таким странным, таким забавным, а вторая сигара вызывала у него еще более осязаемое ощущение роскоши и благополучия. Он со знанием дела зажег сигару и пошел, прогуливаясь по выставившей напоказ свое богатство улице, любуясь яркими витринами, красивыми женщинами, последними лучами осеннего солнца, освещающими высокую позеленевшую колонну, на верху которой гордо стоял Наполеон. Он заглянул в знаменитый ювелирный магазин, решив, правда не окончательно, проявить свою щедрую экстравагантность и купить сережки для жены. Он туда вошел, но очень скоро вышел, печально покачивая головой. Такие сережки ему не по карману. Чуть дальше он остановился у книжного магазина и купил ей большой, прекрасно отпечатанный альбом цветных эстампов Эколь-де-Пари1. Альбом стоил дорого, но если судить по сережкам, то игра стоит свеч.

К тому же Жинетт никогда не сходила с ума по драгоценным украшениям. Ему в этом отношении явно повезло. Это еще объяснялось и тем, что до прошлого года, когда Бочерч стал партнером в той адвокатской конторе, в которой проработал со дня получения диплома, они с Жинетт были стеснены в средствах и не позволяли себе бездумно транжирить деньги. Дети, налоги, строительство своего дома возле Стэмфорда — все это требовало больших денег, так что в результате оставалось совсем немного, и думать о приобретении бриллиантовых сережек уже не приходилось. Бочерч был уверен, что она так красива, так очаровательна, что бриллианты ей ни к чему. Он улыбнулся про себя: какой он умный и находчивый, и похвалил свой рациональный подход к жизни.

Пройдя с полквартала от отеля, он увидел ее. Она шла в каких-то двадцати ярдах от него, в густой толпе прохожих, но он никогда не смог бы ни с кем спутать ее головку с аккуратной прической, ее строгую походку, прямую фигуру. Но она была не одна. Рядом с ней шел какой-то мужчина в плаще и мягкой зеленой тирольской шляпе. Жинетт взяла его под руку, и пара не спеша направилась к отелю на углу улицы Риволи. Они были увлечены серьезной беседой, и Жинетт, повернув голову, внимательно слушала своего спутника, который ловко лавировал между прохожими, направляя ее на свободное место. Время от времени они останавливались, как будто такой остановки требовала особая серьезность темы, которую они обсуждали.

Глядя на них, Бочерч почувствовал, как вдруг пропадает, словно соскальзывает с него прежнее чувство роскоши, благополучия, пропадает удовольствие от пребывания в этом прекрасном городе. Такое с ним случалось впервые в жизни. Она была настолько увлечена беседой с этим человеком в плаще, настолько сосредоточенна и внимательна, дружелюбна, что, казалось, совершенно позабыла обо всем на свете. Подойди он к ней сейчас, встань перед ней, то пройдет немало времени, покуда она его не узнает, его, своего мужа. После почти тринадцати лет брака такая необыкновенная увлеченность жены разговором с этим чужаком, ее связь с этим незнакомцем, их появление на неизвестной ему улице заставили Бочерча почувствовать себя каким-то потерянным, отрешенным человеком, и на какое-то мгновение у него промелькнула мысль о вполне реальной возможности ее ухода от него.

Он, остановившись, принялся разглядывать витрину, чтобы изгнать из своего сознания образ этой воркующей пары. Бочерч смотрел на свое отражение в стекле — крупный, здравомыслящий, уверенный в себе мужчина, которому немного за тридцать, вполне привлекательный, с отличным здоровьем, с морщинками у рта, свидетельствующими о веселости нрава. Это было отражение человека, который никогда не проявлял капризов, никогда не был подвержен невротическим фантазиям, отражение человека, который мог положиться на самого себя, умел преодолевать любой кризис, действуя разумно и решительно, человека, которого ничто не заставит делать поспешных выводов, которого не расстроят, не потрясут беспочвенные страхи.

Продолжая глядеть в витрину, он заставил себя трезво проанализировать, чем, какими причинами можно объяснить ту картину, которую только что видел. Жена сказала, что мать пригласила ее на ланч. Бочерч несколько раз обедал в компании этой старой дамы, но так как она не говорила по-английски, а он — по-французски, то он вскоре понял, что его обязанность зятя посещать время от времени тещу к этому периоду исчерпала себя, и он вымолил у жены позволение встречаться за ланчем с друзьями. Он посмотрел на часы. Начало пятого. Любой ланч уже давно закончился, даже здесь, в Париже. Даже если она была у матери, то после ухода от нее по окончании ланча у нее была масса времени на другие встречи. Жинетт выросла в Париже, и дважды одна, без него, посещала Францию после их женитьбы. В таком случае этот человек в плаще мог быть одним из сотни ее старых друзей или знакомых, которого она встретила совершенно случайно на улице. Но мысль о том, как Жинетт и этот человек в плаще вели себя всего на расстоянии двадцати шагов от него, перечеркнула догадку о случайной встрече и заставила звучать слова «друг» или «знакомый» натянуто и фальшиво.

С другой стороны, за тринадцать лет брака Жинетт никогда, ни на секунду, не позволяла ему усомниться в своей супружеской верности и не проявляла абсолютно никакого интереса к любому другому мужчине. Кроме того, в последний раз, когда она была в Париже, чтобы погостить у матери, то сократила на две недели свое пребывание там, так как, по ее словам, больше не могла выносить долгой разлуки с ним, Бочерчем, и детьми. И во время этого визита, который длится вот уже три недели, они повсюду были вместе, весь день, за исключением тех нескольких часов, когда женщины исчезают за дверьми парикмахерских салонов или роскошных мастерских кутюрье.

Еще одно сомнение сбивало с толку. Если ей захотелось что-то скрыть от него, что тогда ей делать здесь, рядом с отелем, где она могла столкнуться носом к носу со своим мужем в любой момент? Если нечего от него скрывать и она чиста, тогда, может, она его нарочно провоцирует... Провоцирует для чего? Он старался стоять перед стеклом витрины абсолютно неподвижно, словно статуя, не шевеля даже пальцем. Он обучил себя этому трюку, полной застывшей неподвижности, давным-давно, когда его так и подмывало распоясаться, разразиться бранью, вести себя безрассудно, давая выход гневу и нетерпимости. В молодости он был страстным и яростно отчаянным. Его выгнали из двух подготовительных школ и одного колледжа. Ему удалось избежать военного трибунала в армии только благодаря неожиданно проявленной доброжелательности со стороны майора, которому он нанес оскорбление. Бочерч был нервным, теряющим порой рассудок драчуном, очень легко наживал себе врагов, проявлял свое нетерпение, бывал груб как с мужчинами, так и с женщинами.

Он переделал себя, хотя это был медленный и весьма болезненный процесс, и все потому, что был достаточно умен, чтобы понять, что несет в себе разрушительное начало. Можно сказать, он изменил свой обычный отталкивающий образ, свое поведение. Он знал, чего хотел, каким хотел стать, чтобы достичь поставленных перед собой целей. И сызмальства знал, каковы эти цели. Надежная финансовая обеспеченность, репутация честного человека, не чурающегося тяжелой работы, достойный брак с любимой девушкой и хорошие, воспитанные дети, ну а позже — политическая власть в руках и должность в Верховном федеральном суде. «Всего этого ему не добиться, — думал вполне резонно он, — если не научится держать себя в руках всегда, без исключений».

Он насильно заставлял себя действовать не спеша, медленно, подавлять в себе приступы ярости, старался предстать перед окружающими спокойным, рассудительным человеком, умеющим держать себя в узде. Даже в отношениях с Жинетт ему удалось, почти до конца, сохранять этот свой новый образ. Все это далось высокой ценой, но теперь он понимал, что игра стоила свеч. Он в глубине души, конечно, знал, что человек он неистовый, непредсказуемый, готовый порой взорваться, самым фатальным образом причинить себе вред ради моментальной вспышки гнева, ради внезапно овладевшего им мимолетного желания. Его умышленно разработанные движения, мягкость речи, формальная атмосфера уединенности, которой он окружил себя, были лишь заранее четко рассчитанными способами самосохранения. Хотя внешне он казался самым спокойным, самым уравновешенным человеком в мире, внутри постоянно чувствовал грызущую его опасность. Хотя внешне казался таким хладнокровным, таким рационально мыслящим человеком, внутри ему постоянно приходилось вести ежедневную ожесточенную борьбу с самим собой, подавлять приступы ярости и отказываться от иррационального подхода к жизни, и ему приходилось постоянно жить в холодящем душу страхе ожидания того ужасного дня, когда мягкий, восхитительный, но все-таки притворный характер, который служил маской для его внутреннего кипения, не даст трещину и не разлетится на мелкие осколки.

Провоцировать, провоцировать...

Бочерч пожал плечами. Он бросил последний взгляд на отражение в витрине высокого, здравомыслящего, хорошо одетого человека, то есть на себя, и, повернувшись, направился к отелю. Жинетт с этим человеком в плаще тем временем исчезли из поля зрения. Бочерч быстро прошагал несколько ярдов до отеля, у входа выбросил сигару и вошел в вестибюль.

Жинетт с этим незнакомцем стояли в холле возле стола консьержки. Ее спутник, сняв шляпу, медленно крутил ее в руках. Когда Бочерч подошел поближе, то услыхал, как Жинетт осведомлялась у консьержки: «Месье Бочерч уже вернулся?» — это была одна из немногих фраз, которые он понимал на французском.

— Бонжур, мадам, — сказал, улыбаясь, Бочерч, стараясь ничем себя не выдать. — Не могу ли вам чем-то помочь?

Жинетт обернулась.

— Том, — сказала она, — я думала, что ты уже вернулся. — Она чмокнула его в щеку. Бочерчу показалось, что она вся напряжена и что ей как-то неловко. — Прошу, познакомься с моим другом. Клод Местр. Мой муж.

Бочерч с Клодом пожали друг другу руки. От краткого прикосновения у него возникло ощущение сухости и натянутых нервов. Высокий, худой человек с высоко поставленными изогнутыми бровями, мягкими каштановыми волосами. Глубоко посаженные, обеспокоенные глаза серого цвета и длинный прямой нос. Привлекательный мужчина, ничего не скажешь, но только лицо у него бледное, усталое, словно он сильно переработал. Он вежливо улыбнулся, приветствуя Бочерча, и в его улыбке была какая-то скрытая неясная привлекательность.

— Ты больше не выйдешь в город, Том? — спросила Жинетт. — Можно посидеть где-нибудь, выпить. Ну, что скажешь?

— Само собой, — отозвался нейтральным тоном Бочерч.

— Мне не хотелось бы портить вам весь вечер, — сказал Местр. У него чувствовался сильный акцент, но говорил он медленно и понятно, стараясь точно выговорить каждый слог. — У вас так мало осталось времени в Париже.

— Нам нечего делать до обеда, — сказал Бочерч. — Я не прочь выпить.

Они пошли по длинному узкому коридору, где дамы преклонного возраста пили чай. Бар помещался в громадном темном, почти пустом холле, с привычными потускневшими золотыми листочками и панелями из красного дерева: элегантная обстановка дворца девятнадцатого века. Местр учтиво открыл перед ними дверь. Когда они входили, Жинетт крепко стиснула руку Бочерча. Тот сразу ощутил сильный, приятный запах ее духов.

— Ну, как поживает мать? — поинтересовался Бочерч, когда они шли через весь салон к высоким окнам, выходящим на Тюильри.

— Отлично, — сказала Жинетт. — Она так расстроилась, что ты не пришел со мной на ланч.

— Передай ей, в следующий раз обязательно приду. — Они отдали свои пальто официанту и сели за столик. Бочерч передал ему и альбом с красочными эстампами, ничего не говоря Жинетт о том, что это такое.

— В этом баре какая-то зловещая атмосфера, не находите? — спросил Местр, оглядываясь по сторонам. — Скорее это очень удобное место для призраков любителей выпить.

— Думаю, здесь было довольно весело, скажем, в 1897 году, — заметил Бочерч.

Подошел официант, и все они заказали себе виски. Когда Жинетт слегка наклонилась к мужу, чтобы он зажег ей сигарету, он вновь почувствовал дразнящий запах ее духов. Он заметил, или это только показалось, холодное, задумчивое выражение на лице Местра, как будто этот француз пытался догадаться об их отношениях мужа и жены в тот краткий момент, когда они оба слегка наклонили друг к другу головы, потянувшись к зажженной зажигалке.

В баре сидели двое крупных американцев, и их басовитые голоса создавали гудящий фон в глубине холла. Время от времени через пустые столики долетали их обрывочные понятные фразы.

— Главная проблема, — говорил один из них, — это бельгийская делегация. Они все такие мрачные и ужасно подозрительные. Я отлично понимаю почему, но... — голос оборвался, погрузился в неразборчивый гул.

— Клод — журналист, — сказала Жинетт голосом хозяйки, представляющей гостей на домашнем приеме.

— Я могу только поздравить, — произнес Бочерч. — Имею в виду вашу профессию журналиста. Как и многим в Америке, в молодости мне хотелось стать журналистом. Но никто так и не предложил мне работу. — «Да, именно его имя я видел в газете, — подумал он. — Я был прав. Она позвонила ему. Это не была никакая случайная встреча на улице».

Местр пожал плечами.

— Может, скорее мне пристало поздравить вас с этим, — ответил он. — Я имею в виду, с тем, что никто вам не предложил работу. Иногда у меня бывают такие моменты, когда я считаю того человека, который доверил мне первую мою работу в газете, своим злейшим врагом. — Он казался усталым, этот человек, лишенный всех иллюзий. — Например, мне и мечтать не приходится, чтобы одеть свою жену так шикарно, как одевается Жинетт, или позволить себе шестинедельное турне по Европе в середине осени, подобно вам.

«Как может мужчина питать такую отвратительную зависть, произносить такие неприятные слова?» — подумал Бочерч.

— Ах, — воскликнул он, — значит, вы женаты?

— Женат, и навечно, — заключил Местр.

— У него четверо детей, — объяснила Жинетт.

«Что-то она так торопится», — с неприязнью подумал Бочерч.

— Я лично пытаюсь восстановить демографический дисбаланс, который оставил нам Наполеон в наследство, — сказал Местр, улыбнувшись, с явной иронией в голосе.

— Ты видела его детей? — спросил Бочерч Жинетт.

— Нет, — однозначно ответила она.

Больше он не дождался от нее никакой информации по этому поводу.

Официант принес стаканы с выпивкой. Местр поднял свой.

— За ваше приятное пребывание в приятной стране, — произнес он все с той же острой иронией. — И за скорейшее возвращение домой.

Они выпили. Воцарилась неловкая тишина.

Чтобы нарушить тягостное молчание, Бочерч спросил:

— Какая у вас специальность? Я имею в виду, работаете ли вы в определенной области журналистики? О чем пишете?

— Моей областью являются война и политика, — ответил Местр. — Как видите, выигрышные темы.

— Да, тут не будешь сидеть сложа руки, как мне кажется, — выразил свое мнение Бочерч.

— Да, вы правы. Всегда находятся дураки и жестокие негодяи, которые не оставят такого человека, как я, без работы, — сказал Местр.

— Как вы думаете, а что произойдет здесь, во Франции? — спросил Бочерч, решительно настроенный быть отменно вежливым и поддерживать беседу до того момента, покуда не выяснит, даже в результате осторожного намека, почему это Жинетт захотелось познакомить его с этим человеком.

— Ну а что вы сами думаете по этому поводу? Что может произойти здесь, во Франции? — повторил Местр его вопрос. — Теперь у нас во Франции новая форма приветствия. Она практически заменила привычные «Bonjour"1 и «Comment ca va?"2— Он пожал плечами. — Нам грозят серьезные неприятности.

— Всем грозят серьезные неприятности, — отозвался Бочерч. — Америке тоже.

— Неужели вы на самом деле думаете, — Местр сверлил его своим холодным, ироничным взглядом, — что в Америке у вас будут такие проявления насилия, волна политических убийств и вспыхнет гражданская война?

— Нет, не думаю, — сказал Бочерч. — Так вы считаете, что такое возможно здесь, у вас?

— В определенной мере, — ответил Местр. — Как видите, уже происходит.

— Вы полагаете, что такое снова произойдет? — спросил Бочерч.

— Вполне вероятно. Но только в более обостренной форме.

— И скоро?

— Рано или поздно.

— Звучит довольно пессимистически, — сказал Бочерч.

— Во Франции живут исключительно одни пессимисты, — продолжал Местр. — Стоит вам пожить здесь подольше, и вы сами в этом убедитесь.

— Ну, если это произойдет, как вы думаете, кто возьмет верх?

— Отбросы, самые худшие элементы, — сказал Местр. — Конечно, не навечно. На какой-то период. К сожалению, придется пережить такой период. Вряд ли это доставит нам удовольствие.

— Том, — вмешалась в их диалог Жинетт, — может, я доходчивее расскажу тебе все о Клоде. — Она напряженно, внимательно слушала, что говорил он, не спуская с него глаз, в которых сквозила тревога. — Клод работает в одной газете либерального направления, и ее уже не раз конфисковывало правительство за опубликованные об Алжире статьи.

— В общем, — перебил ее Местр, — выходит так, если газета публикует мою статью и ее за это не конфискуют, я начинаю рыться в себе в поисках первых признаков трусости.

«Какая жалость к себе, — подумал Бочерч, — в сочетании с поразительным самодовольством». Чем больше этот человек разглагольствовал, тем меньше он ему нравился.

— Но это еще не все, Том, — продолжала Жинетт. Она повернулась к Местру. — Ты не возражаешь, Клод, если я скажу об этом, а?

— Ну, если ты считаешь, что это его заинтересует... — Клод пожал плечами. — Американцы обычно никогда серьезно не относятся к подобным вещам.

— Что вы, я очень серьезный американец, — возразил Бочерч, в первый раз выдавая свое раздражение. — Я почти каждую неделю читаю журнал «Тайм».

— Теперь вы подшучиваете надо мной, — сказал Местр. — Но я не виню вас за это. Во всем виноват только я один. — Он рассеянно оглянулся. — Нельзя ли еще выпить?

Бочерч, помахав официанту, сделал рукой широкий круг, давая тому понять, что нужно заказ повторить для всех.

— Так что же такое — «не все», Жинетт? — спросил он, стараясь подавлять готовое вырваться наружу недовольство.

— Письма, телефонные звонки, — сказала Жинетт.

— Какие письма, какие телефонные звонки? — не понял он.

— С угрозой убить меня, — с удивительной легкостью объяснил Местр. — Письма обычно адресуются мне лично, звонками донимают жену. Вполне естественно, она сильно расстраивается, ведь она женщина. Особенно тогда, когда раздается до пяти или шести звонков в день.

— Ну и кто их пишет, эти письма? — поинтересовался Бочерч. Как бы ему ни хотелось не верить этому человеку, что-то в его манере говорить сейчас указывало на правду. — Кто звонит?

Местр пожал плечами.

— Кто звонит? Чокнутые, старые вдовы — любительницы оригинальных шуток, армейские офицеры в отставке, убийцы... Ведь они никогда не подписываются, само собой разумеется. Все это старо как мир. Анонимки всегда играли почетную роль во французской литературе.

— Вы думаете, это не пустые угрозы?

— Иногда. — Подошел официант, Местр поднял на него глаза. Он молчал, покуда тот, поставив на стол стаканы, снова не удалился. — Ну, когда я очень устал, подвержен депрессии или когда на дворе идет дождь. Тогда я думаю, что это не пустые угрозы. В любом случае, кое-кто из них на самом деле вынашивает такие планы.

— Ну и что вы в этой связи предпринимаете?

— Ничего, — сказал Местр с удивлением. — Что тут поделаешь?

— Для начала можно сходить в полицию, — предложил Бочерч.

— В Америке любой, несомненно, обратился бы в полицию, — сказал Местр. — Здесь... — Скорчив кислую гримасу, он довольно долго и не спеша потягивал виски. — В данный момент у меня не очень хорошие отношения с полицией. На самом деле, я уверен, что вся моя почта вскрывается, что время от времени за мной устанавливают слежку и мой телефон прослушивается.

— Какой позор! — искренне воскликнул Бочерч.

— Мне нравится твой муж, — с прежней легкостью, почти игриво сказал Местр, обращаясь к Жинетт. — Он считает подобные вещи позором. Чисто американский взгляд.

— У нас, в Америке, бывали такие же времена, — сказал Бочерч, беря под свою защиту тот уровень политического своекорыстия, который существует у него на родине. — Причем не так давно.

— Знаю, знаю, — торопливо заговорил Местр, — я вовсе не считаю Америку сказочной страной, которую обошли стороной особые заразные болезни нашего века. Но все равно, я просто утверждаю, что в Америке любой на моем месте пошел бы в полицию...

— Вы на самом деле считаете, что кто-то может предпринять попытку вас укокошить? — спросил Бочерч.

«Ничего себе, — подумал он, — проводить в Париже отпуск и разговаривать на такие темы!»

— Скорее всего не сейчас, — спокойно сказал Местр, словно с юридической беспристрастностью рассматривая какую-то абстрактную проблему, не имеющую лично к нему никакого отношения. — Но стоит начаться беспорядкам, то наверняка.

— Ну и когда, по вашему мнению, начнутся такие беспорядки?

После нескольких недель, проведенных в этом мирном, сверкающем городе с его многочисленными нарядными магазинами, с его оживленной деловой активностью, с его громадным выбором самых разнообразных, самых утонченных удовольствий, никак нельзя было поверить, что вскоре все это бурное великолепие будет принесено в жертву насилию и кровопролитию. Просто невероятно!

— Когда все это начнется? — повторил Местр. Он задумчиво скосил глаза через плечо Бочерча на отливающие красным деревом темные глубины бара, словно пытаясь нарисовать яркую картину того незавидного будущего, которое ожидало этот город. — Я, как вам, наверное, известно, не вхожу в советы героев, — чуть улыбнулся он, — посему могу лишь строить догадки. Все, конечно, зависит от действий генерала1. От состояния его здоровья — как политического, так и физического. От его способности к выживанию. В настоящий момент все мы переживаем период разрядки. Заговорщики ожидают нужного момента. Убийцы в той или иной мере сидят в своих норах. Но если генерала свергнут, не важно, в силу каких обстоятельств: его слишком большой самоуверенности, его престарелого возраста, в общем, по любой причине, тогда можно ожидать вслед за его падением серьезных политических событий.

— Каких же? — спросил Бочерч.

— Может, мятежа армии в Алжире, — продолжал Местр, — приземления самолетов ВВС на различных аэродромах, волнения в рядах полиции, появления также вооруженных, прошедших специальную подготовку отрядов «коммандос» в различных районах страны, захвата правительственных учреждений, радио- и телестанций, пленения или даже убийства некоторых важных политических деятелей. Все это обычная процедура. Уже нет никакой тайны во всем этом. Проблематичным остается верное определение нужного момента.

— Ты веришь всему этому? — Бочерч повернулся к жене.

— Да, верю, — ответила она.

— Ну а твои остальные друзья придерживаются точно такого же мнения?

— Почти все, — уверенно сказала она.

— Ну а вы, — теперь Бочерч снова повернулся к Местру почти с видом обвинителя, — что вы лично собираетесь делать, если такое, не дай Бог, произойдет?

— Предложу свои услуги правительству, — ответил без колебаний Местр, — то есть при условии, что я смогу найти его и меня к этому времени не запрут в каталажке.

— Иисусе Христе, — воскликнул Бочерч. — Как трудно, однако, быть французом!

— Но и в этом есть свои выгоды, — сказал Местр. — Правда, только иногда.

— Хорошо, — сказал Бочерч, обращаясь к Жинетт. — По-моему, я получил вполне исчерпывающую информацию. Только я не понимаю, для чего она мне? Почему вам захотелось все это высказать именно мне?

Местр с Жинетт обменялись заговорщическими взглядами, и вновь Бочерч почувствовал себя в их компании чужаком со стороны, против которого плетутся сети заговора.

Местр, наклонившись к Жинетт, легко коснулся ее руки.

— Позволь, дорогая, все ему объяснить, — сказал он.

Он, подняв свой стакан, допил его до конца, словно оратор, стремящийся выиграть время.

— Мистер Бочерч, — официальным тоном начал он, — ваша жена была настолько добра, что предложила обратиться к вам. Может, вы мне поможете... — он сделал паузу, ожидая, что Бочерч его перебьет, но тот хранил молчание, явно не торопясь прийти ему на помощь.

— К несчастью, это вопрос денег, — промямлил он наконец.

«Боже мой, — передернуло Бочерча, — весь этот предварительный треп только ради того, чтобы попросить денег в долг!» Как он был зол в эту минуту на Жинетт за все ее тщательно разработанные, хитроумные маневры!

Ожидая продолжения, он чувствовал, как на лице его собирались глубокие морщины — верный признак грядущего отказа.

— Если что-то случится, — опять взялся за свое Местр, явно чувствуя себя не в своей тарелке, — а я верю, что так и будет, мне придется попытаться бежать из Франции. Или, по крайней мере, моя жена с детьми будет в большей безопасности в другой стране. В любом случае я чувствовал бы себя гораздо увереннее, если бы у меня были наличные деньги в другой стране. Они могли бы поддержать меня, помочь мне пережить трудный период ссылки, возможность которой лично для себя и всего своего семейства я вполне ясно предвижу. Нужен счет с определенным номером, например, в Швейцарии, которым либо моя жена, либо я сам могли пользоваться без особых формальностей...

— Я сообщила Клоду, что во вторник мы уезжаем в Женеву, — перебила его Жинетт. Бочерч почувствовал вызов в ее голосе. — Что нам стоит там это сделать? Пара пустяков!

— Ну а теперь позволь мне высказаться начистоту, Жинетт. Ты обещала своему другу, что мы дадим ему в долг определенную сумму денег для... — Он остановился на полуфразе, заметив, насколько поражен его словами Местр. — Может, я что-то не так понял? — спросил он.

— Боюсь, что нет, — сказал Местр. Теперь он казался смущенным и очень сердитым. — Вопроса о займе никогда не возникало. Какое я имею право просить в долг у человека, которого прежде никогда в жизни не видел, хотя бы сотню франков?

— Жинетт, — сказал Бочерч, — думаю, ты все объяснишь гораздо лучше.

— Видишь ли, — начала Жинетт, — французский гражданин не имеет права вывозить деньги из страны. — Ну, во всяком случае, какие-то крохи. А так как мы едем в Швейцарию, мне казалось, что могли бы помочь Клоду.

— Насколько я понимаю, — уточнил Бочерч, — никто не имеет права вывозить деньги из Франции, включая и американцев.

— Двести пятьдесят новых франков, — сказал Местр.

— Но таможенники, — перехватила инициативу Жинетт, — никогда не пристают к американцам. Никогда даже не просят их открыть чемоданы. Ну а если кто-то из них поинтересуется, сколько при тебе наличных денег, ты можешь сказать, что какая-то жалкая сотня франков, и все тут.

— Но все-таки, — упрямо стоял на своем Бочерч. — С технической точки зрения мы в таком случае нарушаем закон.

— С технической, не с технической, — нетерпеливо возразила Жинетт. — Какая, в сущности, разница?

— Мои дорогие друзья, прошу вас, — сказал Местр, положив обе руки на стол жестом миротворца. — Прошу вас, не нужно из-за меня поднимать этот спор. Если вы испытываете хоть малейшее колебание, то я прекрасно понимаю...

— Позвольте, мистер Местр, — сказал Бочерч, — задать вам один вопрос. Предположим, что мы с Жинетт сейчас не приехали во Францию или, предположим, она вам не позвонила, что бы вы делали в таком случае?

Местр задумчиво втянул щеки. Потом заговорил, но заговорил медленно, старательно подбирая слова:

— Думаю, мне пришлось бы попытаться найти для этого кого-нибудь другого. Но, смею заверить вас, я бы чувствовал себя очень, очень, — он подыскивал нужное слово, — очень неуверенно. Я же сказал вам, что время от времени за мной устанавливается слежка. Такую просьбу я мог бы доверить очень близкому другу, так как он рискует, поддерживая со мной близкие отношения, себя сильно скомпрометировать. Если ему не повезет, то и он может попасть под подозрение, особенно при переезде через границу в другую страну. Любого француза наверняка подвергнут обыску, если только он попытается выехать из страны. Вполне вероятно, допросят. В те времена, приход которых я предвижу, такой допрос непременно здесь, во Франции, будет весьма и весьма строгим и дотошным. — Он улыбнулся, довольный своим сдержанным высказыванием. — Мне не хотелось бы ради своей безопасности в это время злоупотреблять терпением, доброй волей и порядочностью ни одного из моих друзей. Человек, которому грозит опасность и которому так необходима помощь, всегда такая обуза. Достаточно в этой связи вспомнить, как всех раздражали эти беженцы во время войны. — Он оглянулся на официанта, жестом подозвал его. — Доставьте мне большое удовольствие, — сказал он, — позвольте мне заплатить за выпивку.

— Минуточку, — остановил его Бочерч. — Какую сумму вы предлагаете доставить в Швейцарию для вас?

— Четыре миллиона франков, — ответил Местр. — Старых, разумеется.

— Это всего лишь восемь тысяч долларов, Том, — сказала Жинетт.

— Знаю, — ответил Бочерч. Он взял из руки официанта чек, не обращая внимания на протесты со стороны Местра. Заплатив по счету, он встал. — Мне нужно подумать об этом и переговорить обо всем с Жинетт. У нее есть ваш номер телефона. Мы позвоним завтра.

Местр тоже встал из-за столика.

— Если вы не возражаете, — сказал он, — я предпочитаю позвонить вам сам. Чем меньше звонков ко мне, тем лучше...

— ...В Африке, например, — басовито гудел один из американцев в глубине бара, — старая система состязательного взяточничества рушится. Но пока никто не придумал ничего более эффективного...

Бочерч вышел вслед за Местром и Жинетт из бара-холла. Они пошли по длинному узкому коридору, где дамы преклонного возраста все еще допивали свой чай, величественно восседая в дорогих манто среди бегающих под ногами пуделей, жуя свои пирожные. Им было наплевать на все заговоры, перемещения войск, уличные бои. Темная фаланга вдов, украшенная драгоценностями — трофеями одержанных ими когда-то побед, сохраняла свою твердую уверенность в безысходности штурма, несущего свои перемены. В этом узком коридоре, где были рассредоточены серебристые старческие седые головки, устрашающие слова Местра, его мрачные предсказания казались несвязным рассказом ребенка об увиденном страшном сне.

В холле Местр поцеловал руку Жинетт, и, сделав корректный, едва заметный поклон в сторону Бочерча, пошел к выходу. «Как он сутулится, — заметил Бочерч, — просто удивительно для такого еще молодого человека».

И походка у него была тяжелой, лишенной элегантности. Когда он надевал свою зеленую тирольскую шляпу, он сделал это небрежно, совсем не стараясь перед ними порисоваться. Кем бы он ни был, сделал свой вывод Бочерч, он явно не профессиональный «истребитель женщин». Но когда он повернулся к Жинетт, ему показалось, что он заметил в ее глазах мягкий всплеск эмоций, который она, конечно, пыталась скрыть, но если это ей и удалось, то лишь частично. Но чем они были вызваны — жалостью к нему или желанием, — сказать было затруднительно.

Они молча поднялись в свой номер. То удовольствие от отдыха, которое они вместе получали с самого начала их приезда в Париж, исчезло, а эта старинная комната с высоким потолком казалась им такой холодной, с неуклюже расставленной мебелью при мутном свете неярких ламп. Жинетт, повесив на крючок пальто, с равнодушным видом возилась со своими волосами, стоя у большого зеркала. Бочерч, бросив сверток с альбомом на стол, смотрел через высокое окно на сады Тюильри1, через улицу под ним, на которой то и дело возникали пробки. Все деревья уже расстались со своей листвой, стояли голые, а люди, спешащие куда-то мимо только что загоревшихся уличных фонарей, казались замерзшими и утомленными.

Бочерч услыхал, как скрипнула кровать. Это на нее села Жинетт.

— Четыре миллиона франков, — задумчиво произнесла она. — Это все деньги, накопленные им за всю жизнь. Больше у него нет ничего в этом мире.

Бочерч молчал. Он все глядел через окно на потемневшие в сумерках сады.

— Если ты не провезешь их для него, — сказала она, — то это сделаю я.

Бочерч тяжело вздохнул. Он намеренно не спеша повернулся к окну спиной.

— Какую же глупость ты сморозила! — прокомментировал он.

Жинетт смотрела на него, не скрывая своей холодности и враждебности к нему.

— Ты так считаешь? — спросила она. — Может, ты и прав.

Забросив ноги на кровать, она лежала, уставившись в потолок.

— Тем не менее я серьезно.

— Какой будет замечательный заголовок в газете, — недовольно проворчал Бочерч: — «Супруга нью-йоркского адвоката задержана в Париже полицией за попытку провезти контрабандой французские банкноты. Ее муж заверяет, что ему ничего неизвестно о такой преступной деятельности жены».

— Означает ли это, что ты отказываешься помочь Клоду? — сказала она ровным голосом, не отрывая взора от потолка.

— Это означает, что, как правило, я являюсь законопослушным гражданином, — сказал Бочерч. — Еще это означает, что если я являюсь гостем в какой-то стране, то предпочитаю не надувать своих хозяев.

— Ах, — язвительно воскликнула Жинетт. — Какое счастье родиться американцем. И пуританином. Как это удобно!

— Это также означает, что я пытаюсь определить, стоит ли такой риск возможных выгод, — продолжал Бочерч.

— Никаких выгод не будет, — сказала Жинетт. — И нечего тут гадать, чем это тебе грозит. Человек попал в беду, и мы можем ему помочь. Вот и все.

— Не он один. Таких, как он, пруд пруди, — упрямо возразил Бочерч. — Вопрос состоит в следующем: почему мы выбрали именно этого индивида, чтобы помочь ему?

— Он тебе явно не понравился, так?

— Никак не могу утверждать обратное. Это тип с громадным самомнением, он любуется своим умом и снисходительно относится к американцам.

Вдруг, ни с того ни с сего, Жинетт расхохоталась.

— Чего это ты смеешься? — настороженно спросил Бочерч.

— Потому, что ты такой точный аналитик, — сказала Жинетт. — Нарисовал его точный портрет. Да, он такой, совершенный образец француза-интеллектуала. — Она снова засмеялась. — Обязательно расскажу ему, как ты его здесь разделал под орех. Он будет вне себя от ярости.

Бочерч озадаченно, ничего не понимая, смотрел на жену. Она смеялась искренне, без всякой фальши, и то, что только что сказала, ни одна женщина не скажет о мужчине, который ей нравится. Но снова перед его глазами замаячила эта парочка: оба они были так увлечены беседой друг с другом, что ничего не замечали вокруг, там, на улице, перед самым их отелем, к тому же почему это Жинетт с такой напористостью подталкивает его, Бочерча, на такой рискованный шаг — оказать помощь этому Местру?

Бочерч сел на край кровати.

— Вопрос состоит в следующем, — повторил он свою фразу, — почему мы из всех выбираем именно этого индивида, чтобы помочь ему?

Жинетт молча лежала на кровати, вытянув руки по швам, положив ладони на покрывало из парчи.

— Потому что он — мой друг, — наконец ответила она. Потом снова помолчала. — Этого разве недостаточно?

— Не совсем, — уклончиво ответил Бочерч.

— Потому, что он француз, а я родилась в Париже, — продолжала она. — Потому, что он талантливый человек, потому, что я согласна с проповедуемой им политикой, потому, что люди, которые пытаются его убить, — злодеи...

Она сделала паузу, еще подождала реакции мужа. Но Бочерч по-прежнему молчал.

— И этого тебе недостаточно, да? — сказала Жинетт.

— Тогда потому, что он был моим любовником, — добавила она без особой эмфазы1, равнодушно глядя в потолок. — Ты этого не ожидал?

— Я догадывался, — признался Бочерч.

— Но это было давно, — продолжала Жинетт. — Во время войны. Он был моим первым мужчиной.

— Сколько раз ты виделась с ним после того, как мы поженились? — спросил Бочерч.

Он старался не глядеть на жену, но настороженно прислушивался, нет ли фальши в ее голосе. Жинетт никогда не была лгуньей, но ведь и такого вопроса между ними никогда не возникало, надо признаться, и Бочерч был уверен, что все поголовно: и мужчины, и женщины — постоянно лгут, когда приходится обсуждать столь щекотливую тему.

— С 1946 года, — сказала Жинетт, — я встречалась с ним только дважды — вчера и сегодня.

— Почему же через столько лет ты вдруг решила позвонить ему вчера?

Жинетт протянула руку к ночному столику, вытащила из лежавшей на нем пачки сигарету. Машинально Бочерч дал ей прикурить. Она снова легла на кровать, положив голову на валик, выпуская кольца дыма вверх над собой.

— Не знаю, — призналась она. — Любопытство, ностальгия, чувство вины — все эти средневековые чувства вдруг обрушились разом на меня, мне захотелось вспомнить то время, когда я была молода. А вдруг я теперь долго не увижу Париж? К тому же мне хотелось освежить кое-какие воспоминания, уточнить их... В общем, не знаю. У тебя никогда не появлялось желания встретиться со своей первой в жизни девушкой?

— Нет, — понуро сказал Бочерч.

— Ну, может, мы, женщины, скроены иначе. Или это касается только француженок. Или только меня одной. — Она, прищурившись, смотрела на потолок через плавающие облачка дыма. — Тебя не волнует, что было потом?

— Нет, — хмуро отрезал Бочерч. Он ничего не сказал ей о той мысли, которая его внезапно посетила там, на улице, когда он увидал их вдвоем, мысль о возможном ее уходе от него.

— Мы выпили по паре кружек пива у собора Парижской Богоматери, потому что он привел меня туда однажды, в день моего рождения. Не прошло и десяти минут, как он начал говорить о политике, о своих проблемах и о возможной своей ссылке в Швейцарию. Хотя эту тему затронула я, так что тебе не в чем его обвинять.

— Я ни в чем его не виню, — сказал Бочерч. — Но все же... почему ты ничего не сказала мне об этом вчера?

— Я подумывала о том, что смогу сама переправить через границу эти деньги, чтобы тебя не беспокоить. Потом сегодня я решила, что таким образом поступлю несправедливо по отношению к тебе и что тебе самому нужно поговорить с Клодом. — Она, подняв голову, бросила на него пытливый взгляд. — Разве я была не права?

— Права, — ответил он.

— Я не могла себе и представить, что ты обойдешься с ним так сурово, — сказала Жинетт. — Ты себя вел в его компании так, как никогда прежде. Ты не был похож на самого себя. Ты всегда такой милый, такой обходительный с людьми. Но ты был настроен против него с самого начала и воспринял его в штыки.

— Это — правда, — сказал Бочерч, не удостаивая ее своими объяснениями. — Послушай, — продолжал он, — если тебе не хочется мне обо всем этом рассказывать, то лучше не надо.

— Нет, надо, — огрызнулась Жинетт. — В таком случае ты лучше поймешь, почему я должна помочь ему, если смогу. Ты лучше поймешь его, меня.

— Неужели ты считаешь, что я тебя не понимаю? — с удивлением спросил Бочерч.

— Не очень хорошо, — ответила Жинетт. — Мы всегда так сдержанны друг с другом, всегда так вежливы, всегда опасаемся, как бы не сболтнуть лишнего, чтобы, не дай Бог, не нанести друг другу обиду или даже оскорбление...

— Что же в этом дурного? — искренне удивился Бочерч. — Я всегда считал, что это одна из причин, сделавшая наш брак таким крепким, таким продолжительным.

— Крепким! — усмехнулась Жинетт. — Где ты видел крепкие браки?

— К чему, черт бы тебя побрал, ты клонишь, никак не пойму? — возмутился Бочерч.

— Не знаю, — вяло ответила Жинетт. — Не жди ничего особенного. Может, я соскучилась по дому, правда, я не знаю, где мой дом. Может, нам не стоило приезжать в Париж. Может, потому, что я была глупой маленькой девчонкой здесь, в Париже, и по инерции обязана вести себя точно так, как глупая маленькая девчонка, когда я снова здесь, хотя я уже трезвомыслящая американская матрона. Я похожа на здравомыслящую американскую матрону, Том? Что скажешь?

— Нет, не похожа, — осадил он ее.

— Я иду по улице и забываю, кто я такая, забываю, сколько мне лет, забываю, что у меня в сумочке американский паспорт, — тихо рассуждала она. — Мне снова восемнадцать лет, на всех улицах полно немцев в мышиного цвета форме, и я стараюсь понять, влюблена я или еще нет, меняю свое мнение на каждом углу и дико счастлива. Не падай в обморок! Я была счастлива не потому, что шла война и немцы гуляли по Парижу, я была счастлива потому, что мне было только восемнадцать. Войну нельзя рассматривать только в одном черном цвете, даже в оккупированной стране. Возьми меня за руку, прошу тебя.

Она скользнула рукой по парчовому покрывалу к краю кровати. Он накрыл ее своей, сжимая ее длинные, холодные пальцы, чувствуя ее мягкую ладонь, тонкое колечко металла — их свадебное кольцо.

— Мы никогда целиком не открывали друг другу душу, ни ты, ни я, — печально сказала она, — любой брак требует определенных взаимных признаний, а мы здесь жадничали, проявляли свою скупость. — Она сжала его пальцы. — Тебе нечего беспокоиться. Никакого всемирного потопа не будет. Никакой катастрофы. У меня нет списка скандальных любовных похождений. У меня был только один Клод, но потом я вышла за тебя замуж. Расхожее американское мнение о легкомысленных француженках ко мне не относится. Ты удивлен тем, что я тебе рассказываю. Может, что-то тебя коробит?

— Нет, нет, — ответил Бочерч, вспоминая.

Когда он впервые встретился в Америке с Жинетт, куда она приехала сразу после войны учиться, это была довольно неуклюжая девушка, стройная и красивая, но совсем не чувственная кокетка, хотевшая учиться. Когда они поженились, она была такой непрактичной, такой сдержанной, а чувственность пришла потом, спустя несколько лет.

— Он хотел на мне жениться, — продолжала она. — Клод. Я училась в Сорбонне, с головой погрузилась в изучение истории Средневековья. Это была одна из немногих безопасных областей науки при немцах. Им было наплевать, что думают люди о Карле Великом или соборе в Руане. Он был на три или четыре года старше меня. Очень красивый, с пронзительными глазами. Теперь этого о нем не скажешь, правда?

— Нет, — ответил Бочерч, — нет, на самом деле.

— Как быстро все меняется! — Она тряхнула головой, как будто хотела прервать ход мыслей в этом направлении. — Он писал пьесы. Правда, никому не показывал, потому что не хотел, чтобы их ставили, покуда немцы в Париже. Но и после войны, по-моему, никто их не ставил. Думаю, честно говоря, он не был талантливым драматургом. После освобождения Парижа мне стало известно, что во время немецкой оккупации он не только писал пьесы. Он был участником Сопротивления, его послали во французскую армию, и в тот же год, зимой он был тяжело ранен в бою при Белфуре. Провалялся два года в госпитале. Эти страшные годы коренным образом изменили его. Он стал каким-то озлобленным, ненавидел все то, что происходило во Франции, ненавидел все, что происходило в мире. Он утратил всякую светлую надежду на будущее, но если и не утратил ее до конца, то связывал ее только с нами двумя — им и мною. Я для него стала светом в оконце. Я обещала выйти за него замуж, когда он окончательно выздоровеет, но потом мне дали стипендию, появилась возможность поехать в Америку учиться...

Он умолял меня не ехать, требовал, чтобы мы заключили брак, если все же я решусь на это. Он постоянно твердил, что я обязательно найду кого-нибудь в Америке, забуду его, забуду Францию. Он заставил меня дать клятву: что бы ни случилось, если я выйду замуж в Америке, то обязательно вернусь в Париж, чтобы повидаться с ним. Я дала ему такую клятву. Мне это было нетрудно, ведь я любила его, и я была уверена, что больше у меня никого не будет. В любом случае, он все еще лечился в госпитале. Нужно было прежде выздороветь, потом найти себе работу, ведь у нас не было ни сантима в кармане. Потом я встретила тебя. Я пыталась. Сопротивлялась, как могла. Разве ты не помнишь?

Голос у нее вдруг огрубел, в нем послышались требовательные нотки. Было ясно, что сейчас, в эту минуту, перед всплывшим у нее перед глазами образом ее любовника, лежащего на госпитальной койке, всего израненного, она оправдывала поступки девушки, расставшейся с юностью, ставшей совсем другой после стольких лишений и пережитых страхов во время войны.

— Ведь я сделала все, что могла, разве не так?

— Да, — подтвердил Бочерч, вспоминая, сколько раз он собирался порвать с ней, сколько раз его приводила в ярость ее нерешительность, колебания, какие-то непонятные ему крайности. Теперь, после продолжительного брака, после рождения детей, после того, как их жизни тесно сплелись, все ему стало понятно. Сейчас он пытался решить, был бы он счастливее, знай все об этом тогда, был бы их брак более или менее удачным, мог бы в таком случае он повести себя иначе, мог бы любить ее еще больше или, может, меньше?

— Почему же ты тогда мне ничего не сказала?

— Но это была моя проблема. Это касалось только меня и его. В любом случае я не вернулась. Я ничего не говорила ему до дня нашей свадьбы. Только тогда я послала ему телеграмму. Просила его больше мне не писать. Умоляла простить.

«Да, эти дни бракосочетаний, — подумал Бочерч. — Невесты бегут на телеграф: «Прошу, прости меня, — телеграмма летит за четыре тысячи миль. — Все между нами кончено, уже слишком поздно... Ты пробыл в госпитале слишком долго. Люблю тебя».

— Ну, — сказал он, понимая, что ранит и ее и себя, — теперь ты об этом сожалеешь? — Он вспомнил фразу Местра. — Ты могла бы заняться восстановлением демографического дисбаланса, как сказал этот человек.

— Еще не поздно, — отрезала она. — Даже сейчас. — Она явно рассердилась, и это было реакцией на его язвительную подначку. — Он до сих пор хочет на мне жениться, чтоб ты знал!

— Когда же?

— Да хоть сегодня! — огрызнулась она.

— Ну а его четверо детей и все прочее? — продолжал свою атаку Бочерч. — Я уже не говорю о его жене, твоем муже и твоих детях.

— Я сказала ему, что все это полный абсурд. Мы все выяснили три года назад, — призналась она.

— Три года назад? — удивился Бочерч. — Насколько я помню, ты говорила, что с 1946 года ты видела его дважды — вчера и сегодня.

— Я солгала, — ровным тоном ответила Жинетт. — Конечно, я встречалась с ним, когда приезжала сюда. Нужно быть каким-то чудовищем, чтобы не встретиться с ним. Да, мы встречались с ним каждый день.

— Я не стану спрашивать, что произошло между вами, — сказал Бочерч и решительно поднялся с края кровати. Он был потрясен ее признаниями, смущен, обижен. Свет, пробивавшийся через цветистый пыльный абажур лампы, тоже казался пыльным, рождавшим меланхолию, а повернутое в сторону лицо жены в упавшей на него вечерней тени казалось ему таким скрытным, незнакомым. В ее холодном, далеком голосе не чувствовалось любви. «Что же происходит с нашим отпуском? Испорчен напрочь!» — подумал он. Бочерч подошел к столу возле окна, налил в стакан из бутылки виски. Он даже не спросил Жинетт, налить ли и ей. Виски обожгло ему горло.

— Ничего не произошло, — наконец сказала Жинетт. — Думаю, что я бы ему отдалась, попроси он меня об этом...

— Почему же? — спросил Бочерч. — Ведь ты же его все еще любишь, не так ли?

— Нет, — ответила она. — Не знаю, право, почему. Может, во всем виновато раскаяние, желание искупить свою вину. Во всяком случае, он не попросил. «Либо брак, либо ничего!» — твердо сказал он. Он не хочет потерять меня вновь, не вынесет этого. Вот так.

Дрожащими руками Бочерч поднес стакан к губам. Его окатывала волна ненависти к этому человеку, его бесили надменность, высокое самомнение этой постоянной, отчаянной, хотя и разбитой, но несломленной, стойкой любви. Он медленно поставил стакан на стол, удерживая себя, чтобы не швырнуть его о стену. Закрыв глаза, он замер на месте. Сделай сейчас малейшее движение, и кто знает, к чему это приведет. Он боялся за себя. Мысль о том, как сидели вдвоем, Местр и Жинетт, в кафе в то далекое парижское лето и беседовали, хладнокровно торгуясь, выдвигая те или иные условия, как отнять у него жизнь, язвила его куда сильнее, чем картина их обнаженных, переплетенных тел в постели. Можно простить столь привлекательную, нормальную, вполне понятную слабость человеческой плоти. Но как простить другое? Ведь они игнорировали, как будто их вообще никогда не существовало, совершенно справедливые требования к жене, установленные за долгие годы их брака им, Бочерчем; они вступили в заговор, словно его враги, которых он ненавидел еще больше за то, что они никогда ему не открылись. Если бы в эту минуту в этой комнате появился этот негодяй Местр, он с радостью его убил бы.

— Будь он проклят! — сказал Бочерч. Его удивило, как обыденно, как спокойно прозвучал его голос. Он открыл глаза, посмотрел на Жинетт. Если только вот сейчас она осмелится сказать какую-нибудь пакость, он знал, что ударит ее, а потом покинет этот номер, страну, все на свете, раз и навсегда.

— Вот почему я вернулась домой на две недели раньше, — сказала Жинетт. — Я больше не могла выносить всего этого. Боялась, что не выдержу, сдамся, уступлю. И я убежала прочь.

— По-моему, лучше сказать — я убежала назад, к мужу, — зло поправил ее Бочерч.

Жинетт, повернувшись к нему лицом, долго разглядывала его из накрывшей ее тени.

— Да, ты прав, — согласилась она, — так лучше. Именно это я имела в виду. Я убежала назад, к мужу.

«Она сказала то, что нужно, — подумал Бочерч. — Правда, пришлось ее немного потренировать. Но в конце концов я все же добился своей цели. Она сказала то, что нужно».

— Ну а в будущем, — спросил он, — когда ты вновь приедешь во Францию, ты снова намерена встречаться с ним?

— Да, — сказала она. — Скорее всего. Разве можем мы избегать друг друга? — Она немного помолчала. — Ну, вот и все, — сказала она. — И вся история. Мне, конечно, нужно было тебе рассказать обо всем давным-давно. Ну а теперь ты ему поможешь?

Бочерч посмотрел на нее. Вот она, лежит на кровати: блестящие волосы, маленькая восхитительная головка, женское лицо с еще слабо проступавшими на нем следами девичества, стройное, теплое, так хорошо ему знакомое, глубоко любимое тело, длинные опытные в любви руки, лежащие на покрывале... Теперь он точно знал, что никаких сцен насилия не будет, не будет и побега сегодня вечером. Он также знал, что теперь у них завязался еще более запутанный узел отношений, и теперь в них нашли свое место ее воспоминания, ее душевные раны, предательство, ее родная, чужая для него страна, со всеми ее чуждыми ему опасностями, принимаемые ею решения, ее страдания, чувство ответственности, ее ложь, ее верность отвергнутой ею любви. Он сел рядом и, наклонившись, нежно поцеловал ее в лоб.

— Конечно, — сказал он, — я помогу этому негодяю.

Она тихо засмеялась, но тут же замолчала. Подняв руку, дотронулась до его щеки.

— В Париж мы теперь не приедем долго-долго, — сказала она.

— Я не желаю с ним разговаривать, тем не менее, — сказал Бочерч, прижимая ее ладонь к своей щеке. — Займись-ка всем этим ты сама.

— Только завтра утром, — ответила Жинетт. Она села в кровати. — Смею надеяться, этот сверток для меня? — спросила она.

— Да, — сказал он, — для тебя. Это как раз то, что тебе нужно.

Жинетт, легко спрыгнув с кровати, прошла через всю комнату по линялому старому ковру, который заглушал все звуки ее почти босых, только в чулках, ног. Она аккуратно развернула сверток, сложила обертку, смотала ленточку.

— Это на самом деле то, что мне нужно, — сказала она, поднимая со стола альбом и поглаживая ладонью его обложку.

— Правда, я хотел купить тебе бриллиантовые сережки, — сказал Бочерч, — но потом передумал. Для тебя это слишком грубо.

— Да, ты был на волоске от опасности, — улыбнулась она. — Теперь я приму ванну. А ты приходи ко мне, принеси что-нибудь выпить, и мы поговорим. А вечером выйдем вместе в город и закажем где-нибудь самый дорогой обед, возьмем на душу такой грех. Обед для двоих — для тебя и меня.

Сунув под мышку альбом, она вошла в ванную комнату. Бочерч сидел на кровати, косясь на пожелтевшие узоры на давным-давно выкрашенной стене напротив, стараясь определить, какова же его боль, каково же его счастье. Поразмыслив немного, он встал, налил себе и ей полные стаканы виски и отнес их в ванную комнату. Жинетт лежала, глубоко погрузившись в воду в старой громадной ванне, держа в руках над ее поверхностью альбом, старательно, с серьезным видом перелистывая страницы. Бочерч поставил ее стакан на плоский край ванны, а сам уселся на стул напротив нее, рядом с громадным, во всю высоту стены зеркалом, в стекле которого, покрывшемся от пара мелкими каплями, смутно отражались мрамор, бронза, блестящие плитки теплой, необычно большой, просторной комнаты, построенной когда-то для нужд века куда с большим размахом. Он потягивал виски и спокойно, без всякой тревоги, глядел на свою жену, вытянувшуюся во всю свою длину в дрожащей прозрачной воде, и теперь он точно знал, что их отпуск не испорчен, он исправлен. И не только отпуск. Нечто значительно большее.

ОБИТАТЕЛИ ВЕНЕРЫ

Он катался с раннего утра и теперь собирался закончить прогулку и отправиться на ланч в деревню, но Мэк попросил его — давай, мол, прокатимся еще раз, потом позавтракаем, и так как это был последний день пребывания Мэка, Роберт решил внять его просьбе и снова забраться на гору. Погода была неустойчивой, но время от времени на небе появлялись чистые просветы без облаков, и вообще видимость была достаточно хорошей, и поэтому можно было без особых трудностей кататься почти все утро. В вагончике подвесной канатной дороги, наполненном до отказа пассажирами, им пришлось с трудом проталкиваться между людьми в ярких свитерах, пледах, с набитыми располневшими сумками, — в них отдыхающие везли свои ланчи для пикников и теплую одежду, про запас. Двери закрылись, и вагончик, выкользнув из станции, плавно поплыл над полосой высоких сосен, растущих у подножия горы.

В вагончике было так тесно, что с трудом можно было вытащить из кармана носовой платок или закурить сигарету. Роберта, не без удовольствия для него, крепко прижали к красивой молодой женщине — итальянке с недовольной физиономией, которая объясняла кому-то через его плечо, что в Милане нельзя жить зимой, так как он становится просто ужасным городом. «Милан находится в очень неприятной климатической зоне, — говорила она по-итальянски, — и там постоянно идут проливные дожди, идут три месяца в году. Но все равно, несмотря на их пристрастие к опере, миланцы остаются вульгарными материалистами, которых интересует только одно — деньги». Роберт достаточно знал итальянский, чтобы понять, на что жалуется эта привлекательная женщина.

Он улыбнулся. Хотя он и не родился в Соединенных Штатах, гражданство получил американское еще в 1944 году, и теперь ему было так приятно услышать здесь, в самом центре Европы, что кого-то еще, кроме американцев, обвиняли в вульгарном материализме и их интересе только к деньгам.

— О чем говорит графиня? — прошептал Мэк над головой рыжеволосой завитой швейцарки невысокого роста, стоявшей между ними. Мэк, лейтенант по званию, проводил здесь свой отпуск и приехал сюда из своей части, расквартированной в Германии. Он провел в Европе уже более трех лет и, чтобы показать всем окружающим, что он отнюдь не простой турист, всегда называл хорошеньких итальянок не иначе, как «графиня». Роберт познакомился с ним за неделю до этого, в баре отеля, в котором они оба остановились. Они относились к одному разряду лыжников авантюрного склада, рисковым, выискивающим для себя лишние трудности, катались вместе каждый день и теперь даже собирались вернуться сюда на отдых зимой следующего года, если только Роберту удастся приехать из Америки.

— Графиня говорит, что в Милане всех интересуют только деньги, — перевел Роберт как можно тише, хотя в вагончике стоял такой гвалт, что разобрать сказанное им было просто невозможно.

— Если бы я был в Милане в одно время с ней, — сказал Мэк, — я бы проявил свой интерес к чему-то еще, не только к деньгам. — Он с нескрываемым восхищением любовался красивой итальянской девушкой. — Не можешь ли узнать, надолго она приехала?

— А тебе для чего? — удивился Роберт.

— Потому что я пробуду здесь ровно столько, сколько она, — сказал Мэк, ухмыляясь. — Я намерен повсюду следовать за ней тенью.

— Мэк, — попытался урезонить его приятель. — Говорю тебе, не трать попусту время. Ведь сегодня — последний день твоего здесь пребывания.

— Именно тогда происходит все самое лучшее, — возразил Мэк. — В последний твой день. — Он весь сиял, глядя на итальянку, — такой крупный, такой открытый, без всяких комплексов. Но она его не замечала. Теперь она жаловалась соседу на коренных жителей Сицилии.

На несколько минут выглянуло из-за туч солнце, и в вагончике стало жарко, — еще бы, сюда набилось не менее сорока пассажиров, все в зимней, толстой одежде, в таком маленьком пространстве. Роберта одолевала полудрема, и он больше не прислушивался к раздававшимся со всех сторон голосам на французском, итальянском, английском, швейцарском немецком, просто немецком. Роберту нравилось находиться среди участников этого неформального конгресса по языкознанию. Это стало одной из причин его приезда сюда, в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах, если только ему удавалось взять на работе отпуск. В эти недобрые дни, которые переживал сейчас весь мир, он усматривал в таком многоязычном доброжелательном хоре людей луч светлой надежды, — ведь они никогда ничем не грозили друг другу, всегда улыбались незнакомцам и собрались в этих сияющих снегом горах для того, чтобы просто предаться самым невинным удовольствиям, полюбоваться этой белизной и погреться на весеннем солнышке.

Чувство всеобщей сердечности, которое Роберт с такой радостью разделял во время подобных путешествий, усиливалось и тем, что большинство людей, поднимающихся в гору на подъемниках или по канатной дороге, были в большей или меньшей мере ему знакомы. Лыжники, нужно заметить, организовали своеобразный международный клуб без всяких строгих правил, и одни и те же лица из года в год появлялись в Межеве, Давосе, Сен-Антоне, Валь Д'Изере, так что в конце концов у него складывалось такое ощущение, что он знает практически всех, катающихся на этих горах. Там были четверо или пятеро американцев, которых Роберт наверняка видел в Солнечной долине, в Стоуве, на Рождество. Они прилетели сюда организованными лыжными клубами чартерными рейсами компании «Свиссэй», которая каждую зиму устанавливала на эти перелеты определенную скидку. Американцы, эти молодые задорные ребята, впервые приехавшие в Европу, шумно, с восторгом относились ко всему, что здесь видели, — Альпам, еде, снегу, погоде, к крестьянам в голубых робах, к шикарным дамам-лыжницам, к искусству инструкторов и их привлекательной внешности. Они пользовались такой огромной популярностью среди местных жителей потому, что беззаветно всем здесь наслаждались, не скрывая этого. Кроме того, они никогда не скупились на чаевые, как и подобает американцам, и такая их щедрость просто поражала швейцарцев, которым, конечно, было известно, что к любому предъявленному им счету за любые услуги автоматически добавлялись пятнадцать процентов от указанной суммы. Среди них были две привлекательные девушки, а один из юношей, долговязый парень из Филадельфии, неформальный лидер всей группы, был еще и отличным лыжником, — он всегда шел первым при спусках и всегда помогал не очень ловким, если они попадали в беду.

Этот филадельфиец стоял рядом с Робертом. Когда вагончик поднялся довольно высоко над крутым снежным лицевым склоном горы, он спросил его:

— Вы, по-моему, бывали здесь и раньше, не так ли?

— Да, — ответил Роберт, — и даже не один, а несколько раз.

— И какая, по-вашему, самая лучшая трасса для спуска в это время дня? — Он говорил ровным тоном, растягивая слова, как говорят в хороших школах Новой Англии, а европейцы тоже приобщаются к нему, когда передразнивают американцев, представителей высшего класса, и хотят подшутить над ними.

— Сегодня, по-моему, все хороши, — сказал Роберт.

— А как называется эта трасса, которую все расхваливают наперебой? — снова спросил этот парень. — ...Кайзер, или что-то в этом роде...

— Кайзергартен, — подсказал Роберт. — Это первая лощина направо, когда выйдешь из конечной станции канатной дороги на верхушке горы.

— Ну, как там, опасно?

— Этот спуск — не для новичков, — пояснил ему Роберт.

— Вы видели мое стадо лыжников, не так ли? — Парень неопределенно махнул в сторону своих друзей. — Как вы думаете, они там справятся?

— Ну, — с сомнением в голосе ответил Роберт, — это крутой склон оврага, на котором полно бугров, и там еще есть пара мест, где падать не рекомендуется, иначе полетишь кубарем и проскользишь по всему спуску...

— Ах, подумаешь, — хмыкнул филадельфиец, — мы попробуем. Риск укрепляет характеры. Мальчики и девочки, — сказал он, повышая голос, — в общем, трусы останутся на вершине и заправятся ланчем. Герои пойдут со мной. Мы отправляемся на Кайзергартен...

— Фрэнсис, — произнесла одна из двух красавиц. — Я уверена, что ты поклялся убить меня в этой поездке.

— Не так страшен черт, как его малюют, — улыбнулся девушке Роберт, чтобы вселить в нее уверенность.

— Послушайте, — сказала она, бросая явно заинтересованный взгляд на Роберта. — По-моему, я уже где-то видела вас раньше?

— Да, конечно, — подхватил Роберт, — на этом подъемнике, вчера.

— Нет, не думаю. — Девушка покачала головой. На ней была черная шляпка из мерлушки1 с ворсом, и она смахивала на студентку из университета с барабаном из военного оркестра, претендующую на роль Анны Карениной. — Нет, только не вчера. Раньше. Вот только где?

— Я видел вас в Стоуве, на Рождество, — признался Роберт.

— Да, да, именно там. Там я видела, как вы катались на лыжах, — сказала она. — Подумать только! Вы ходите на лыжах, как по шелку!

Мэк громко рассмеялся, услыхав такое необычное сравнение, характеризующее лыжный стиль катания Роберта.

— Не обращай внимания, друг мой, — отозвался Роберт. Ему было приятно, что его личность вызывает восхищение у этой девушки.

— Плох тот солдат, который пытается одолеть гору с помощью одной грубой силы.

— Послушайте, — сказала девушка, немного озадаченная. — У вас весьма своеобразная манера говорить. Вы что, американец?

— В какой-то мере — да, — ответил он. — Во всяком случае, в настоящее время. Я родился во Франции.

— Ах вот оно что, — протянула девушка, — вы родились среди голых скал.

— Я родился в Париже, — уточнил Роберт.

— Вы и теперь там живете?

— Нет, я живу в Нью-Йорке.

— Вы женаты? — с беспокойством в голосе спросила девушка.

— Барбара, — одернул ее филадельфиец, — веди себя прилично.

— А что я сделала? — запротестовала девушка. — Просто задала самый обычный вопрос. Вам это неприятно, месье?

— Что вы, совсем нет.

— Так вы женаты?

— У него трое детей, — подоспел ему на помощь Мэк. — Самый старший из них собирается баллотироваться в президенты страны на следующих выборах.

— Ах, какая незадача, — вздохнула девушка. — Я перед поездкой сюда поставила перед собой ясную цель, — встретиться с французом, но только неженатым.

— Я уверен, что поставленная вами цель обязательно будет достигнута, — обнадежил он ее.

— А где ваша жена в данный момент? — продолжала свой допрос девушка.

— В Нью-Йорке, — уточнил Мэк, снова очень вовремя придя ему на помощь.

— Неужели она позволила вам смотаться и кататься здесь на лыжах одному? — снова спросила девушка весьма неуверенно.

— Да, — сказал Роберт. — Вообще-то я сейчас нахожусь в Европе по делам. И сумел выкроить десять дней.

— Каким же бизнесом вы занимаетесь? — спросила американка.

— Я занимаюсь бриллиантами, — сказал Роберт. — Продаю и покупаю алмазы.

— Вот именно такого человека я рассчитывала здесь встретить, — снова притворно вздохнула девушка. — Такого, который намывает алмазы. Но только, вполне естественно, неженатого.

— В основном я занимаюсь промышленными алмазами, — пояснил Роберт. — А это не одно и то же.

— Ну и что? Это сути не меняет... — прокомментировала она.

— Барбара, — снова одернул ее филадельфиец, — ты хотя бы притворилась, что ты порядочная дама.

— Если нельзя поговорить по душам с американцем, — обиженно отозвалась девушка, — тогда с кем же, скажи на милость? — Она посмотрела в плексигласовое окно вагончика. — О, ничего себе, — воскликнула она. — Это не гора, а какой-то горный исполин, не правда ли? Я уже вся охвачена ужасом. — Повернувшись, она внимательно посмотрела на Роберта.

— Да, вы на самом деле похожи на француза, — не унималась она. — Чудовищно элегантный. Вы на самом деле уверены, что женаты?

— Барбара! — отчаявшись воздействовать на нее, крикнул филадельфиец.

Роберт с Мэком засмеялись. Засмеялись и американцы. А девушка улыбалась, довольная, из-под своей мерлушковой с ворсом черной шляпки, — ей ужасно нравились собственные кривляния и реакция присутствующих на ее поведение. Те из пассажиров вагончика, которые не понимали по-английски, тоже добродушно усмехались, слыша эти взрывы смеха, им тоже было очень приятно, хотя до них, конечно, не дошла эта шутка, и они не могли искренне разделить с ними их молодое, задорное веселье.

И вдруг через взрывы смеха до него донесся голос какого-то человека поблизости. Он спокойно, холодным тоном, с явной неприязнью, говорил по-немецки: «Schaut euch diese dummen amerikanischen Gesichter an! Und diese Leute bilden sich ein, sie waren berufen, die Welt zu regieren».

Роберта в детстве учили немецкому его дедушка с бабушкой из Эльзаса, и он понял то, что сказал этот человек, но заставил себя не поворачиваться в его сторону. Те годы, когда он мог потерять терпение, проявить свой характер, давно миновали, как ему хотелось верить, и так как никто в вагончике не расслышал этого тихого голоса и не понял произнесенных слов, ему не хотелось одному заводиться и выяснять отношения. Он приехал сюда, чтобы приятно провести время, и ему совсем не хотелось начинать драку или тем более вовлекать в нее Мэка с американцами. Давным-давно он научился одной мудрости, — притворяться глухим, когда слышишь обидные, оскорбительные слова, или что-нибудь похуже. Если какой-то негодяй-немец, желая непременно уколоть американцев, скажет: «Посмотрите на эти глупые американские рожи. И они считают, что их народ избран свыше, чтобы править всем миром», — то это, по существу, ничего не значит, и любой взрослый человек, если только он способен на это, просто обязан проигнорировать его оскорбления. Поэтому он и не старался смотреть в сторону этого человека, ибо прекрасно знал, что если он его схватит и вытащит из толпы, то потом уже долго не отпустит. Не сможет. Таким образом, он мог не внимать этому анонимному, но все же ненавистному голосу, пусть его слова пролетят мимо его ушей, как и другие, многие из тех, которые когда-либо произносили в его присутствии немцы.

Он с трудом сдерживал себя, чтобы не посмотреть в сторону обидчика. Он закрыл глаза, сердясь на самого себя за то, что его расстроила случайно услышанная злобная тирада немца. Все было хорошо до сих пор, просто прекрасный отпуск, и глупо портить его, пусть даже на короткое время, из-за недружелюбного голоса, донесшегося до него из толпы.

Если ты приехал в Швейцарию, чтобы покататься на лыжах, — убеждал он себя, — то никак нельзя ожидать, что здесь не столкнешься с немцами. Хотя теперь с каждым годом их становилось в этих местах все больше и больше, — крупные, плотные, процветающие на вид мужчины, надутые, сердитые женщины с подозрительными взглядами, как у людей, постоянно опасающихся, как бы их не обманули. Все они, и мужчины, и женщины, создавали совершенно ненужную толчею в очередях к подъемникам, проявляя при этом потрясающий эгоизм и расистскую, неколебимую уверенность в собственном превосходстве. Если они катались на лыжах, то только с мрачным видом, большими группами, словно подчиняясь военным приказам. Вечерами, когда они отдыхали в барах и ресторанчиках, их своеобразное веселье было куда более невыносимым, чем их нарочитая мрачность и высокомерие днем. Все они сидели повзводно, с красными рожами, поглощали галлоны пива, разражаясь мощными залпами густого смеха, и орали студенческие застольные песни, которые выучили на мероприятиях в клубах по исполнению без аккомпанемента музыкальных произведений. Роберт, правда, еще не слышал, чтобы они пели свою знаменитую «Хорст Вессель», но он заметил, что они давно перестали выдавать себя за швейцарцев или австрийцев или что родились в Эльзасе. Даже в такой спорт, как лыжи, такой индивидуальный, легкий, призванный продемонстрировать грациозность спортсмена, немцы, казалось, вносили свойственное им стадное чувство. Пару раз, когда они застревали на станции подвесной канатной дороги, он в разговоре с Мэком выражал свое неудовольствие, но Мэк, который, несмотря на свой самодовольный, глупый вид защитника в команде, был отнюдь не дураком, выслушав его сетования, сказал: «Знаешь, главное — это их изолировать, вот что я скажу тебе, парень. Они действуют всем на нервы, только когда собираются группами. Я прожил три года в Германии и встречал там немало хороших ребят и просто потрясающих девушек».

Роберт согласился с ним, — вероятно, Мэк прав. Во всяком случае, в глубине сердца он хотел, чтобы его приятель оказался прав. Как до войны, так и во время нее, в его зрелой жизни проблема немцев настолько занимала его, что день Победы, казалось, принес ему личное освобождение от них и стал своеобразной выпускной церемонией в школе, где ему пришлось затратить много лет на решение одной, скучной, доставляющей столько мучений задачки. Он убедил себя в том, что поражение в войне вернуло немцев к рациональным представлениям о мире. Таким образом, кроме утешения в том, что ему больше не придется рисковать своей жизнью и его они не смогут убить, он еще чувствовал громадное облегчение от того, что ему больше не придется так часто размышлять о них.

После окончания войны он выступал за скорейшее восстановление нормальных отношений с Германией, за проведение по отношению к ней разумной политики, за проявление к ней простой человечности. Он с удовольствием пил немецкое пиво, даже купил себе «фольксваген», хотя если бы это зависело от него, то, принимая во внимание постоянно присутствующее в душе немцев латентное1 влечение ко всякого рода катаклизмам, он никогда бы не оснастил немецкую армию ядерным оружием. Но на своей работе он почти не имел никаких дел с немцами, и только здесь, в этой деревне в Граубундене, где их присутствие с каждым годом становилось все заметнее, проблема немцев вновь стала его волновать.

Но ему нравилось это место и было противно думать, что из-за того, что здесь все чаще стали мелькать автомобили из Мюнхена и Дюссельдорфа, сюда не стоит больше приезжать в очередной отпуск. «Может быть, — думал он, — следует приезжать сюда в другое время: в январе, вместо конца февраля. Конец февраля и начало марта — это, по сути, немецкий сезон, когда солнышко пригревает посильнее и не заходит до шести вечера. Немцы — люди ужасно жадные на солнце. Их можно видеть повсюду, на всех горах, — раздевшись по пояс, они сидят на камнях, поглощают свои завтраки на пикниках и, казалось, не пропускают мимо ни одного драгоценного солнечного лучика, как скупердяй не пропускает мимо своих рук ни одной монетки. Можно было подумать, что они явились сюда из страны, постоянно окутанной густым туманом, как планета Венера, и посему должны как можно больше насытиться яркой, блистающей на солнце природой, пропитаться насквозь этой веселой жизнью за короткое пребывание здесь в отпуске, чтобы потом не столь болезненно выносить суровый мрак, объявший их родину, и безрадостное поведение других обитателей Венеры до конца года».

Роберт улыбнулся. От придуманной им концепции он почувствовал себя куда более расположенным ко всем окружающим его людям. «Может, — подумал он, — если бы я был холостяком, то нашел бы себе девушку из Баварии, влюбился бы в нее без памяти и забыл бы напрочь обо всем, что так беспокоило меня прежде».

— Предупреждаю тебя, Фрэнсис, — говорила девушка в мерлушковой с ворсом шапочке, — если ты погубишь меня в горах, то в Йеле у меня есть троица студентов предпоследнего курса, которые достанут тебя из-под земли!

В эту минуту он вновь услыхал голос этого немца:

«Warum haben die Amerikaner nicht genugend Verstand, — снова начал он (тихо, но вполне отчетливо, стоя, по-видимому, где-то рядом), и в его голосе чувствовался чисто немецкий акцент, отнюдь не цюрихский и не один из диалектов швейцарского немецкого, — ihre dummen kleinen Nutten zu Hause zu lassen, wo sie hingehoren?»

Теперь он понял, — больше он не станет заставлять себя не смотреть в его сторону, больше он не будет стоять молча, сложа руки. Он посмотрел на Мэка, — не слышал ли он этих слов. Мэк немного понимал по-немецки. Мэк, этот крупный, широкоплечий парень, несмотря на свой добродушный характер, мог взбелениться, и тогда пиши пропало, — если бы только он услышал, что сказал этот человек: «Почему американцы настолько безмозглые люди, что не могут оставить своих маленьких глупых шлюх дома, где им место?» Такому человеку нужно задать хорошую трепку. Но Мэк, настроенный миролюбиво, с восхищением, не отрывая глаз, смотрел на итальянскую «графиню». Это принесло Роберту некоторое облегчение. Швейцарская полиция смотрела сквозь пальцы на драки, независимо от того, кто их спровоцировал, но Мэк, если впадал в ярость, мог наломать таких дров, что из-за причиненного им значительного физического ущерба противнику мог запросто очутиться в каталажке. Для американского профессионального военного такая драка могла иметь весьма серьезные последствия. «Самое страшное, что может произойти со мной, — размышлял Роберт, когда он все же повернулся, чтобы увидеть этого человека, — это несколько часов, проведенных в полицейском участке, и нравоучение от судьи по поводу злоупотребления швейцарским гостеприимством».

Он тут же решил, что, когда они выйдут из вагончика на вершине горы, он пойдет следом за этим человеком, который поносил американцев, и тихо скажет ему, что он, Роберт, понял все, что тот говорил об американцах в вагончике, и сразу же даст ему в морду. «Остается только надеяться, — думал Роберт, — что кем бы он ни был, он не окажется слишком крупных габаритов».

Роберт не смог сразу выделить из толпы своего будущего противника. Спиной к нему, возле итальянки, стоял какой-то высокий человек, и Роберт был уверен, что голос до него донесся именно оттуда. Толпа мешала получше его разглядеть. Роберт видел только голову и плечи, — широкие и мощные, они выпирали из-под его черной штормовки. На голове у него был белый картуз, — такие во время войны носили военнослужащие немецкого африканского корпуса. Этот человек разговаривал с полной женщиной с тяжелым, неприятным лицом. Она что-то ему шептала, но что — Роберт не слышал. И вдруг он резко ответил ей по-немецки: «Мне наплевать, сколько из них понимают по-немецки. Пусть себе понимают, на здоровье». В эту секунду Роберт понял, что он его нашел.

Роберт почувствовал, как по его телу пробежала возбуждающая дрожь от нетерпения поскорее встретиться с ним. Мускулы у него напряглись, зачесались руки. «Как жалко, — подумал он, — что придется ждать целых пять минут, покуда их вагончик не прибудет на станцию на вершине горы». Теперь, когда он настроился на драку, любое промедление действовало ему на нервы. Он не спускал глаз с широкой спины этого человека, обтянутой черной нейлоновой штормовкой, и ужасно хотел, чтобы тот повернулся, чтобы увидать его лицо. Оставалось только гадать, как с ним расправиться, — упадет ли он после первого его удара, принесет ли свои извинения, или придется пустить в ход лыжные палки. Роберт решил держать на всякий случай свои лыжные палки под рукой, хотя Мэк не одобрял сведения любых счетов с применением оружия. Роберт решительно сдернул свои тяжелые кожаные лыжные перчатки и засунул их за пояс. Исправление становится куда эффективнее, если его добиваются голыми кулаками. Вдруг у него в голове пронеслась мимолетная мысль, — нет ли у этого человека на пальце перстня? Он впился глазами в спину этого человека, в его шею, — ну почему же он не поворачивается? В это мгновение толстушка перехватила его взгляд. Опустив голову, она что-то прошептала этому человеку в черной штормовке, и через несколько секунд тот все же повернулся, делая вид, что это случайное, ничем не мотивированное движение. Этот человек посмотрел на Роберта в упор, и Роберт подумал, что если долго кататься на лыжах, то обязательно повстречаешь всех тех лыжников, с которыми когда-то был знаком. В то же время он понял, что предстоит отнюдь не просто кулачный бой на вершине горы. Он уже знал, что любым способом убьет этого человека с ледяными голубыми глазами, с белесыми ресницами, которые бросали ему вызов, сверля из-под белого козырька его картуза немецкого африканского корпуса.

Это случилось давным-давно, зимой 1938 года, во французской части Швейцарии, ему тогда было четырнадцать лет. Солнце опускалось за следующую гору, что пониже, температура — десять градусов ниже нуля, и он лежал на снегу с подвернувшейся ногой, причем подвернувшейся как-то странно, неестественно, просто смех, но пока он еще не чувствовал боли, и вот увидел эти глаза. Они глядели на него внимательно сверху вниз.

Он, конечно, повел себя очень глупо, но сейчас его больше волновало, что скажут родители, узнав, что он сломал ногу. Он поднялся на гору один, уже поздно днем, когда там почти не было лыжников, но все равно, даже это его не смутило. Он не остался на проложенной лыжной трассе, а поехал прямо через лес, с трудом продираясь через кустарник, в поисках целинного снега, на котором еще не пролегла ни одна колея от лыж других лыжников. Но неожиданно одна его лыжа ударилась о засыпанный снегом корень дерева, и он с разбега упал вперед, слыша, как сухо треснула кость его правой ноги, уже глубоко ушедшей в сугроб.

Стараясь зря не паниковать, он сел в сугробе, глядя между стволов сосен в сторону трассы, шесты которой находились на расстоянии нескольких сотен метров от него.

Если громко закричать, то, если по какой-то счастливой случайности неподалеку окажутся лыжники, они могли его услышать и прийти на помощь. Теперь он уже не полз к шестам, так как стоило ему сделать только одно движение, как ужасная острая боль пронзала всю правую ногу от лодыжки до паха, и ему пришлось отказаться от этой затеи.

В лесу тени от деревьев становились все длиннее, и только пики самых высоких гор пока все еще были чуть окрашены розоватым светом на фоне застывшего зеленоватого неба. Он начинал замерзать, и время от времени все его тело вздрагивало от острых спазм.

Роберт подумал, что обязательно умрет сегодня же ночью. Он вдруг представил себе, что в это время его родители с сестрой, вероятно, пьют чай в теплой уютной столовой своего шале, расположенного внизу в двух милях от этой горы. Он больно закусил губу, чтобы не расплакаться. Они начнут волноваться из-за него через час, может, через два, начнут что-то предпринимать, чтобы найти его, но ведь им даже неизвестно, с чего начинать. В вагончике подъемника с ним вместе сидело человек шесть или семь совершенно незнакомых ему людей, когда он поднимался в последний раз, и он никому не сказал, какую трассу выберет. Там было три горы, у каждой — свой подъемник, и бесчисленное количество проложенных трасс, — выбирай себе по вкусу, а отыскать его в темноте — задача явно невыполнимая. Он еще раз посмотрел на небо. С востока на него медленно надвигались облака, закрывая, словно высокой черной стеной, и без того потемневшее небо. Если к тому же этой ночью пойдет снег, то в лучшем случае его труп обнаружат не раньше весны. Ведь он клятвенно обещал матери, что никогда не будет кататься на лыжах один, но нарушил данное ей обещание, и вот за это и кара.

Вдруг он услыхал шум от лыж. Лыжник быстро скользил по прихваченному ледовой корочкой снегу трассы, издавая какие-то резкие, металлические звуки. Он его пока не видел, но все равно начал орать во всю силу своих легких, как безумный: «Au secours! au secours!"1

Чья-то тень, мчащаяся на высокой скорости, возникла на какую-то секунду высоко у него над головой, потом сразу исчезла за частоколом деревьев, вновь выпорхнула из чащи почти на уровне того места, где сидел Роберт. Роберт дико, словно в истерике, орал, но слова уже не вылетали у него из глотки, — это был безумный, отчаянный, разрывающий голосовые связки крик, призывающий к нему внимание человечества, которое представляла в момент захода солнца за скованной морозом горой эта темная фигура опытного лыжника, стремительно несущегося, с металлическим скрипом стальных ободков лыж, со свистом разрезая воздух, вниз, к деревне у подножия.

Вдруг, словно по мановению волшебной палочки, фигура резко остановилась, взметнув облако снежной пыли. Роберт продолжал орать, орать просто так, без слов, и его истерика звонким эхом отражалась в темном, мрачном лесу. На какое-то мгновение лыжник замер, и Роберт подумал, что у него галлюцинация, мираж, сотканный из тени и звуков, и там, на прибитом множеством лыж снегу на опушке леса, никого нет; он вообще не кричал, а только воображал, что кричит; что, несмотря на свирепые усилия, на чудовищное напряжение глотки и легких, он молчал, и поэтому его никто не слышал.

Вдруг, неожиданно для себя, Роберт почувствовал, как черная непроглядная штора опустилась перед его глазами, а внутри теплая волна заливала все капилляры и протоки его организма. Слабо взмахнув руками, он повалился на спину в обмороке.

Когда он пришел в себя, какой-то человек, стоя перед ним на коленях, снегом растирал ему щеки.

— Ах, вы услышали меня, — сказал Роберт по-французски. — Как я боялся, что вы меня не услышите.

— Ich verstene nicht, — сказал этот человек. — Nicht parler Franzusisch2.

— Как я боялся, что вы меня не услышите, — повторил эту фразу по-немецки Роберт.

— Ты — глупый, маленький мальчишка, — сурово произнес он на четком, рубленом, литературном немецком языке. — И очень счастливый. Я — последний лыжник на этой горе. — Он ощупал лодыжку Роберта. Руки у него были сильные и ловкие. — Очень мило, — с иронией сказал он. — Три месяца в гипсе тебя обеспечено. А теперь лежи смирно. Я сейчас сниму лыжи. Так тебе будет удобнее. — Он быстро, со знанием дела, развязал длинные ремни на ботинках, отцепил лыжи и воткнул их в сугроб. Смахнул снег с большого пня в нескольких ярдах от него, вернулся к Роберту и, зайдя ему за голову, взял его под мышки. — Расслабься, — сказал он. — Не нужно мне помогать, понял?

Незнакомец поднял Роберта.

— Опять тебе повезло, — сказал он, — ты легкий как перышко. Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — ответил Роберт.

— Тогда в чем же дело? — засмеялся его спаситель. — Неужели они тебя здесь, в Швейцарии, не кормят?

— Я — француз, — сказал Роберт.

— А-а, — протянул он, понизив голос. — Француз. — Он кое-как, то волоком, то на весу, дотащил Роберта до очищенного от снега пня и осторожно усадил его там. — Ну вот, — сказал он, — по крайней мере, ты теперь не на снегу. Не замерзнешь... пока. А теперь слушай меня внимательно. Я с твоими лыжами спускаюсь вниз, иду в лыжную школу и сообщаю им, где тебя найти. Они пришлют за тобой сани. Они будут здесь менее чем через час. А теперь скажи, где ты остановился в этом городке? С кем живешь?

— С папой и мамой. Шале Монтана.

— Хорошо, — понимающе кивнул он. — Шале Монтана. Они тоже говорят по-немецки?

— Да.

— Отлично! Я позвоню им и сообщу, что их глупый сынок сломал ногу, и горный патруль доставит его в больницу... Как тебя зовут?

— Роберт.

— Роберт, а дальше?

— Роберт Розенталь, — уточнил Роберт. — Прошу вас, только не говорите им, что я серьезно повредил себе ногу. Они и так уже все переволновались.

Этот человек почему-то не ответил ему сразу. Он занимался лыжами Роберта, — связав их, он забросил их себе на плечо.

— Не беспокойся, Роберт Розенталь, — сказал он. — Я не стану их волновать, с них и этого достаточно. — Взяв резкий старт, он легко, быстро заскользил между деревьями, держа его лыжные палки в одной руке и поддерживая второй качавшиеся на его плече лыжи Роберта.

Его неожиданно быстрый уход застал Роберта врасплох, и только когда этот человек отъехал от него на приличное расстояние и почти исчез среди деревьев, Роберт вспомнил, что даже не поблагодарил его за то, что он спас ему жизнь.

— Спасибо, — закричал он в нарастающую темень. — Большое вам спасибо!

Он не остановился, и Роберт никогда так и не узнал, слышал ли он его крик благодарности или не слышал. Прошел час, уже совсем стемнело, звезды на небе заслонили облака, которые собирались на востоке еще до заката солнца, но горный патруль не появлялся. У Роберта были часы со светящимся циферблатом. Отмечая по ним время, он точно определил, что ждет уже полтора часа, — сейчас десять минут седьмого. Теперь ему стало ясно, что никто за ним не придет, и что если он хочет прожить до утра, то ему придется каким-то образом вылезти из леса и самому добираться до городка.

Он весь окоченел от холода и никак не мог отойти от полученного шока. Его зубы ужасно стучали, словно челюсти его превратились в детали какой-то спятившей машины, над которой он потерял управление. Пальцы стали неподвижными и бесчувственными, а боли в ноге накатывались все усиливающимися волнами, заставляя пульсировать кровь в венах, как ему казалось, с металлическим звуком. Он натянул на голову капюшон ветровки, опустил как можно ниже голову на грудь, но очень скоро капюшон задубел от его оледеневшего дыхания. Вдруг до него откуда-то донесся скулящий звук. Только спустя несколько минут он понял, что скуление вырывается изнутри него, и он ничего не мог поделать с собой, чтобы его прекратить.

С утроенной осторожностью, весь окоченевший, он попытался встать с пенька и пройти немного вперед по снегу, стараясь не давить своим весом на сломанную ногу, но в последний момент поскользнулся и упал. Он дважды вскрикнул. Теперь он лежал, зарывшись лицом в снег, и думал только об одном — остаться вот в таком лежачем положении и забыть обо всем на свете, прекратить эти бесполезные невыносимые усилия, чтобы спасти свою жизнь. Позже, став взрослым, он пришел к выводу, что тогда его главной движущей силой была мысль об отце с матерью, о том, что они ждут его, ждут с тревогой, которая вот-вот перерастет в леденящий душу ужас, там, в городке, у подножия этой горы.

Он пополз вперед на животе, разгребая руками перед лицом снег. Он цеплялся за камни, за низко висящие ветки деревьев, за покрытые снегом корни, чтобы выползти, наконец, преодолевая метр за метром, из леса. Часы слетели у него с руки еще где-то по дороге, и когда он добрался, наконец, до линии шестов, отмечающих границу утрамбованного снега проложенной трассы, он понятия не имел, сколько же затратил на это времени, — пять минут или пять часов на преодоление этих сотен метров от того места, где упал. Он лежал, тяжело дыша, рыдая, впившись глазами в огоньки раскинувшегося под ним городка. Он знал, что ему никогда до них не добраться, но что это непременно нужно сделать. От непрерывной работы руками, когда он полз в глубоком снегу, ему стало теплее, даже жарко, с лица его градом катил пот, кровь вновь хлынула в его окоченевшие руки, а ногу теперь больно кололи тысячи острых иголочек.

Огоньки городка теперь манили его, направляли его, и время от времени он замечал маркировочные шесты на фоне этого неяркого рождественского сияния. Ему куда легче было ползти по накатанному снегу трассы и иногда даже удавалось проползти без остановки десять или даже пятнадцать метров на животе, как на своеобразных санях. Он вскрикивал от боли, когда натыкался больной ногой на ледяной пригорок. Один раз он не смог остановить очень быстрого скольжения и угодил в небольшой горный ручей со стремительным течением, и когда минут через пять ему удалось выбраться на снег из ледяной воды, то его перчатки и одежда на животе и на коленях промокли насквозь. И все же огни городка были от него так же далеки, как и прежде.

Наконец, он почувствовал, что выбился из сил и больше двигаться не может. Он был в полном изнеможении, и дважды, когда останавливался, его рвало кровью. Он попытался сесть, на случай, если сегодня ночью выпадет снег, то утром кто-нибудь сможет случайно увидеть его торчащую из сугроба голову. Когда он, выбиваясь из последних сил, хотел подняться, то увидал тень, промелькнувшую в пространстве между ним и огнями городка. Она, казалось, была очень близко от него, и он с последним вздохом окликнул ее. Позже спасший его крестьянин сказал, что услыхал от него два странных слова — «простите меня!».

Этот крестьянин вез на больших санях стожок сена из одного высокогорного амбара вниз, в долину. Он тут же, вывалив сено на снег, уложил на сани Роберта. Потом, осторожно притормаживая, по тропинке, змейкой пересекавшей трассу, съехал вниз и доставил пострадавшего в больницу.

Когда его матери и отцу сообщили, что их сын в больнице, то врач, сделав ему укол морфия, уже наполовину справился с наложением гипса. Ехать им туда сразу было бессмысленно, тем более что лишь на следующее утро, когда он лежал в серой больничной палате, обливаясь потом от адской боли в ноге с наложенным гипсом, он мог достаточно связно рассказать родителям, что же случилось с ним.

— Я видел, как этот человек очень быстро скатывался по спуску совершенно один, — начал Роберт, стараясь говорить нормально, чтобы не дать родителям понять, скольких усилий это ему стоит. Чтобы успокоить родителей, рассеять их тревогу, вывести их из состояния шока, который до сих пор отражался на их страдальческих лицах, он усердно врал, притворяясь, что нога у него болит совсем немного, а все это происшествие не столь серьезно, чтобы так волноваться из-за него. — Он услышал меня, — продолжал Роберт, — подъехал, снял с ног лыжи, усадил на пенек, чтобы мне было удобно ждать помощи, спросил, как зовут, кто мои родители, где они остановились, потом сказал, что сообщит в лыжную школу, где меня найти, чтобы за мной прислали сани, сказал, что позвонит в шале и скажет вам, что меня отправили в больницу. Потом прошло больше часа, уже стемнело, ничего не было видно вокруг, но за мной никто не приходил. Тогда я решил, что мне лучше не ждать, и сам пополз на животе вниз, и мне повезло, что встретил этого доброго крестьянина с санями и...

— Да, тебе на самом деле сильно повезло, — тихо сказала его мать.

Небольшого роста, полная, аккуратная женщина, чувствующая себя по-настоящему дома только в больших городах. Она терпеть не могла холода, она ненавидела эти горы, ей была ненавистна сама идея, что дорогие ей люди идут на безрассудный, по ее мнению, риск, так как при скоростном спуске с гор на лыжах можно запросто получить увечье, в подобном спорте без этого не бывает, и она приезжала сюда вместе со всеми в отпуск только потому, что он, Роберт, его сестра и их отец были страстно увлечены лыжами. Теперь она сидела с побелевшим от тревоги и усталости лицом, думая про себя, что если бы не временная неподвижность Роберта из-за гипса, то она немедленно отвезла бы его подальше от этих гор, — будь они трижды прокляты, — этим же утром на поезде в Париж.

— Послушай, Роберт, — вмешался отец, — может, когда ты испытывал такую сильную боль, тебе просто померещилось, что ты видел какого-то человека, что этот человек обещал позвонить нам и сообщить о несчастном случае в лыжную школу, чтобы они прислали за тобой горный патруль с санями?

— Ничего мне не померещилось, папа, и я ничего не выдумал, — твердо сказал Роберт. Морфий еще действовал: он испытывал легкое головокружение, голова была тяжелой, и он никак не мог взять в толк, почему это отец разговаривает с ним так странно. — Почему ты считаешь, что все это мне померещилось?

— Потому что, — стоял на своем отец, — нам никто не позвонил. Никаких звонков вообще не было до десяти вечера, когда позвонил врач из больницы. И никто не позвонил в лыжную школу.

— Нет, это не игра моего воображения, — повторил Роберт. Его очень обидело, что отец принимает его за лгуна. С какой стати. — Если бы он сейчас вошел в эту палату, я бы его сразу же узнал. На нем был белый картуз. Здоровый такой мужик в черной штормовке, с голубыми глазами; на них было забавно глядеть, поскольку ресницы у него белесые, почти белые, а если посмотреть со стороны, то могло показаться, что их у него нет вообще...

— Сколько ему, по-твоему, лет? — спросил отец. — Столько, сколько и мне? — Отцу Роберта было около пятидесяти.

— Нет, — ответил Роберт, — не думаю.

— Он такого же возраста, как и твой дядя Жюль?

— Да, — согласился Роберт. — Приблизительно. — Как ему сейчас хотелось, чтобы его мать с отцом оставили его в покое. Ведь с ним теперь все в порядке. Нога его в гипсе, он не умер, и через три месяца, как сказал врач, снова будет ходить, и ему ужасно хочется забыть, забыть навсегда то, что с ним случилось этой ночью в лесу.

— Выходит, — вмешалась в их разговор мать, — это — мужчина лет двадцати пяти, в белом картузе, с голубыми глазами. — Подняв трубку телефона, она попросила соединить ее с лыжной школой.

Отец Роберта зажег сигарету, подошел к окну. Посмотрел, что творится за окном. Шел снег. Он валил с полуночи, и сегодня все подъемники не работали из-за сильного снегопада с порывистым ветром. При таких погодных условиях существовала вполне реальная опасность схода снежных лавин.

— Ты поговорил с крестьянином, который подобрал меня? — спросил Роберт.

— Да, конечно, — ответил отец. — Он говорит, что ты очень храбрый мальчик. Он также сказал, что если бы он тебя не обнаружил, то ты смог бы проползти еще не больше пятидесяти метров. Я дал ему двести франков. Швейцарских, разумеется.

— Тише, вы, — оборвала их мать. Ее как раз соединяли с лыжной школой.

— Это вас снова беспокоит миссис Розенталь. Да, спасибо, он выздоравливает, вообще все идет по плану, — говорила она на своем четком мелодичном французском. — Мы тут поговорили с ним, и в результате возник один довольно странный аспект всего этого дела. Он утверждает, что после того, как сломал ногу, какой-то лыжник остановился, помог ему снять лыжи, пообещал сходить в вашу лыжную школу, оставить там лыжи Роберта и попросить вас немедленно отправить за ним сани. Нам очень хотелось бы знать, приходил ли к вам на самом деле этот человек, сообщил ли о несчастном случае. Он должен был прийти к вам что-то около шести вечера. — Она замолчала, слушая, что ей отвечают. Лицо ее напряглось. — Понятно, — сказала она. Немного помолчала. — Нет, мы не знаем ни его имени, ни фамилии. Мой сын говорит, что ему около двадцати пяти лет, у него голубые глаза и он носит белый картуз. Минуточку, я спрошу. — Она повернулась к сыну. — Роберт, какой марки у тебя лыжи? Они сейчас посмотрят, нет ли их на улице в стеллаже.

— Аттенхофер, — сказал Роберт. — Длина метр семьдесят. На носках — красной краской — мои инициалы.

— Аттенхофер, — повторила за ним мать в трубку. — И на них есть его инициалы, написанные красной краской, — Р. Р. Благодарю вас. Будем ждать.

Отец Роберта, отойдя от окна, загасил сигарету в пепельнице. Несмотря на приобретенный за время отпуска загар, лицо у него сейчас было каким-то болезненным и уставшим.

— Роберт, — сказал он с печальной улыбкой, — тебе нужно впредь быть более осторожным. Ведь ты — единственный мой наследник по мужской линии; и у меня слишком мало шансов произвести на свет другого.

— Да, папа, — ответил Роберт, — я постараюсь впредь быть поосторожнее.

Мать нетерпеливо замахала на них рукой, чтобы они помолчали, и вновь прижала к уху телефонную трубку.

— Благодарю вас, — сказала она. — Прошу вас, сообщите мне, если вам что-то станет известно.

— Уму непостижимо! — воскликнул отец. — Разве может взрослый мужчина бросить мальчишку в лесу, чтобы он умер там от переохлаждения? И все это ради того, чтобы завладеть парой его лыж. Невероятно!

— Попался бы он мне в руки, — вторила ему мать, — пусть даже минут на десять. Роберт, дорогой, напрягись. Как он тебе показался? Это был... нормальный человек?

— По-моему, вполне нормальный, — ответил Роберт. — Мне так показалось.

— Ты ничего особенного в нем не заметил? Подумай-ка хорошенько. Может, какую-то деталь, которая поможет нам найти его. И это нужно не только нам, Роберт. Если в этом городке объявился человек, способный на такое, то очень важно предупредить людей, они должны знать этого злодея, чтобы не позволить ему сотворить то же самое, что с тобой, с другими мальчиками, если не хуже...

— Мама, — сказал Роберт, чувствуя, что этот допрос матери сейчас доведет его до слез. — Я же тебе все рассказал, все, как было. И, поверь, я не лгу тебе, мама.

— А какой у него был голос, Роберт? — продолжала мать, не замечая состояния сына. — Низкий, высокий? Какой у него был выговор? Такой, как у нас с папой? Можно было бы по нему предположить, что он жил в Париже? Может, у него был такой голос, как у твоих учителей или у кого-нибудь из живущих здесь, а он...

— Ах, да, — спохватился Роберт, неожиданно вспомнив то, что ускользнуло из его памяти.

— Ну что? Что такое? Что ты хочешь сказать? — звонко затараторила мать.

— Мне пришлось разговаривать с ним по-немецки, — сказал Роберт. «Как он об этом забыл? Скорее всего, из-за этого морфия и дикой боли».

— Как так? Тебе пришлось разговаривать с ним по-немецки?

— Я начал говорить с ним по-французски, но он ничего не понял. Поэтому мы поговорили на немецком.

Отец с матерью переглянулись. Затем мать тихо спросила его:

— Он говорил на хорошем, настоящем немецком? Или это был швейцарский немецкий? Ты ведь знаешь, что это далеко не одно и то же, не правда ли?

— Конечно, знаю, о чем ты говоришь? — обиделся Роберт. Одной из любимых забав отца перед гостями в Париже было подражание своим швейцарским друзьям. Вначале он говорил на французском, а потом переходил на швейцарский немецкий. У Роберта был тонкий слух и ему легко давались языки. Не говоря уже о том, что в детстве он постоянно слышал, как говорили на немецком его дедушка с бабушкой, выходцы из Эльзаса, в школе он изучал немецкую литературу, знал наизусть большие отрывки из произведений Гете, Шиллера и Гейне. — Тот человек говорил на нормальном, хорошем немецком языке, — сказал он.

В палате наступила тишина. Его отец снова подошел к окну и задумчиво смотрел на падающий, похожий на белое пушистое покрывало снег.

— Я знаю, — тихо сказал он, — он не мог этого сделать только ради твоих лыж.

\*

В конце концов отец выиграл в семейном споре. Его мать хотела обратиться в полицию, попросить их поискать этого человека, хотя отец был против и все время убеждал ее в том, что это — бесполезная затея. В этот швейцарский городок приезжают до десяти тысяч лыжников, чтобы провести здесь свой отпуск, среди них довольно много голубоглазых, хорошо говорящих на немецком языке людей. Пять раз в день сюда прибывают поезда, битком набитые пассажирами, и столько же убывает назад. Отец Роберта был уверен, что этот человек уехал отсюда в тот же вечер, когда Роберт сломал ногу, но, несмотря на это, чтобы лишний раз удостовериться в своей правоте, мистер Розенталь бродил по занесенным снегом городским улочкам, заглядывал во все бары на своем пути, внимательно всматриваясь в лица посетителей, — нет ли среди них человека, похожего на того голубоглазого злодея, с которым столкнулся его сын там, высоко в горах. Он убеждал жену, что обращение в полицию ничего хорошего не даст, а лишь повредит, так как стоит только предать эту печальную историю огласке, как найдется немало людей, которые станут повсюду жаловаться, стенать, — вот, мол, еще одна истеричная жидовская фантастическая история о нанесенном им вымышленном вреде.

— В Швейцарии полно нацистов всех национальностей, — говорил отец Роберта матери во время этого спора, тянувшегося несколько недель кряду, — и это лишь подбросит горючего в огонь. Теперь они смогут везде заявлять: «Вот, смотрите, там, где появляются евреи, обязательно начинается буза!»

Мать Роберта, сделанная из более круто замешенного теста, чем отец, несмотря на то, что у нее были родственники в Германии, требовала справедливости любой ценой, но вскоре и сама убедилась в полной безнадежности поставленной перед собой цели. Дальше заниматься этим делом не имело смысла. Четыре недели спустя после несчастного случая, когда Роберт, правда, с трудом, но уже мог передвигаться самостоятельно, она, сидя рядом с ним в «скорой», которая везла их в Женеву, а оттуда в Париж, сказала ему безжизненным глухим голосом, сжимая его руку:

— Мы скоро уедем из Европы. Разве можно жить на континенте, где позволяют вытворять такое?

Гораздо позже, во время войны, после того, как мистер Розенталь умер в оккупированной фашистами Франции, а Роберт с сестрой и матерью уже жили в Америке, один его друг, который, как и он, часто катался на лыжах в Европе, услыхал похожую историю о человеке в белом картузе и сказал, что его внешность в точности соответствует тому описанию, которое дал ему Роберт. Речь шла о лыжном инструкторе из Гармиш-Кирхена, или, может, Оберсдорфа или Фройденштадта. У него была пара богатых австрийских клиентов, и вместе с ними он кочевал каждую зиму с одного лыжного курорта на другой. Друг не знал имени этого человека, а когда однажды сам Роберт очутился в Гармише вместе с французскими войсками в последние дни войны, там уже никто на лыжах не катался...

И вот этот человек стоял рядом с ним, в каких-то трех футах — по ту сторону от итальянской красавицы — на фоне выстроившхся в линию черных связок лыж; его холодные, нагловатые глаза насмешливо разглядывали Роберта из-под белых, как у альбиноса, ресниц. Но человек его не узнавал. Немцу было теперь под пятьдесят, мясистое суровое лицо здорового человека с тонким шнурком губ придавало ему выражение уверенности в себе, говорило о его умении подчиняться дисциплине.

Роберт ненавидел его. Ненавидел за попытку преднамеренного убийства четырнадцатилетнего мальчишки в 1938 году; ненавидел за сотрудничество с нацистами во время войны и за те преступления, которые он совершил, но, по-видимому, был прощен; ненавидел за смерть своего отца и за насильственную высылку матери из Германии; ненавидел за те оскорбительные слова, которые он произнес в адрес молодой красивой девушки небольшого роста в черной мерлушковой шапочке с ворсом; ненавидел за самоуверенный, наглый взгляд, за пышущее здоровьем, равнодушное лицо и могучую шею; ненавидел за то, что он мог смело, не таясь, глядеть прямо в глаза человека, которого пытался когда-то убить, а теперь не узнавал; ненавидел за то, что он здесь, за то, что вносил дыхание смерти вместе с ощущением не доведенного до конца возмездия в этот журчащий серебристый говорок в поднимающемся в гору вагончике, который словно застыл в безмятежном воздухе над доброй, гостеприимной страной.

Но больше всего он ненавидел этого человека в белом картузе за то, что тот предательски нарушил с таким трудом созданный им, Робертом, его хрупкий мир, заключенный им с женой, детьми, работой, с его таким удобным, беспечным, щедрым на прощение послевоенным американизмом.

Этот немец лишил его чувства возвращения к обычной жизни. Жизнь с женой, тремя детьми, в чистом, оживленном весельем доме уже не была чем-то обычным; не было теперь обычным включение его имени в телефонный справочник, как и раскланивание с приподыманием шляпы с соседом, как плата по счетам; теперь уже не были чем-то обычным повиновение закону и расчет по праву на помощь со стороны полиции. Этот немец отбросил его назад, через годы, к старой, более правдивой обычности, — убийствам, пролитой крови, массовому исходу, преступному сговору, грабежам и руинам. Как долго он, Роберт, заблуждался, считая, что природу повседневной жизни можно изменить. И вот этот немец поставил его на место. Встреча с ним была, конечно, случайной, но этот случай приоткрыл ему то, что было постоянным, не случайным в его жизни, в жизни окружающих его людей.

Мэк что-то ему говорил, девушка в мерлушковой шляпке пела своим нежным, мягким голоском американскую песню, но он не слышал, что говорил ему Мэк, и слова этой песни казались ему абсолютно бессмысленными. Отвернувшись от немца, он глядел на крутой скалистый угол горы, теперь почти совсем закрытый резво набежавшим откуда-то облаком, и пытался лихорадочно придумать, как ему избавиться от Мэка, от молодых американцев, чтобы пойти следом за этим немцем, дождаться, когда он будет один, и убить его.

Он не собирался устраивать поединок, не собирался давать этому человеку шанс сохранить свою жизнь в кровавой драке. Нет, ему нужна была кара, возмездие, а не символ чести. Ему на память пришли рассказы заключенных в концлагерях во время войны о том, как они неожиданно столкнулись со своими палачами позже и передали их властям. Они добились удовлетворения, став свидетелями их казни. Ну а кому он может сдать этого немца, кому? Швейцарской полиции? За какое преступление? Где его отыскать в уголовном кодексе? Можно, конечно, сделать то, что сделал в Будапеште один бывший заключенный через три или четыре года после войны. Когда он случайно встретил на мосту через Дунай одного из своих тюремщиков, он просто схватил его за шиворот и столкнул в воду, наблюдая за тем, как тот тонет. Он объяснил властям, кто он такой и кем был тот человек, которого он утопил. Его отпустили с миром, и он стал общенациональным героем. Но Швейцария — это вам не Венгрия, а Дунай слишком далеко отсюда, и война давным-давно закончилась.

Нет, он будет действовать по-другому. Он будет идти за ним следом, идти, покуда тот не останется один, потом неожиданно нападет на него где-нибудь на крутом склоне, совершит убийство, смахивающее на несчастный случай, засыплет труп снегом и оставит в каком-нибудь глухом месте, где его только летом обнаружат местные фермеры, когда погонят в горы на пастбища свои стада. И никому ничего не говорить. Только нужно все делать быстро, не давая немцу времени догадаться, что он стал предметом особого внимания со стороны Роберта, чтобы не вызвать у него подозрений в отношении постоянно преследующего его американца, чтобы механизм памяти не заработал, и лицо худосочного, костлявого четырнадцатилетнего мальчика, которого он встретил на погрузившейся в темноту горе, в его сознании вдруг не трансформировалось в охваченное местью лицо взрослого человека.

Роберт никогда в своей жизни не убил ни одного человека. Во время войны он был откомандирован американским штабом в качестве офицера связи во французскую дивизию, и хотя в него стреляли неоднократно, он после прибытия в Европу ни разу не выстрелил из своего пистолета. Когда закончилась война, он тайно благодарил Всевышнего за то, что Он лишил его возможности убивать. Теперь он понял, его тоже не пощадила война, она для него не закончилась.

— Послушай, Роберт... — наконец где-то в подсознании всплыл голос Мэка. — Что с тобой? Я с тобой разговариваю уже чуть ли не минуту, а ты, по-моему, не слышал ни слова. Ты случайно не заболел? У тебя какой-то странный вид, парень.

— Нет, все в порядке, — ответил Роберт. — Просто немного болит голова, вот и все. Может, мне нужно что-то съесть, выпить горячего. Так что ты спускайся один, без меня.

— И не подумаю, — возразил Мэк. — Я подожду.

— Не будь дураком, — сказал Роберт, стараясь, чтобы его тон оставался дружеским и естественным. — Послушай, ты рискуешь потерять свою «графиню». Знаешь, честно говоря, мне расхотелось сегодня кататься. Видишь, погода испортилась. — Он махнул рукой в сторону темного облака, все плотнее окружающего вагончик. — Ни черта не видно. Может, я даже вернусь назад этим же рейсом...

— Эй, послушай, — перебил его Мэк. — Что-то мне это все не нравится. Я буду с тобой. Может, отвести тебя к врачу?

— Оставь меня в покое, Мэк, прошу тебя, — сказал Роберт. Он понимал, что его намерение избавиться от опеки Мэка может того обидеть, ну, ничего, он все как-нибудь уладит, только позже. — Когда у меня начинаются эти головные боли, мне лучше побыть одному.

— Ты это серьезно? — спросил Мэк.

— Вполне.

— О'кей. Значит, встретимся в отеле за чаем?

— Да, конечно, — сказал Роберт. «После убийства, — подумал он, — я всегда пью хороший чай». Теперь он молил Бога, чтобы итальянка сразу же после того, как они окажутся на вершине, надела лыжи и убежала, а Мэк, вполне естественно, помчался за ней. И тогда Роберт спокойно пойдет следом за человеком в белом картузе.

Вагончик теперь миновал последнюю опору и, замедляя ход, готовился к въезду на станцию. Пассажиры зашевелились, поправляя одежду, пробуя надежность креплений, — в общем шла обычная подготовка к спуску. Роберт бросил быстрый взгляд на немца. Полная женщина рядом с ним суетливыми движениями заботливо, словно жена, наматывала ему на шею шелковый шарф. У нее было лицо поварихи. Ни она, ни ее спутник не смотрели в его сторону. «Ладно, — подумал он, — проблему с этой женщиной решу на месте».

Вагончик остановился, и лыжники начали гурьбой выходить из него. Роберт стоял рядом с дверью и поэтому оказался в числе первых. Не оглядываясь, он быстро зашагал от станции; с внешней стороны скалистая гора уходила отвесно вниз. Роберт постоял на краю пропасти, глядя вниз. Если немцу вдруг взбредет в голову подойти сюда, к нему, чтобы полюбоваться открывающимся отсюда захватывающим дух видом или же оценить состояние трассы Кайзергартен, расположенной там, чуть дальше, то у Роберта появится вполне реальная возможность сделать только одно резкое движение, и этот человек с грохотом, увлекая за собой снежную лавину, полетит вниз, прямо на острые скалы, торчащие внизу, на расстоянии ста метров, и все будет кончено. Повернувшись, Роберт посмотрел на выход со станции, пытаясь отыскать в толпе лыжников человека в белом картузе.

Он увидел Мэка. Тот выходил вместе с итальянкой. Он нес ее лыжи, что-то ей говорил, а она мило улыбалась ему в ответ. Помахав ему рукой, Мэк опустился на колени перед «графиней», чтобы помочь девушке надеть лыжи. Роберт глубоко вздохнул. Наконец-то Мэк больше ему не помеха. Американцы решили пойти позавтракать в ресторане, расположенном здесь, на вершине, в двух шагах от станции.

Но он нигде не видел этого человека в белом картузе. Немец со своей спутницей пока еще не выходили. В этом не было ничего необычного. Иногда лыжники предпочитают натирать мазью свои лыжи на станции, в тепле, или им нужно сходить в туалет перед началом спуска. Все это только на руку ему. Чем дольше там задержится немец, тем меньше будет поблизости людей, когда он начнет свое преследование.

Роберт ждал их, стоя на краю бездны. В этом все плотнее окутывающем вершину холодном облаке ему было тепло, — он сейчас чувствовал себя способным на многое, могущественным, властным человеком, а в голове, как ни странно, не было никаких мыслей. Впервые в жизни он ощутил, какое глубокое, какое чувственное удовольствие получаешь от чьей-то гибели. Он весело помахал Мэку и его девушке-итальянке. Они вместе направлялись по дорожке к одной из самых простых трасс на той стороне горы.

Двери станции отворились, и оттуда вышла, вернее выехала, женщина, которая была с немцем. Она была на лыжах, и Роберт понял, почему они так долго задержались. Они надевали лыжи в зале ожидания. В плохую погоду это делают очень многие лыжники, чтобы не мерзли руки при прикосновении к ледяному металлу креплений на холодном, пронизывающем ветру. Женщина придерживала дверь, и Роберт увидел, как через нее проходит этот человек в белом картузе. Он не выходил, как выходят все, — он с удивительной ловкостью прыгал на одной ноге. Другая была ампутирована до бедра. Немец удерживал равновесие с помощью миниатюрных лыж, прикрепленных на концах лыжных палок, вместо обычных переплетенных ремешками колец.

На протяжении многих лет Роберт видел и других одноногих лыжников, ветеранов гитлеровских армий, которые не желали из-за своего увечья лишать себя удовольствия побывать в любимых горах, и он всегда только восхищался их силой духа и искусством. Но никакого восхищения перед этим человеком в белом картузе он не испытывал. Сейчас, в эту минуту, он ощущал только горькое чувство утраты от того, что у него отняли в последний момент то, что ему было обещано и что ему было нужно позарез. И это потому, что у него не было достаточно сил, чтобы убить калеку, наказать того, кто уже получил свое наказание, и он презирал себя за проявленную слабость.

Он смотрел вслед этому человеку, видел, как тот как-то хитро, по-крабьи, передвигается по снегу, ссутулившись над своими палками с игрушечными лыжами на их концах. Дважды или трижды, когда перед ним оказывался пригорок, женщина молча заходила ему за спину и подталкивала его, покуда он не преодолевал его и не выходил на спуск, где мог скользить дальше, уже без ее помощи.

Окутавшее вершину облако унес налетевший ветер, и на какое-то мгновение из своего облачного плена вырвалось солнце. Роберт видел, как этот человек со своей женщиной направляются к входу на самую крутую трассу на этой горе. Без всяких колебаний этот человек смело, бесстрашно, с поразительным искусством быстро заскользил вниз, обгоняя многих робких и слабых лыжников, которые осторожно, словно на ощупь, катились вниз по склону.

Глядя на эту пару, которая очень скоро превратилась в две крошечные фигурки в белом громадном пространстве под ним, Роберт понимал, что ничего не поделаешь, ему больше нечего ждать, не на что рассчитывать, кроме как на холодное вечное прощение, лишающее его всякой надежды.

Обе фигурки, миновав освещенную солнечным светом верхнюю часть снежного склона, стремительно въехали в нижнюю, затянутую непроглядным облаком. Роберт вернулся к тому месту, где оставил лыжи. Надел их. Но делал это очень неловко. Руки его замерзли, так как он снял лыжные перчатки еще в вагончике подвесной канатной дороги, в том полном надежд, коротком, всего десять минут, невинном прошлом, когда считал, что за оскорбление, нанесенное немцем, можно расквитаться несколькими ударами голого кулака.

Он скользил вниз по трассе, выбранной Мэком с итальянкой, и быстро догнал их, когда они преодолели всего половину склона. Когда они дошли до деревни, пошел снег, и они организовали для себя очень веселый, радостный ланч с изобилием вина, и девушка дала свой адрес Мэку, сказав, что он должен непременно навестить ее, когда снова приедет в Рим.

ГОРОДСКИЕ ЗВУКИ

Свернув с Шестой авеню, Уизерби зашагал вверх по улице к своему небольшому жилому дому в центре квартала. Каково же было его удивление, когда он увидел, что в окнах ресторана все еще горит свет. Он назывался «Святая Маргарита» и, по существу, был ресторанчиком итальянским, но с определенными французскими полутонами. Главная работа кипела там во время ланча, а по вечерам он рано закрывался, в десять тридцать. Иной раз, когда их одолевала лень или когда Уизерби брал работу на дом, они с женой там обедали. Ресторан был недорогой, и к тому же бармен по имени Джиованни был его другом. Время от времени, по дороге с работы домой, он заглядывал туда, чтобы опрокинуть рюмочку, потому что напитки там были высокого качества, всегда царила спокойная атмосфера и не гремел телевизор.

Он уж было прошел мимо, но вдруг остановился, решив пропустить стаканчик виски. Жена сообщила, что идет в кино и поэтому вернется не раньше одиннадцати тридцати, он устал, и ему совсем не улыбалось возвращаться в пустую квартиру и пить в одиночестве.

В ресторане был всего один посетитель, он сидел у стойки маленького бара, у самого входа. Все официанты давно разошлись по домам, а Джиованни сам менял стаканчики для него, наполняя их бурбоном1. Уизерби устроился в самом конце стойки, но их с этим посетителем разделяли всего два высоких стула — такой короткой она была. Джиованни подошел к нему поздороваться.

— Добрый вечер, мистер Уизерби.

Поставив перед ним стакан, бармен налил двойного виски, так, на глазок, не измеряя, открыл бутылку содовой, предлагая самому Уизерби сделать себе нужную смесь.

Джиованни был совсем не похож на итальянца: крупный мужчина, с суровым квадратным лицом и седыми волосами, с прической на прусский манер.

— Ну, как дела сегодня, мистер Уизерби? — поинтересовался он.

— Превосходно, — ответил тот. — По крайней мере, все было превосходно, когда я разговаривал с женой сегодня днем. Я только возвращаюсь с работы.

— Вы слишком много работаете, мистер Уизерби, — сказал Джиованни.

— Да, вы правы, — Уизерби отхлебнул большой глоток виски. «Ну что может быть лучше шотландского виски», — подумал он, мысленно благодаря его умельцев-производителей, ласково, с удовольствием поглаживая стакан теплой ладонью. — Что-то вы сегодня поздновато...

— Ничего, не беспокойтесь, — сказал Джиованни. — Мне некуда спешить. Пейте в свое удовольствие, пейте, сколько хотите.

Хотя он разговаривал с Уизерби, тому все же показалось, что в первую очередь эти слова он адресует посетителю, сидевшему у другого конца стойки. Положив локти на крышку красного дерева, тот держал двумя руками стакан, глядя в него с чуть заметной улыбкой, подобно ясновидцу, который видит что-то неопределенное и расплывчатое в стеклянном шаре, но все равно нечто очень приятное, доставляющее ему удовольствие.

Стройный, седоватый мужчина с вежливым интеллигентным лицом. Узкий, по моде, темно-серый костюм, яркая в полоску бабочка и застегнутая на пуговички сверху донизу оксфордская рубашка. На пальце левой руки Уизерби заметил обручальное кольцо. Он не был похож на таких завсегдатаев, которым нравится сидеть одним в баре и пить допоздна. В баре было полутемно, и у Уизерби возникло такое ощущение, что, будь сейчас здесь немного посветлее, он наверняка узнал бы этого человека: он мог оказаться тем, с кем они когда-то, пусть мимолетно, но пару раз встречались. В Нью-Йорке всегда так. Стоит некоторое время пожить в этом городе, и очень многие лица начинают казаться тебе мучительно знакомыми.

— Мне известно о ваших планах, — сказал Джиованни, — вы хотите переехать в деревню.

— В конечном счете, думаю, что да, — подтвердил Уизерби. — Если только удастся подыскать что-то поприличнее и не так далеко.

— Да, детям нужен свежий воздух, — продолжал Джиованни. — Заставлять их расти в городе, по-моему, нечестно по отношению к ним.

— Вы правы, — согласился с ним Уизерби. Его жена Дороти была на седьмом месяце беременности. Они женаты уже целых пять лет, и это будет их первенец, и ему всегда доставлял абсурдное, примитивное удовольствие разговор о деревенском здоровом воздухе, которым должен дышать его ребенок. — Ну, само собой, потом вопрос о школах... — Как все же приятно болтать всякую банальную чепуху о детях, если ты только уверен, что они у тебя обязательно будут.

— После того, как это произойдет, — сказал Джиованни, стоя перед ним, — думаю, мы потеряем вас как своего клиента навсегда.

— Ну что вы, — возразил Уизерби, — мы все равно будем время от времени к вам заглядывать, чтобы поесть.

— Мистер Уизерби, — донеслось до него вдруг. К нему обращался этот одинокий посетитель. — Можно поздороваться с вами?

Уизерби неохотно повернулся. У него не было настроения завязывать случайные беседы с незнакомцами. К тому же возникло мимолетное ощущение, что Джиованни не одобрял инициативы, проявленной этим человеком.

— Вы меня, конечно, не помните, — продолжил он, нервно улыбаясь. — Мы с вами встречались лет восемь или даже десять назад... ах, да... в моем магазине. — Он издал какой-то свистящий звук — прелюдию к смущенному смеху. — По сути дела, мне кажется, вы заходили два, а может, и три раза... Тогда возник вопрос о нашей возможной совместной работе, если я все точно помню. Потом, когда я услыхал, как Джиованни назвал вас по имени, я невольно подслушал, что поделаешь. Я... ну... я Сидней Госден.

Называя себя по имени, он понизил голос, как это иногда делают знаменитые люди, не желая продемонстрировать свою нескромность. Уизерби бросил взгляд через весь бар в сторону Джиованни, словно обращаясь к нему за помощью, но Джиованни в это время натирал до блеска стакан полотенцем, намеренно опустив глаза, по-видимому, не желая вступать в их беседу.

— Ах... да... да... — сказал Уизерби довольно неопределенно.

— У меня был, то есть и сейчас есть, магазин на Третьей авеню, — сказал Госден. — Антиквариат, украшение интерьеров. — Снова этот мягкий, свистящий, унижающий его достоинство смех, который и на смех-то не похож. — Это было тогда, когда я собирался заняться рядом домов неподалеку от Бикмэн-плейс, а вы обратились к моему другу...

— Да, да, конечно, — приветливо сказал Уизерби. Он до сих пор не мог вспомнить этого человека, как ни старался, но он отлично помнил этот случай. В то время он только начинал свою карьеру архитектора, и ему казалось, что удастся со всем справиться одному, когда до него донеслись слухи о том, что четыре старых здания на Ист-Сайде собираются соединить вместе и потом разбить на небольшие квартирки-студии. Какой-то человек из одной крупной фирмы, которая отказалась от этого подряда, сказал ему, что, может, все-таки стоит заняться этим проектом, и назвал в этой связи имя Госдена. Их беседа не отложилась твердо в его памяти — минут пятнадцать — двадцать довольно общего разговора в темном магазине, с незажженными бронзовыми лампами и сваленными в кучу, один на другой, старинными американскими столами. У него сложилось тогда впечатление о напрасной трате времени, о том, что он снова оказывается в тупике.

— Ну и чем все закончилось? — спросил он.

— Да ничем, — сказал Госден. — Вы же знаете, как у нас это часто бывает. В конце концов, они просто снесли с лица земли весь квартал и на его месте построили один из этих чудовищных девятнадцатиэтажных жилых домов. Просто отвратительно. Ваши идеи тогда произвели на меня сильное впечатление.

Сейчас он был похож на женщину на вечеринке с коктейлем, которая, загнав мужчину в угол, быстро тараторила, говорила ему все, что приходит ей в голову, только чтобы он не улизнул от нее в бар, не оставил ее одну, и тогда ей уже не удастся больше ни с кем поговорить за весь этот вечер, за всю свою жизнь.

— Я хотел пойти по вашим стопам, сделать такую же карьеру, — торопливо продолжал Госден. — Я тогда был абсолютно уверен, что вы самой судьбой призваны для великих свершений, но любой человек в этом городе постоянно занят какой-то чепухой, и, само собой, все его наилучшие упования... — Он осекся, безнадежно махнув рукой, так и не закончив витиеватой своей фразы. — Я уверен, что каждый день прохожу мимо возведенных вами зданий, этих монументов, поставленных в честь вашего таланта, не зная...

— Это не совсем так, — сказал Уизерби. — Я поступил на работу в одну большую фирму. — Он назвал ее Госдену, и тот понимающе, с серьезным видом кивнул, давая ему понять, с каким уважением относится к их заметным достижениям. — Я занимаюсь всякой мелочевкой.

— Все в свое время, — весело заметил Госден. — Значит, вы один из тех молодых людей, которые заталкивают нас, несчастных нью-йоркцев, в эти холодные, поблескивающие стеклом клетки.

— Ну, я не так уж молод, — возразил Уизерби, мрачно размышляя о том, что это на самом деле так. А этот Госден мог быть старше его лет на десять — самое большее. Он допил свой стакан. Ему не нравились манеры Госдена — он был человеком словоохотливым, навязчивым, женоподобным, и от этого Уизерби было не по себе. — Ну, — сказал он, вытаскивая бумажник, — думаю, мне...

— Ах, прошу вас, не уходите... — попросил Госден. В его голосе чувствовались тревожные, мучительные нотки, и это Уизерби удивило. — Если вы уйдете, Джиованни немедленно уберет все бутылки под замок и тут же выпроводит меня. Выпьем еще. Прошу вас. И вы со мной тоже. Сейчас ведь так поздно. Идти некуда.

— На самом деле мне... — начал было Уизерби. Но тут он перехватил странный, настоятельный взгляд Джиованни, словно тот хотел передать ему какое-то экстренное сообщение. Бармен быстро налил второй стаканчик виски для Уизерби, бурбона для Госдена и не пожалел того же напитка для себя.

— Ну, вот, — сказал Госден, сияя от удовольствия. — Так-то оно лучше. Не подумайте только, мистер Уизерби, что я такой человек, который слоняется здесь постоянно, угощая выпивкой за свой счет всех подряд. На самом деле — я скряга, просто невозможный скупердяй, в чем постоянно меня упрекает жена, ей это, конечно, не нравится.

Он церемонно поднял свой стакан. Его длинная, узкая рука дрожала, и, глядя на нее, Уизерби подумал, уж не пьяница ли он.

— За эти холодные, красивые, пропитанные одиночеством стеклянные небоскребы города Нью-Йорка, — произнес Госден свой тост.

Они выпили. Джиованни расправился со своим стаканчиком одним залпом, он сразу его вымыл, насухо вытер до блеска, не меняя обычного выражения на лице.

— Мне здесь так нравится, — сказал Госден, с довольным видом оглядывая тусклые лампы и картины с изображениями лигурийского побережья, плотно развешанные на стенах. — Это уютное местечко вызывает у меня особые воспоминания: однажды, холодным зимним вечером, я сделал здесь предложение своей жене, — торопливо добавил он, словно опасаясь, как бы Уизерби не заподозрил его в том, что он не здесь сделал предложение своей жене. — Мы сюда с тех пор не так часто приходили. — Он печально покачал головой. — Не знаю, право, почему. Может, потому, что жили в другом конце города. — Он потягивал выпивку, скосив глаза на картину в самом конце бара, на которой были изображены море и горы. — Мне всегда хотелось свозить жену в Нерви1. Чтобы посмотреть там на храм, — мечтательно сказал он, — «Золотую ветвь». Но, как говорят французы, «hiles!» — увы, мы так туда и не поехали. Я, конечно, самым глупым образом успокаивал себя: мол, еще есть время впереди, можно совершить такое путешествие и на следующий год. Но ведь, как я уже сказал, мое скопидомство нашептывало мне, что придется пойти на большие, просто неподъемные расходы...

Он снова, пожав плечами, занял знакомую позу ясновидящего. Обхватив свой стакан ладонями, он внимательно изучал его содержимое.

— Скажите мне честно, мистер Уизерби, — спросил он ровным, обычным, абсолютно спокойным тоном, — вам когда-нибудь приходилось убивать человека?

— Что-что? — вздрогнул от неожиданности Уизерби, думая, уж не ослышался ли он.

— Вы когда-нибудь убивали человека? — Госден в третий раз издал свой свистящий смешок. — По сути дела, такой вопрос может звучать довольно часто по самым различным поводам. В конце концов, в нашем городе немало свободно разгуливающих лиц, которые когда-то убили человека: полицейские, несущие свою патрульную службу, безрассудные водители, боксеры, доктора и медсестры, с их самыми благими намерениями в жизни, дети с пневматическими ружьями, грабители банков, бандиты, солдаты, принимавшие участие в этой великой войне...

Уизерби бросил осторожный взгляд на Джиованни. Тот молчал, но по выражению на лице бармена он понял, что тот не прочь, чтобы он исполнил прихоть другого клиента, ублажил его.

— Ну, — начал Уизерби, — я воевал...

— В пехоте, штыком, — подсказывал ему Госден своим совершенно другим голосом — любопытным, неравнодушным, в котором не было и следа женоподобия.

— Я служил в артиллерии, — продолжал Уизерби, — в батарее 105-миллиметровых орудий. Думаю, можно в таком случае сказать...

— Отважный, смелый капитан, — все подсказывал Госден, улыбаясь, — глядя в бинокль, приказывает открыть огонь из боевых орудий по штабу противника.

— Нет, не совсем так, — сказал Уизерби. — Мне тогда было только девятнадцать, я был рядовым, одним из заряжающих. Большей частью приходилось работать лопатой. Окапываться.

— Тем не менее, — настаивал на своем Госден, — можно сказать, что вы своими усилиями этому способствовали, то есть, благодаря им, люди гибли.

— Ну, — продолжал Уизерби, — мы произвели немало выстрелов. Где-то, вероятно, в зоне поражения в результате были убиты люди.

— Прежде я был страстным охотником, — сказал Госден. — Ну, когда был мальчишкой. Я вырос на юге. Если быть точным, — в Алабаме, хотя я горжусь тем, что об этом никто не догадается по моему акценту. Однажды я подстрелил рысь. — Он все цедил свой напиток. — В конце концов, я почувствовал внутреннее отвращение из-за того, что отнимаю жизнь у животных. Хотя я не испытывал таких же чувств по отношению к птицам. Вам не кажется, что в птицах есть какая-то враждебность, что она существовала до появления на земле человека? Что скажете, мистер Уизерби?

— Я как-то над этим не задумывался, — признался Уизерби, уверенный в том, что его собеседник уже пьян, и теперь приходилось только гадать, когда тот, соблюдая приличия, отсюда уйдет и ему не придется ставить ему ответный стаканчик.

— Когда лишаешь жизни человека, то, вероятно, испытываешь момент высочайшей экзальтации, — сказал Госден, — после чего тебя окатывает холодная волна малодушного, неискоренимого стыда. Ну, например, на войне, когда вы общались со своими друзьями, солдатами, такой вопрос наверняка возникал...

— Боюсь, — перебил его Уизерби, — что в большинстве случаев солдаты не чувствуют того, что вы хотите им приписать.

— Ну а вы сами? — не унимался Госден. — Даже если учесть ту скромную роль, которая вам выпала, роль заряжающего, как вы сказали, винтика в громадной военной машине, что вы чувствовали тогда, что чувствуете теперь?

Уизерби колебался, стоит ли ему отвечать на такой вопрос, тем более что он уже начинал сердиться на этого человека. Как бы не сорваться.

— Теперь, — сказал он спокойно, — я сожалею об этом. А когда все это происходило, то ведь речь шла лишь о сохранении собственной жизни.

— Вам приходилось когда-нибудь размышлять о таком юридическом институте, как высшая мера наказания, мистер Уизерби?

Госден говорил, не глядя в его сторону, уставившись в отражение ряда выстроившихся бутылок в зеркале позади стойки, предаваясь своим мрачным размышлениям.

— Государство отнимает у человека жизнь. Вы за это или против? Вам никогда не приходилось выступать за отмену смертной казни?

— Когда-то в колледже я подписал такую петицию, как мне кажется.

— Когда мы молоды, — продолжал Госден, обращаясь к своему дрожащему отражению в зеркале, — мы куда более чувствительны в отношении ценности человеческой жизни. Я и сам когда-то принял участие в марше протеста против повешения нескольких цветных юношей. Я тогда уже не жил на юге — мы перебрались на север. Но тем не менее я принял участие в такой процессии. Во Франции существует популярная теория, что смерть под ножом гильотины наступает мгновенно, хотя понятие о таком мгновении — вещь весьма растяжимая, как это ни странно. Существует такое мнение, что отрубленная голова, скатывающаяся в корзину, все еще способна чувствовать и мыслить несколько мгновений после того, как совершен акт возмездия.

— Довольно вам, мистер Госден, — примирительно сказал Джиованни. — Разве вы завели приятный разговор? Нет, этого никак не скажешь.

— Прости меня, Джиованни, — сказал Госден, мило улыбнувшись. — Мне, конечно, должно быть стыдно перед вами за самого себя. В таком очаровательном, уютном баре, в присутствии такого чувствительного, талантливого человека, как мистер Уизерби. Прошу простить меня. Ну, если я прощен, то мне нужно позвонить. — Он сполз со своего высокого стула у стойки, пошел, подпрыгивая, в своем узком темном костюме в дальний конец пустого ресторана, открыл небольшую дверь, ведущую в туалеты и к телефонной будке.

— Господи, — вздохнул Уизерби, — что все это означает?

— Разве вы его не знаете? — тихо спросил Джиованни, не спуская глаз с темной глубины ресторана.

— Ну, только то, что он сам рассказал о себе, — ответил Уизерби. — А почему вы спрашиваете? Неужели вы считаете, что все обязаны знать, кто он такой?

— Но его имя упоминалось во всех газетах два-три года назад, — сказал Джиованни. — Его жену изнасиловали и потом убили. Где-то на Ист-Сайде. Он пришел домой к обеду и обнаружил ее труп.

— Боже мой, — тихо произнес Уизерби, испытывая к этому человеку внезапную жалость.

— Преступника задержали на следующий день, — сказал Джиованни. — Он оказался то ли плотником, то ли водопроводчиком. Иностранец, из Европы, у него жена, трое детей, жили они где-то в Куинсе. Никакого криминального прошлого, никаких жалоб на него, все чисто. Он занимался своей работой в жилом доме, позвонил не в ту дверь, она открыла ему, сама была в легком халатике или что-то в этом роде.

— Ну и что с ним сделали? — спросил Уизерби.

— Убийство первой степени, — ответил Джиованни. — Его должны посадить на электрический стул там, в верховье реки, сегодня поздним вечером. Вот почему Госден пришел сюда. Чтобы узнать, покончили с ним или нет. Обычно казнь совершается, насколько я знаю, часов в одиннадцать, в половине двенадцатого.

Уизерби посмотрел на свои часы. Было почти половина двенадцатого.

— Ах, какой несчастный человек, — вздохнул он. — Если бы его сейчас спросили, кого он имеет в виду, — преступника или Госдена, он наверняка не смог бы дать четкого ответа.

— Госден, Госден, — повторял он, пытаясь что-то вспомнить. — Нет, вероятно, в это время меня не было в городе.

— Был большой шум, — пояснил Джиованни. — Пару дней.

— И часто он приходит сюда, заводит такие разговоры? — поинтересовался Уизерби.

— Впервые слышу от него такое, — признался Джиованни. — Обычно он приходит сюда пару раз в месяц, заказывает стаканчик в баре, ведет себя тихо, вежливо, потом довольно рано ест в глубине зала с книжкой в руке. Никогда и не подумаешь, что с ним что-то произошло. Но сегодня все происходило иначе. Он пришел около восьми вечера, ничего не стал есть, уселся возле стойки и медленно пил весь вечер.

— Поэтому у вас и открыто? — догадался Уизерби.

— Да, вы правы. Нельзя же выпроваживать человека в такую ночь.

— Конечно нет, — согласился с ним Уизерби. Он еще раз посмотрел на дверь, ведущую к телефонной будке. Ему захотелось уйти. Ему совсем не хотелось слышать, что скажет этот человек, когда вернется к стойке от телефонной будки. Ему хотелось поскорее уйти, чтобы быть дома, когда вернется жена. Но он понимал, что не может вот так просто взять и убежать, хотя такая идея, конечно, была весьма соблазнительной.

— Впервые я услыхал, что он сделал предложение своей жене здесь, у меня, — сказал Джиованни. — Думаю, поэтому... — он осекся, не высказав до конца свою догадку.

— И как она тогда выглядела, его жена? — спросил Уизерби.

— Милая, красивая, маленькая женщина... Она не привлекала к себе особого внимания.

Дверь в глубине ресторана открылась, и Госден большими шагами направился назад, к стойке бара. Уизерби наблюдал за ним. Он не остановился ни перед одним столиком, ни справа по проходу, ни слева, перед тем из них, который мог вызывать у него особые воспоминания. Он вскочил, как в седло, на высокий стул, улыбнулся своей торопливой, извиняющейся улыбкой, и по выражению его лица никак нельзя было сказать, что же ему сообщили по телефону.

— Ну, — сказал Госден, — вот и я.

— Позвольте мне предложить вам от себя стаканчик, — сказал Уизерби, ткнув пальцем в сторону Джиованни.

— Вы очень любезны, мистер Уизерби, — ответил Госден. — Очень добры, на самом деле.

Они наблюдали за тем, как Джиовани наполняет их стаканы.

— Ожидая там, когда меня соединят с абонентом, — продолжал Госден, — я вдруг вспомнил одну забавную историю. О том, что одни люди счастливы, а другие — нет. Это рыбацкая история. Вполне приличная. Я никогда не запоминаю неприличных историй, даже если они очень смешные. Не знаю почему. Жена моя говорила по этому поводу, что я большой скромник, и, может, она была права. Попытаюсь передать все точно, ничего не исказить. Дайте подумать, — он явно колебался, поглядывая на свое отражение в зеркале. — Это о двух братьях, которые решили пойти на рыбалку на целую неделю на одно горное озеро... Вы, может, ее уже слышали, мистер Уизерби?

— Нет, не слышал, — заверил он его.

— Прошу вас, не нужно со мной особой вежливости, — сказал Госден. — Мне будет неприятно сознавать, что я вам наскучиваю.

— Нет, — снова повторил Уизерби, — на самом деле, я ее никогда не слышал.

— Ну, это довольно старая история, с «бородой», и я, вероятно, впервые услыхал ее давным-давно, много лет назад, когда еще посещал вечеринки, ночные клубы и прочие увеселительные заведения. Так вот. Два брата отправляются на озеро, там нанимают лодку и заплывают на глубину. Только один из них забросил леску, как у него клюнуло, и он тут же вытащил из воды громадную рыбину. Он вновь забрасывает удочку, и у него вновь клюет, и он снова вытаскивает такую же громадную рыбину. Снова, снова, и так весь день. А второй с горестным видом сидит в лодке целый день, держит удочку в руках, но ни одна, даже самая маленькая рыбка не попадается на его наживку. На следующий день — та же картина. И на третий, и на четвертый. Тот брат, которому ничего не достается, только все мрачнеет, мрачнеет, все сильнее сердится, сердится на своего брата, который знай вытаскивает из воды одну рыбину за другой. Наконец, удачливый брат, понимая, что нужно все же в семье поддерживать мир, говорит неудачнику, что на следующий день он на озеро не пойдет, останется на берегу, так что тот будет удить один на всем озере целый день. Ну, на следующее утро, встав пораньше, на зорьке, невезучий брат отправляется на рыбалку со своей удочкой, леской и самой вкусной приманкой, забрасывает леску за борт и принимается терпеливо ждать. Ждал он долго-долго. Никаких признаков клева. Вдруг за бортом раздается всплеск, выплывает самая большая рыбина, — такую он и сроду не видел, — выпрыгивает из воды и спрашивает человеческим голосом: «Послушай, приятель, что, сегодня твоего брата не будет?»

Госден с тревогой посмотрел на Уизерби, какова будет его реакция. Уизерби сделал вид, что довольно фыркнул.

— По-моему, я пересказал все верно, — сказал Госден. — Мне кажется, что у этой истории гораздо более глубокий смысл, чем у подобных анекдотов. Ну, здесь ведь идет речь о везении, счастье, судьбе и о другом, подобном, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю.

— Да, согласен с вами, — сказал Уизерби.

— Людям, конечно, больше нравятся скабрезные истории, знаю по своему опыту, но, как я уже вам сказал, я их не запоминаю. — Он не торопясь отпил из стакана.

— Думаю, что Джиованни кое-что рассказал вам обо мне, когда я звонил, — сказал он. И снова в его голосе почувствовались непривычные нотки, — ровные, замирающие, совсем не женоподобные.

Уизерби бросил на Джиованни взгляд. Тот едва заметно кивнул ему.

— Да, — ответил он, — кое-что. Совсем немного.

— Так вот. Моя жена, когда я женился на ней, была девственницей, — продолжал Госден. — Мы испытывали друг к другу испепеляющую страсть с самого начала, и у нас с ней были прекрасные отношения. Она была одна из тех редких женщин, созданных только для брака, только для того, чтобы быть женой, и ничем больше. Никто особо не замечал ни ее красоты, ни глубины чувств, если просто глядел на нее или разговаривал с ней. Внешне она была самой робкой, самой положительной из всех женщин. Так, Джиованни?

— Да, мистер Госден, вы, несомненно, правы, — отозвался Джиованни.

— Во всем мире было только два мужчины, которые ее познали. Это я и...

Он осекся, замолчал. Лицо у него задергалось.

— В одиннадцать часов восемнадцать минут они включили рубильник. Этот человек мертв. Я всегда убеждал ее закрывать двери на цепочку, но она была такой безрассудной, доверяла всем людям в мире. В городе полно этих диких зверей, поэтому смешно принимать нас за цивилизованных людей. Она громко закричала. Несколько соседей в доме слышали ее вопли, но в нашем городе никто не обращает внимания на звуки, доносящиеся из соседской квартиры. Позже одна леди, живущая этажом ниже, под нами, сказала, что слышала крики, но думала, что у нас с женой — ссора, хотя мы никогда не ссорились за все четыре года нашего брака, а другая соседка сказала, что, как ей показалось, это гремел включенный на полную мощность телевизор, и она даже собиралась написать жалобу в домоуправление, что ей мешают спать.

Госден поставил ноги на кольцо под сиденьем своего стула, теперь сидел, как девушка, снова обхватив двумя ладонями стакан, упорно разглядывая его содержимое.

— Как приятно сознавать, что вы внимательно слушаете меня, мистер Уизерби, — сказал он. — Люди с тех пор начали меня всячески избегать, все эти три года мои старые клиенты торопливо проходили мимо моего магазина, не заглядывая ко мне, старых друзей не оказывалось дома, когда я им звонил. Теперь я полагаюсь в своей торговле только на иностранцев и на общение только с ними. На Рождество я отослал анонимно сто долларов по почте одной женщине в Куинсе. Я поступил так под влиянием минуты, импульсивно, я долго не размышлял, не искал причин, может, во всем виноваты праздники... я даже хотел попросить приглашения на... эту церемонию казни в Оссининге, сегодня ночью. Я серьезно думал об этом, и, уверен, все можно было уладить. В конце концов, я передумал — ничего хорошего от этого ожидать не приходилось, говорю вам честно. Ну и, вместо этого, я явился сюда в бар, чтобы выпить с Джиованни. — Он улыбнулся ему через весь бар. — Итальянцы, — сказал, он, — такие нежные, такие чувствительные души. Ну а теперь мне на самом деле пора домой. Хотя я сплю очень плохо, все же из принципа не прибегаю к снотворному. — Вытащив бумажник, он положил на стойку несколько банкнот.

— Подождите еще немного, всего несколько минут, — попросил его Джиованни. — Сейчас я все здесь запру и провожу вас домой, открою вам дверь.

— Ах, — вздохнул Госден, — будет очень любезно с твоей стороны, Джиованни. В такой тяжелый момент в моей жизни. Открыть мне дверь. Ведь я ужасно одинок. В конце концов, я уверен, что все образуется, и все со мной будет в порядке.

Уизерби слез со стула, сказал Джиованни:

— Внесите, пожалуйста, в мой счет. — Теперь и он мог идти. — Спокойной ночи, Джиованни, спокойной ночи, мистер Госден. — Он хотел сказать ему что-то еще, чтобы утешить, вселить в него надежду, но понимал: что бы он сейчас ему ни сказал, слова нисколько не облегчат его страданий.

— Спокойной ночи, — отозвался Госден теперь уже зычным, с придыханием голосом. — Мне было приятно возобновить знакомство с вами, пусть и на столь короткое время. И прошу вас, передайте привет вашей супруге!

Уизерби вышел на улицу. В баре Джиованни запирал в шкафу свои бутылки, а Госден все еще медленно допивал свой стакан, уверенно сидя, словно на насесте, на высоком стуле.

На улице было темно, и Уизерби торопливо, большими шагами шел к своему дому, удерживая себя, чтобы не побежать. Он стремительно взлетел по лестнице, так как подниматься на лифте — очень долго. Открыв металлическую дверь квартиры, увидел, что в спальне горит свет.

— Это ты, дорогой? — услыхал он сонный голос жены.

— Сейчас приду, — крикнул Уизерби. — Только запру дверь.

Он задвинул еще один засов, которым они никогда не пользовались, и только после этого со спокойной душой, не спеша, пошел, как обычно, в любую ночь, по ковру через темную гостиную.

Дороти лежала в кровати, рядом с ней на ночном столике горела лампа. На полу у кровати валялся журнал, который она, по-видимому, читала, ожидая его прихода. Она сонно улыбнулась ему.

— Какая у тебя, однако, ленивая жена, — сказала она, когда он начал раздеваться.

— Я думал, что ты пошла в кино, — сказал он.

— Да, я ходила. Но там я все время клевала носом. Поэтому вернулась, — объяснила она.

— Ты чего-нибудь хочешь? Может, принести тебе молока? Крекеры?

— Ничего не хочу, только спать, — сказала она. Повернувшись на спину, она подтянула к подбородку одеяло с простыней, ее распущенные волосы лежали на подушке. Он, надев пижаму, выключил свет, лег с ней рядом, положив голову ей на плечо.

— Виски, — сонно произнесла она. — И почему только у людей столько предрассудков в отношении этого напитка? Какой восхитительный аромат. Ты хорошо поработал, дорогой?

— Неплохо, — ответил он, чувствуя прикосновение ее прохладных волос к лицу.

— Угу, — сказала она, засыпая.

Он лежал с открытыми глазами, нежно обняв ее, чутко прислушиваясь к приглушенным звукам, доносившимся до него снизу, с улицы. «Боже, храни нас от всевозможных несчастий, — подумал он, — и научи понимать истинную природу всех городских звуков вокруг нас».

ГОД НА ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА

— La barbe! — сказала Луиза. — Как можно выносить такую вонь? — Она сидела на полу, сложив ноги и опершись спиной на книжную полку, от ее голых ступней, высовывавшихся из джинсов, дурно пахло потом. На нос она нацепила очки в тяжелой оправе из черепашьего панциря, которые всегда надевала при чтении, и, перелистывая страницы книги, лежащей на коленях, жевала миниатюрные пирожные эклер из маленькой коробки, стоявшей рядом с ней. Луиза вот уже год изучала французскую литературу в Сорбонне, но в данный момент читала «Гекльберри Финна» во французском переводе. Французская литература, признавалась она, производила на нее угнетающее впечатление, и она всегда скучала по пряному запаху вольной Миссисипи. Она приехала из Сент-Луиса, а на вечеринках от нее часто слышали, что Миссисипи — это Богиня-Вода всей ее жизни. Роберта не вполне понимала, что она имела в виду, но в глубине души такое заявление производило на нее глубокое впечатление своей мистикой, свойственной сердцевине Американского континента, как и ее отчаянная смелость, объясняемая самообразованием. У нее, Роберты, насколько ей известно, никогда в жизни не было Матери-Воды.

Роберта сидела у мольберта посередине большой темной комнаты, в которой царил полный беспорядок. Они жили в ней вдвоем вот уже восемь месяцев с того времени, как приехали учиться в Париж. Роберта работала над длинным полотном для парижских витрин, стараясь преодолеть влияния Шагала, Пикассо и Жоана Миро1, и все эти влияния овладевали ею, сбивая с толка, в различные периоды одного только месяца. Ей было всего девятнадцать лет, и она страшно волновалась из-за своей восприимчивости других стилей живописи и других художников, и поэтому всегда старалась смотреть другие картины как можно реже.

Луиза поднялась с пола медленно, изящно и грациозно, как лебедь, слизывая остатки эклера с пальцев, приводя в волнообразное движение свои блестящие черные волосы. Подойдя к окну, она настежь распахнула его и сделала несколько нарочито шумных глубоких вдохов, втягивая в легкие сырой полуденный парижский зимний воздух.

— Я опасаюсь за твое здоровье, — сказала она. — Могу держать пари, если кому-то в голову придет провести исследование, то они непременно придут к выводу, что в истории половина художников умерли от силикоза1.

— Это шахтерская болезнь, — отозвалась Роберта, продолжая спокойно работать над своим полотном. — Эта болезнь от скопления в легких пыли. А какая пыль в масляных красках?

— Ладно, — сказала Луиза, не желая уступать подруге. Она посмотрела из окна третьего этажа вниз, на улицу. — Его можно было бы назвать и красивым, — сказала она, — вот только бы ему постричься.

— У него прекрасные волосы, о чем ты говоришь? — возразила Роберта, с трудом подавляя в себе импульсивное желание подбежать к окну. — В любом случае, сейчас все ребята носят такие прически.

— Все ребята, — мрачно повторила за ней Луиза. Она была на год старше Роберты и у нее уже были две любовные связи с французами, которые, по ее собственным словам, завершились для нее полной катастрофой, и теперь она пребывала в дурном настроении, переживая болезненный рефлексивный период.

— У тебя с ним свидание? — спросила она.

— Да, в четыре, — ответила Роберта. — Он повезет меня на правый берег Сены. — Она рассеянно тыкала кистью по полотну. Мысль о том, что Ги рядом, мешала ей сосредоточиться на своей работе.

Луиза посмотрела на часы.

— Сейчас только три тридцать, — сообщила она. — Надо же, какая любовь!

Роберте не нравились ироничные нотки в голосе Луизы, но она не знала, как ей с этим бороться. Ей так хотелось, чтобы Луиза сохранила свою заумь для самой себя. Мысль о Ги заставила Роберту трепетать, ее словно било электрическим током, и она начала мыть кисти, понимая, что в таком возбужденном состоянии работать нельзя.

— Ну и что он там делает? — спросила она, стараясь казаться как можно равнодушнее.

— Он вожделенно изучает витрину мясной лавки, — сказала Луиза. — У них сегодня там деликатес. Вырезка. Семьсот пятьдесят франков — кило.

Роберта почувствовала легкий укол разочарования. Уж если он оказался рядом, то было бы куда приятнее, если бы он вожделенно взирал на нее, а не на витрину.

— Какая все же невыносимая эта мадам Рюффа, просто ужас! — сказала она. — Не позволять никому приходить к нам!

Мадам Рюффа была их домовладелицей. Она жила с ними в одной квартире, кухня и ванная комната были общими. Маленькая толстая женщина, которая с трудом влезала в свои платья с потрескивающими от ее полноты поясами, втискивала свои груди в узкие лифчики, чтобы они у нее не висели, а торчали, и при этом обладала очень неприятной привычкой врываться к ним в комнату без стука. Она оглядывала их своими бегающими, недоверчивыми глазками, словно подозревая, что жилички намерены испортить ее покрытую пятнами камчатную ткань1 на стенных панелях или контрабандой привести к себе на ночь недостойных молодых людей.

— Ах, Луиза, — сказала Роберта, — почему ты всегда хочешь казаться такой... такой разочарованной?

— Потому что я на самом деле разочарована, — ответила Луиза. — То же очень скоро будешь испытывать и ты, если будешь продолжать вести себя в том же духе.

— Ни в каком духе я себя не веду, — возразила ей Роберта.

— Ха!

— Что значит твое «ха»?!

Луиза не удостоила ее ответом. Она еще дальше высунулась из окна и на ее лице появилось критическое, разочарованное выражение.

— Так сколько ему лет, говоришь?

— Двадцать один.

— Он набрасывался на тебя? — спросила Луиза.

— Конечно нет.

— В таком случае, ему не двадцать один. — Луиза, оторвавшись от окна, пошла через комнату к своему прежнему месту. Опустилась на пол перед коробкой с оставшимся единственным микроскопическим пирожным и, прислонившись к книжному шкафу, снова взяла в руки французский перевод «Гекльберри Финна».

— Послушай, Луиза, — сказала Роберта, надеясь, что голос ее звучит довольно сурово и вполне убедительно. — Я не намерена вмешиваться в твою частную жизнь и буду тебе весьма признательна, если и ты последуешь моему примеру...

— Просто я хочу, чтобы ты помнила о моем личном опыте и не обожглась, — ответила Луиза с набитым пирожным ртом. — Моем горьком опыте. К тому же я обещала твоей матери присматривать за тобой.

— Забудь о моей матери, прошу тебя. Одна из причин, объясняющих мой приезд во Францию, — это как раз желание быть подальше от нее.

— Думаю, на свою голову, — оценила ее шаг Луиза, щелчком переворачивая страницу. — Всегда нужно полагаться на подругу. Она не подведет.

В комнате воцарилась продолжительная тишина. Роберта занималась делами — проверяла свои акварельки в портфеле, которые собиралась захватить с собой, расчесывала волосы, повязывала шарфик помоднее, красила помадой губы, с тревогой поглядывая на себя в зеркало, — ее, как всегда, беспокоило множество вещей. Ей казалось, что она выглядит слишком юной, слишком голубоглазой, слишком невинной, слишком по-американски, слишком робкой, слишком безнадежно неподготовленной.

Остановившись у двери, она сказала Луизе, нарочито углубившейся в книгу:

— Я не вернусь домой к обеду.

— Мое последнее тебе предупреждение, — сказала беспощадная Луиза. — Будь настороже!

Роберта что было сил захлопнула за собой дверь и пошла по длинному темному холлу с портфелем в руках. Мадам Рюффа сидела в салоне на маленьком, с позолотой стульчике спиной к окну, и ее горящие любопытством глаза впились через открытую дверь салона в пространство холла; так она, сидя в одиночестве, строго контролировала все уходы и все приходы. Они с Робертой холодно кивнули друг дружке.

— Старая невыносимая сука, — процедила сквозь зубы Роберта, мучаясь с тремя замками на входной двери, с помощью которых мадам Рюффа оградила себя от окружающего мира.

Спускаясь по темной лестнице с ее привычными, как в пещере, сырыми запахами подземных рек и давно остывшими обедами, Роберта почувствовала, как ее охватывает меланхолия, как она ее угнетает.

Когда отец там, в Чикаго, сказал ей, что сможет наскрести деньжат, чтобы послать ее на год в Париж заниматься живописью, то добавил: «Ну, даже если у тебя ничего не получится, по крайней мере, у тебя будет год, чтобы выучить язык».

Роберта тогда была уверена, что сразу погрузится в новую, незнакомую ей жизнь, жизнь свободную, независимую и надежную, которая сулит ей процветание с легким волнующим налетом авантюры. Но что она получила на самом деле? Все эти треволнения по поводу чужого влияния на ее живопись, мрачная бдительная слежка за ней со стороны мадам Рюффа, постоянные, нудные, беспросветные предостережения Луизы. Роберта теперь чувствовала себя гораздо более связанной, неуверенной в себе, подчиненной чужой воле, чем прежде.

Ей даже солгали по поводу языка. «Ах, — говорили все, — в твоем возрасте всего через три месяца ты будешь говорить, как заправский местный житель». Прошло уже не три, а целых восемь месяцев, она старательно штудировала французскую грамматику, понимала почти все, о чем говорили люди вокруг нее, но стоило самой произнести пять слов по-французски, как собеседники начинали отвечать ей по-английски. Даже Ги, который убеждал, что ее любит, сам говорил на английском так, как Морис Шевалье1 в своих первых картинах, всегда настаивал на том, чтобы они вели свои, даже самые интимные, самые французские по характеру беседы только по-английски.

Иногда, вот, как, например, сегодня, казалось, что ей никогда не выпорхнуть из клетки детства, как бы она ни старалась, что ощущение свободы, отчаянного риска, конечные воздаяния и кары молодости ей недоступны. Остановившись на секунду, чтобы нажать кнопку и заставить с жужжанием открыться дверь на улицу, она представила себя одной из худых, целомудренных старых дев, навечно закованных в хрупкие цепи детской невинности, рядом с которыми никто не отваживался говорить о громких скандалах, страстях, смерти.

Чувствуя громадное неудовлетворение собой, она поправила шарф, намотанный на голову ради простого кокетства, и вышла на улицу, где ее уже ждал перед витриной мясной лавки Ги, протирая тряпкой руль своей «Веспы». Его продолговатое смуглое, напряженное лицо средиземноморского жителя, казалось, написанное самим Модильяни, хотя она об этом обмолвилась только раз перед Луизой, озарилось приветливой улыбкой. Но на сей раз не произвело на Роберту обычного впечатления.

— Луиза была права, — зло сказала она, не щадя его самолюбия, — тебе нужно постричься.

Улыбка тотчас исчезла с его лица. Вместо нее появилось скучноватое, утомленное выражение, одна бровь поползла вверх. Это часто раздражало Роберту, но сегодня — отметила она про себя холодно — это ее совсем не тронуло.

— Твоя Луиза, — сказал Ги, морща нос, — старый мешок, набитый гнилыми помидорами.

— Прежде всего, — сурово возразила Роберта, — Луиза — моя подруга, и ты не имеешь права так отзываться о моих друзьях. Во-вторых, если ты возомнил, что говоришь на американском сленге, то должна тебя разочаровать. Ну, «старый мешок», — еще куда ни шло, если именно это ты имеешь в виду. Но никто в Америке со времен Перл-Харбора не называет девушку «помидором». Если тебе угодно оскорблять моих друзей, почему ты не прибегаешь к французскому?

— Еcoute, mon chou1, — сказал Ги усталым, поистине безжизненным тоном, который делал его куда более старше и возбуждал ее больше, чем эти малоподвижные, жужжащие над ухом, как шмели, ребята там, в Чикаго. — Я хочу общаться с тобой и заниматься с тобой любовью. Может, даже женюсь на тебе. Но я не желаю служить заменой Берлитской школы живописи. Если будешь со мной вежлива до конца дня, то я разрешу тебе забраться на заднее сиденье и отвезу тебя туда, куда ты захочешь. Ну а если ты собираешься действовать мне на нервы, то лучше отправляйся пешком, куда угодно.

Такой резкий и грубый отпор отстаивающего свою независимость молодого человека, терпеливо ожидавшего ее на морозе целых полчаса, вдруг подействовал на Роберту, и она сразу сникла. Это лишний раз подтверждало то, что она не раз слышала от других (большей частью от самого Ги), что французы умеют держать женщину в руках решительным образом, что делало в ее глазах всех тех парней, которые гонялись за ней на берегу озера Мичиган, слабаками и размазнями.

— Ну что особенного я сказала? — продолжала она уже более мирно. — Может, тебе на самом деле будет лучше с короткой стрижкой?

— Ладно, садись, — сказал Ги. Он сел на седло мотоцикла, она устроилась за его спиной. Ей было довольно неудобно прижимать к себе одной рукой громадный портфель, а другой держаться за талию Ги. На ней были голубые джинсы, которые она надевала специально для прогулок на мотоцикле, так как ей не нравилось, что ветер раздувал ее юбки, как парашют, когда она пару раз отважилась их надеть, к тому же это неприлично — в самый неожиданный момент их задирало порывами шаловливого ветра, и прохожие мужчины, останавливаясь, бросали на нее многозначительные, неприятные для нее, похотливые взгляды.

Она дала Ги адрес художественной галереи на улице Фобур Сент-Оноре, где была назначена встреча с ее директором, устроенная специально для нее месье Раймондом, художником из того же ателье, в котором она занималась.

— Галерея Патрини ничего особенного из себя не представляет, — рассказывал ей месье Раймонд, — но этот парень постоянно ищет молодых художников, которые не требуют больших денег за свои работы, чтобы на них, естественно, нажиться. К тому же ему нравятся американцы. Может, тебе повезет, и он возьмет и выставит у себя пару твоих акварелей, может, для начала временно, в заднем зале, только чтобы увидеть, к чему это может привести. Ничего с ним загодя не подписывай, ничего, и тогда убережешься от всяких неожиданных неприятностей.

Ги завел свою «Веспу», и они с места рванули вперед, с грохотом петляя между несущимися автомобилями, автобусами, велосипедистами и зазевавшимися прохожими с обреченным выражением на лицах. Ги гнал и гнал свою машину, демонстрируя железные нервы и добродушное безразличие к смертельному риску. Это — одна из черт его характера, — объяснял он свое безрассудство Роберте, и к тому же символ его мятежа против того, что он называл робкой буржуазной любовью своих родителей к полной безопасности. Он жил с родителями, потому что еще учился, хотел стать инженером и после получения диплома строить плотины в Египте, железнодорожные мосты в Андах, дороги по всей Индии. Так что он не был одним из тех лохматых, ни к чему не способных лоботрясов, которые только и слонялись и день и ночь вокруг Сен-Жермен-де-Пре1, «доили» иностранцев, проклинали свое будущее и занимались любым видом секса, как персонажи в картинах «новой волны». Он верил в любовь, верность, в достижение поставленной перед собой цели, но здесь ему не хватало серьезности, и к тому же ужасно нравилось порисоваться; он не только на нее не «набрасывался», как неудачно выразилась Луиза, но за три месяца знакомства только раз поцеловал ее, да и то в щечку, когда однажды прощался с ней, желая «спокойной ночи».

— Я против всякого дешевого юношеского промискуитета2, — высокопарно объяснял он свое поведение Роберте. — Когда мы сексуально созреем друг для друга, мы это сразу почувствуем.

Роберта обожала его за это, чувствуя, что ей в одном пакете преподносятся все наилучшие ценности Чикаго и Парижа. Он ее так и не представил родителям.

— Они хорошие, солидные люди — de pauvres mais braves gens, — говорил он Роберте, — но они не представляют никакого интереса ни для кого, кроме своих родственников. Стоит тебе провести с ними лишь один вечер, и они тебе так наскучат, что побежишь на вокзал, на первый поезд, уходящий в Гавр.

Они с ветерком домчались до Кэ д'Орсе, переехав Сену через мост, и Лувр, эта греза Франции, остался на том берегу. Ветер, свирепея от скорости, набранной мотоциклом, яростно развевал шарф ярких цветов на шее Ги и его черные длинные волосы, покрывал пунцовыми пятнами щеки Роберты, сразу замораживая выступающие у нее на глазах слезинки. Она крепко обхватила одной рукой талию Ги, чувствуя его мягкое пальто из овчины, радуясь захватывающему дух стремительному движению по городу в этот серый, промозглый, зимний день.

Подпрыгивая на заднем жестком сиденье грохочущей, чихающей дьявольской машинки, мчащейся по мосту перед Национальной Ассамблеей, стараясь не выпустить из-под мышки портфель со своими рисунками, она сильнее прижималась к этому самому красивому во всей Европе ее мальчику, который все энергичнее крутил ручку газа, гнал, ловко маневрируя в густом потоке уличного движения, все вперед и вперед, мимо обелиска и каменных лошадей на площади Согласия; он понимал, что никак нельзя опаздывать на встречу с человеком, продавшим двадцать тысяч картин за всю свою карьеру дельца от искусства. Вдруг неожиданно все сомнения покинули Роберту.

Теперь она была уверена, что правильно поступила, уехав из Чикаго, что она правильно выбрала для себя новый город — Париж, что на самом деле нужно было дать свой номер телефона Ги три месяца назад, когда он попросил ее об этом на вечеринке, куда пригласила ее Луиза, в доме своего второго любовника-француза. Счастливые предзнаменования, предчувствия удачи витали у нее над головой, словно невидимые звонко поющие птицы. Когда она соскочила с заднего сиденья перед маленькой художественной галереей на улице Фобур Сент-Оноре, она глядела на массивную дверь с уверенностью спортсмена, готового одержать только безукоризненную победу.

— Еcoute, Roberta, — сказал Ги, похлопывая ее по щечке, — je t'assure gue tout va trиs bien se passer. Pour une femme, tu es un grand peintre, et bientфt tout le monde le saura1.

Она улыбнулась ему своими подернутыми пленкой тумана глазами, мысленно благодаря его за веру в нее, в ее талант, за деликатность, которую он на сей раз выразил на французском.

— Сейчас, — продолжал он уже на английском Мориса Шевалье, — мне придется выполнить несколько утомительных поручений моей мамы. Жду тебя через полчаса в Квенни.

Помахав ей рукой на прощание, он элегантно прыгнул на седло своей «Веспы» и, дав газ, снова помчался вперед, лавируя на забитой машинами улице по направлению к английскому посольству. Его шарф ярких цветов и черные волосы развевались за спиной. Роберта, посмотрев ему вслед, подошла к заветной двери. В витрине галереи стояла большая картина, выполненная в ярко-красных тонах, на которой была изображена либо стиральная машина, либо перипетии кошмара. Роберта, бегло оглядев это яркое творение, подумала про себя: «Ну, все в порядке, я делаю гораздо лучше». С этой успокаивающей мыслью она толкнула дверь и вошла.

Галерея оказалась маленьким помещением, пол которого был покрыт мохнатым ковром. На стенах толпились, не уступая друг дружке ни дюйма поверхности, картины, — это были, главным образом, произведения того автора, который нарисовал ярко-красную стиральную машину, и его учеников. По галерее разгуливал лишь один посетитель, мужчина лет пятидесяти, в пальто с соболиным воротником и красивой черной шляпе «гомбург». Владелец галереи, выделявшийся красной гвоздичкой в бутоньерке и усталым и в то же время хищническим выражением на худом, давно избавившемся от всяких иллюзий лице, почтительно стоял в сторонке, держась подальше от этого господина в отделанном дорогим мехом пальто. Его белые холеные руки, опущенные по швам, дергались, словно им не терпелось скорее извлечь незаполненный чек из кармана или схватить потенциального клиента за шиворот, стоило тому подать мгновенный знак.

Роберта сама представилась месье Патрини, владельцу галереи, на своем самом изысканном французском, а Патрини, как она и ожидала, ответил на отличном английском.

— Да, мне говорил Раймонд, что вы не без таланта. Вот, можете использовать этот мольберт.

Он отошел футов на десять от мольберта, слегка нахмурившись, словно вспоминая какое-то блюдо, поданное ему за ланчем, которое ему не понравилось. Роберта, открыв портфель, поставила на мольберт свою первую акварель. Картина ни чуточки не изменила прежнего выражения на лице Патрини. Казалось, он с отвращением вспоминал очень жирный соус или рыбу «второй свежести», которую слишком долго доставляли к столу от берегов Нормандии.

Он не позволял себе никаких комментариев. Время от времени его губы чуть заметно подергивались, словно от болей в желудке, а Роберта, приняв это за признак одобрения, смело выставила вторую акварель. В самый разгар демонстрации Роберта вдруг заметила, что господин в «гомбурге» перестал расхаживать по галерее, разглядывая картины на стенах, и теперь стоял чуть в сторонке, сбоку, бросая косые взгляды на ее акварели, которые она доставала из портфеля одну за другой, как из рога изобилия. Она была так увлечена наблюдениями за реакцией Патрини, что ей просто было некогда бросить взгляд на «шляпу».

Губы Патрини дернулись еще раз, словно от газов в желудке.

— Ну вот, — ровным тоном сказала Роберта, чувствуя в душе, как он ей противен, — все. Больше нет. — Она уже приготовилась к равнодушному отказу.

— Гм... гм... гм... — мычал Патрини. У него был густой бас, и Роберта вдруг испугалась. Ей казалось, что он сказал ей что-то по-французски, а она не поняла. Но он сказал по-английски. — Какая-то надежда есть, — сказал он, — но затаилась слишком глубоко.

— Прости меня, cher ami1, — вмешался человек в шляпе «гомбург». — Здесь есть нечто гораздо большее. — Он говорил по-английски так, словно всю жизнь прожил в Оксфорде, хотя, несомненно, был французом. — Дорогая леди, — продолжал он, снимая шляпу и открывая ее взору густую копну седых волос со стальным отливом. — Не могу ли я вас еще побеспокоить? Будьте настолько любезны, разложите все ваши картины вокруг, чтобы я мог внимательно все их разглядеть и сравнить без всякой спешки.

Роберта бросила немой взгляд на Патрини. Ей показалось, что от удивления она широко раскрыла рот и, спохватившись, закрыла его, громко клацнув зубами.

— Дорогой барон, — начал Патрини, и все лицо его неожиданно преобразилось, на нем появилась сияющая, полусоциальная, полукоммерческая улыбка, — позвольте вам представить нашего американского друга с большим талантом, мисс Роберту Джеймс. Мисс Джеймс, это барон де Уммгугзедье.

Так прозвучало его имя в ушах Роберты, и она теперь кляла себя за то, что до сих пор не изучила произношения французских имен, но она, не смущаясь, мило улыбалась этому седовласому французу.

— Конечно, конечно, — сказала она, голос ее от волнения зазвучал на октаву выше. — Буду просто счастлива. — Она начала снимать картины с мольберта и расставлять на полу, прижимая их верхнюю рамку к стене. Патрини, вспомнив, что он профессионал, со всех ног кинулся ей помогать, и через пару минут все ее работы за последние восемь месяцев красовались по галерее, словно она открыла свою персональную выставку.

Все долго молчали. Барон переходил от одной картины к другой, у одних он задерживался на несколько минут, у других не задерживался, быстро проходил мимо, заложив руки за спину, с легкой, вежливой улыбкой на губах. Время от времени он кивал головой. Роберта следовала за ним чуть в сторонке и жадно пожирала глазами знакомую акварель, к которой приближался барон, стараясь теперь взглянуть на нее по-новому, проницательными глазами этого, по-видимому, весьма сведущего в искусстве человека. Патрини, повернувшись к ним спиной, с равнодушным видом стоял у окна, наблюдая за уличным движением. На оживленной улице и в этой большой комнате, устланной мохнатым ковром, оно постоянно отзывалось глухим эхом — хаш-хаш!

Первым заговорил барон. Он стоял у картины, которую Роберта написала в зоопарке в Венсенне, на ней была изображена группа детишек в бледно-голубых лыжных костюмчиках у клетки с леопардом.

— Никак не могу решить, — сказал он, — нужна она мне или не нужна. — Он медленно пошел вдоль стены. — А может, вот эта?

— У меня есть дельное предложение, — пришел ему на помощь Патрини, живо повернувшись к ним от окна, заслышав голос клиента. — Вы можете взять обе домой и там, изучив их как следует, принять окончательное решение.

— Ну, если эта леди не будет возражать, — сказал барон, направив на Роберту свой заинтересованный, даже умоляющий взгляд.

— Нет, — ответила Роберта, всеми силами стараясь не заорать от счастья. — Я не буду возражать.

— Отлично, — сухо сказал барон. — Я пришлю за ними завтра. — Он, слегка поклонившись, надел свою красивую шляпу на седовласую голову и направился к двери. Патрини в ту же секунду, словно маг, распахнул ее перед ним.

Проводив клиента, Патрини быстро вернулся в галерею, поднял обе картины, которые выбрал барон.

— Превосходно, — сказал он. — Это лишь подтверждает мое старинное убеждение, что в некоторых случаях художнику весьма полезно с самого начала встретиться с клиентом.

Держа обе акварели под мышкой, он критически разглядывал другую многоцветную акварель, на которой была изображена обнаженная женщина. Ее Роберта написала в студии Раймонда.

— С вашего позволения, я подержу ее у себя недельку-другую, — сказал Патрини. — Если я дам кое-кому знать, что барон проявил интерес к вашим работам, этого достаточно, чтобы заинтересовать вашим творчеством еще одного, может, двух любителей. — Он взял и акварель с обнаженной. — Вам, конечно, известно, что у барона знаменитая коллекция картин.

— Конечно, — солгала Роберта.

— У него несколько превосходных картин Сутина1, довольно много Матисса и первоклассный Брак2. Ну, само собой, как и у всех видных коллекционеров, у него есть несколько произведений Пикассо. Когда он мне что-нибудь сообщит, я вам напишу.

В задней комнате зазвонил телефон, и Патрини побежал отвечать на звонок, держа под мышкой три ее акварели. Вскоре началась оживленная беседа шепотом, по тону которой можно было легко догадаться, что при общении эти два агента-интеллектуала применяют свой разработанный ими код.

Роберта, постояв в нерешительности посередине зала, собрала все свои картины и снова сунула их в портфель. Патрини все еще что-то нашептывал по телефону. Роберта подошла к двери, постояла там. Он выглянул.

— Au revoir, mademoiselle3, — помахал он ей рукой и вновь продолжил свое невнятное закодированное мы-чание.

Конечно, Роберта рассчитывала на более радушную, более прочувствованную прощальную церемонию. Еще бы, впервые кто-то выразил, пусть смутное, желание купить ее картину! Но Патрини был настолько увлечен беседой, что вряд ли оторвется от трубки до полуночи, и, по-видимому, давно позабыл о ее присутствии. Она, неопределенно улыбнувшись, вышла на улицу.

В холодных сгущавшихся сумерках она легко и весело шагала по улице, мимо ярко освещенных, сияющих, словно драгоценные камни, витрин дорогих магазинов, в своем развевающемся скромном шарфике, коротком пальтишке мышиного цвета, в голубых джинсах и ботинках, с видавшим виды зеленым портфелем под мышкой, стараясь держаться по-пуритански подальше от красивых, разодетых в дорогие меха женщин, в роскошных туфлях на высоких каблуках, от которых пахло ароматными духами, — это они составляли естественную природную фауну на улице Фобур Сент-Оноре. Осторожно пробираясь между ними, она мечтала о том, как перед ней распахнутся двери музея, и она, словно в каком-то желанном, дорогом для нее трансе, уже видела перед собой большие афиши с написанным на них аршинными буквами ее именем — Джеймс, повсюду на стекле киосков и в дверях художественных галерей. Те невидимые птицы, которые так дивно пели сегодня утром у нее над головой, теперь старались вовсю, куда громче, они пели только для нее одной, и она, такая счастливая, шла к кафе Квенни, где ее ожидал Ги.

Повинуясь чувству суеверия, она решила ничего не рассказывать Ги о том, что произошло в галерее Патрини. Когда все удачно завершится, когда ее картины купят (неважно, какие именно), когда за них будут отданы деньги, а сами картины повешены на стене в доме барона, вот тогда можно будет обо всем подробно рассказать и отметить такое важное событие на славу. К тому же было стыдно признаваться Ги, что она не расслышала фамилию барона, что робела, стеснялась спросить ее у него еще раз, когда он уходил из галереи. Завтра она непременно зайдет к Патрини, и так, словно невзначай, попросит его произнести фамилию барона по буквам.

Ги сидел в углу большого кафе, в котором было полно народа, нетерпеливо поглядывая на часы. Перед ним на столике стоял выпитый наполовину стакан с ананасовым соком. К разочарованию Роберты, которое она держала в строгой тайне, он не пил вина и вообще не употреблял никакого алкоголя.

— Алкоголь — проклятье Франции, — все время повторял он. — Только из-за вина мы превратились во второсортную державу.

Сама Роберта пила очень редко, но ей всегда было немного не по себе от того, что общается с французом, здесь, в Париже, который заказывает всякий раз, когда к их столику подходит ведающий спиртными напитками официант с картой вин в руках, бутылку кока-колы или лимонад. Это было ей так же неприятно, как и там, в Чикаго.

Ги неловко встал, когда она подошла к его столику.

— Что случилось? — спросил он. — По-моему, я жду тебя здесь уже целую вечность. За это время я выпил три стакана ананасового сока.

— Прости, — извинилась перед ним Роберта, поставив на пол свой портфель и усаживаясь на стул рядом с Ги. — Этот человек был занят.

Ги сел, слегка смягчившись.

— Ну, как все прошло?

— Не так плохо, — ответила она, отчаянно борясь с соблазном выпалить правду. — Он сказал, что ему интересно взглянуть на мои картины маслом.

— Все они дураки, — резюмировал Ги, сжимая ее руку. — Вот увидишь, ему придется кусать свои локти, когда ты станешь знаменитостью. Да будет поздно. — Он махнул официанту рукой. — Два ананасовых сока, пожалуйста. — Он в упор смотрел на Роберту. — Скажи мне, — начал он, — каковы твои намерения?

— Мои намерения? — удивилась Роберта. — По отношению к чему? Ты имеешь в виду себя?

— Да нет, — с досадой отмахнулся от нее Ги. — Все это проявится само собой, когда придет время. Ну, я имею в виду в философском смысле — твои намерения в жизни.

— Ну, — неуверенно сказала Роберта. Хотя она часто думала над этим вопросом, особенно сейчас, она не знала, как все это выразить словами. — Ну, я, конечно, хочу стать хорошей художницей, само собой. Мне хочется точно знать, что я делаю, и почему, и что я пытаюсь заставить чувствовать людей, когда они смотрят на мои картины.

— Это хорошо. Очень хорошо, — сказал Ги, словно учитель, довольный подающим надежды учеником. — Ну, что еще?

— Я хочу, чтобы вся моя жизнь была именно такой, — продолжала Роберта. — Мне не хочется, ну, идти вслепую. Вот почему мне не нравятся многие молодые люди моего возраста у меня на родине, — они не знают, чего хотят в жизни и как этого можно добиться. Ну, знаешь, вот они и бредут вслепую, на ощупь.

Ги, казалось, был совершенно сбит с толку.

— Вслепую, на ощупь, — повторил он. — Что это значит?

— По-французски — «tвtonner», — объяснила Роберта, довольная представившейся ей возможностью продемонстрировать перед ним свое лингвистическое превосходство. — Мой отец изучает историю, он специалист по военной истории, ну, все эти битвы, сражения, постоянно только и говорит о войне, о царящей там суматохе, когда все вокруг бегают, безжалостно убивают друг друга, не зная, правильно они поступают или неправильно, выигрывают или проигрывают, вообще ничего не понимают. В общем, вся эта муть...

— Да, — сказал Ги, — я слышал эту фразу.

— Я считаю, — продолжала Роберта, — что муть войны есть ничто по сравнению с мутью молодости. Битва при Геттисберге была кристально чистой по сравнению с жизнью в девятнадцать лет. Я хочу выйти из этой мути, этого тумана молодости, мне хочется быть цельной. Мне не хочется во всем полагаться на случай. Это — одна из причин моего приезда в Париж, все повсюду твердят, какие цельные люди эти французы. Может, и мне, глядя на них, стать такой же?

— Как ты думаешь, я — цельный человек? — спросил ее Ги.

— Очень. Именно эта черта мне больше всего нравится в тебе.

Ги задумчиво кивнул в знак согласия. Его черные большие глаза с густой бахромой черных ресниц засияли.

— Послушай, ты американка, — сказал он, — ты станешь прекрасной женщиной, просто супер... И я еще тебя никогда не видел такой красивой. — Он, наклонившись к ней, поцеловал ее в щеку, еще холодную с улицы.

— Какой приятный денек! — сказала она.

Они пошли в кино, чтобы посмотреть какой-то фильм, который, как слышал Ги, был очень хорошим, после сеанса — в бистро на левом берегу, чтобы пообедать. Роберта хотела съездить домой, чтобы оставить там портфель и переодеться, но он запретил ей это делать.

— Сегодня вечером, — сказал он с таинственным видом, — у меня нет настроения выслушивать отзывы о себе от твоей подруги Луизы.

Когда они подходили к кинотеатру, то повсюду пестрели большие афиши-предупреждения — детям до восемнадцати лет смотреть этот фильм нельзя, и ее смутил ироничный взгляд билетера, когда они проходили мимо него. Как она жалела, что не захватила с собой паспорт, чтобы утереть ему нос, — ей уже за восемнадцать! Роберта без особого интереса смотрела на экран. Фильм был ей непонятен, ей всегда было трудно понимать французский, когда на нем говорят в кино, по радио или телевидению. Обычные продолжительные постельные сцены, когда обнаженная пара молодых людей долго о чем-то болтает, все слишком эротично и слишком откровенно, по ее мнению. Она просидела большую часть сеанса с закрытыми глазами, вспоминая и чуть приукрашивая события сегодняшнего дня; даже позабыла, что рядом с ней сидит Ги, который напоминал ей о себе, то и дело поднося к губам ее руку и нежно целуя ее пальчики, один за другим, причем делал это в необычной манере и в самые драматические моменты действия.

Во время обеда он вел себя с не меньшей странностью. Он подолгу молчал, что было ему совсем несвойственно, смотрел на нее в упор через столик, и от этого его намеренно сверлящего взгляда ей становилось не по себе, и приходилось ерзать на своем стуле. Наконец, когда принесли кофе, Ги, откашлявшись, протянул к ней через стол обе руки. Взяв ее ладони, он, стараясь подражать ораторскому искусству, выспренно сказал:

— Все. Я решил. Время созрело. Мы наконец достигли этого неизбежного момента.

— О чем это ты? — нервно спросила Роберта, видя, что бармен в холле маленького пустого ресторанчика не спускает с них любопытных глаз.

— Просто мне хочется говорить так, как говорят взрослые, — пояснил он. — Сегодня ночью мы станем любовниками.

— Тс-с-с... — Роберта озабоченно поглядела в сторону бармена. Она быстро выдернула свои руки, спрятала их под стол.

— Больше я не могу жить без тебя, — пылко сказал он. — У меня есть ключ от квартиры приятеля. Он уехал в Тур, чтобы навестить свою семью. Его сегодня ночью не будет. Это рядом, за углом.

Роберте не нужно было и притворяться, что такое предложение Ги ее не шокировало. Как и все девственницы, приехавшие в Париж, она в глубине души была убеждена, что ей уже не придется возвращаться домой в том целомудренном состоянии, в котором приехала сюда. От такой идеи можно было приходить в восторг, ожидать неизбежного с нетерпением или отказаться от нее, но все равно, рано или поздно, такое должно случиться. В любое другое время за эти три месяца знакомства с ним она могла бы понять настроение Ги и принять его предложение. Даже сейчас ей понравилось, с какой откровенностью, стараясь не уронить ее девичьего достоинства, он это сделал. Но то же чувство суеверия, которое терзало ее сегодня днем в галерее и помешало рассказать Ги о двух акварелях, теперь снова охватило ее с новой силой. Как только судьба ее двух картин прояснится, она подумает о предложении Ги, сделанном ей столь откровенно. Но не раньше. Сегодня этого не будет еще и по другой причине. Даже если это случится и от судьбы никуда не уйдешь, то она была уверена в одном: никогда не согласится на первую физическую любовь, когда на ней — джинсы.

Она покачала головой, еще больше раздражаясь от того, что вся вспыхнула, — ее щеки и шея горели огнем. Она опустила глаза на тарелку, не могла больше смотреть на Ги — ее заливала пунцовая краска.

— Нет, прошу тебя, только не сегодня.

— Почему же? — спросил он.

— Это... так неожиданно...

— Ничего себе неожиданность, — громко воскликнул он. — Мы с тобой видимся почти каждый день вот уже три месяца подряд. Разве ты к этому не привыкла?

— Я ни к чему не привыкла, и ты это отлично знаешь, — резко возразила она. — Прошу тебя, не будем больше говорить об этом. Я твердо сказала: только не сегодня.

— Но у нас квартира только на сегодняшнюю ночь, — настаивал Ги. — Мой приятель не будет торчать в Туре целый год. — У него было такое кислое, такое мученическое лицо, что впервые Роберта за все время их знакомства вдруг поняла, что он нуждается в утешении. Она, наклонившись к нему, нежно похлопала его по руке.

— Ну, не нужно кукситься, — сказала она. — Может быть, только в другой раз.

— Хочу тебя предупредить, — сказал он, стараясь не терять своего мужского достоинства. — В следующий раз ты будешь приставать ко мне, а не я.

— Хорошо, — быстро ответила она, — буду, — чувствуя одновременно и облегчение и досаду из-за такого быстрого его согласия. — А теперь заплати по счету. Мне завтра утром рано вставать.

Позже, лежа в своей узкой кровати на комковатом матраце под тяжелым стеганым одеялом, она никак не могла уснуть. Слишком возбуждена. «Ну что за день, — думала она. — Я становлюсь художницей. Уже на грани. И я становлюсь женщиной. Тоже на грани». Она хихикнула от выспренности своих фраз и обняла себя под одеялом. Она была очень довольна гладкостью своей кожи. Если бы Луиза не спала, она бы ей во всем призналась. Но Луиза крепко спала в своей постели у противоположной стены в своих бигуди, все ее лицо было жирно смазано кремом от морщин, которые явно не появятся в ближайшие двадцать лет. С сожалением Роберта закрыла глаза. Как ей хотелось, чтобы сегодняшний день никогда не кончался!

Два дня спустя, когда она вошла в свою комнату, включила свет, то увидела на своей кровати письмо, присланное по пневмопочте. Уже смеркалось, и в квартире было холодно и пустынно. Луизы дома не было, и в кои веки на наблюдательном пункте в салоне мадам Рюффа не оказалось. Так что ее никто не видел, когда она прошла по холлу к своей двери. Она вскрыла письмо.

— «Дорогая мисс Джеймс, — прочитала она. — Немедленно свяжитесь со мной. У меня есть для вас важное сообщение». И подпись — Патрини.

Роберта посмотрела на часы. Пять вечера, Патрини еще мог быть в своей галерее. Чувствуя, как у нее заколотилось сердце, как у нее кружится голова, она снова через холл прошла в салон, где стоял телефон. Когда мадам Рюффа куда-нибудь выходила по своим делам, она запирала диск на крошечный замочек, но все же был какой-то, пусть незначительный, шанс, что на этот раз она забыла это сделать. Нет, мадам Рюффа ничего никогда не забывала. Телефон был на замочке. «Негодная старая сука!» — трижды в сердцах повторила Роберта. Она пошла на кухню, нет ли там горничной. На кухне было темно, и Роберта вдруг вспомнила, что у нее сегодня выходной.

— Ах, ну и Франция, — воскликнула она. — Будь ты проклята!

Она вышла из дома и поспешила к кафе на углу, где был платный телефон. Но там, в телефонной будке, как назло, стоял какой-то мужчина с портфелем в руках и с унылым выражением на физиономии что-то записывал на листе бумаги и одновременно что-то говорил в трубку.

Из того, что ей удалось понять, этот тип с портфелем говорил о какой-то сложной сделке относительно установки водопроводных труб. Он и не думал заканчивать. Ну и город, этот Париж, с досадой плюнула Роберта. Здесь все висят на телефонах часами, и днем и ночью. Она, конечно, была неправа.

Она снова посмотрела на часы. Четверть шестого. Патрини закрывает в шесть. Роберта вернулась в бар, заказала себе стакан красного вина, чтобы успокоить взвинченные нервы. Потом придется пожевать жвачку, чтобы отбить запах вина изо рта. У нее на семь намечена встреча с Ги, и ей придется выслушать долгую и нудную нотацию, если он только почувствует, что она выпила. В баре было полно работяг из окрестного квартала, они громко разговаривали, смеялись, пили, сколько хотели, и ни одного из них не волновало, будет ли от него пахнуть спиртным или не будет.

Наконец, этот зануда слесарь вышел из будки, и туда немедленно влетела Роберта. Она опустила в щель жетон. Вдруг, к своему ужасу, она вспомнила ту бесконечную беседу, которую Патрини вел с другим агентом по телефону, и паника стала медленно овладевать ею. Она трижды пыталась дозвониться, но все напрасно, — телефон Патрини был занят. Уже двадцать пять минут шестого. Она выскочила из телефонной будки и, расплатившись за вино, побежала к станции метро. Предстоял долгий путь практически через весь город, но другого выхода у нее не было. Мысль о том, что она ляжет спать, так и не узнав, что есть от Патрини, была ей просто невыносима.

Хотя уже наступил вечер и было по-зимнему холодно, ее прошиб пот, и, когда она добежала до дверей галереи, чуть не задохнулась. Ярко-красная картина, изображающая не то стиральную машину, не то перипетии кошмара, была на месте, в витрине. Роберта, открыв дверь, влетела внутрь. В галерее никого не было, но из кабинета в глубине доносился заговорщический шепот Патрини, разговаривавшего по телефону. У нее сложилось вполне оправданное впечатление, что он говорил по телефону тем же голосом и стоя в том же положении с того времени, когда они расстались с ним два дня назад. Немного отдышавшись, она прошла в глубь галереи к его кабинету и показалась на пороге. Он, наконец, поднял на нее глаза, дружески махнул рукой и продолжал свой невыносимый треп. Она вернулась в галерею и сделала вид, что изучает большое полотно, на котором было изображено что-то вроде яиц малиновки, только увеличенных раз в тридцать. Она была рада, что пока может передохнуть. За это время она могла собраться, взять себя в руки. Патрини — это наверняка такой человек, который не переносит никаких проявлений возбужденного состояния, энтузиазма или благодарности. Она была в этом уверена. К тому времени, когда он, наконец, вышел из своего кабинета, на ее лице застыла отчаянная скука, что ее слегка забавляло.

Он подошел к ней, как большое ласковое животное, ступающее лохматыми мягкими лапами по ворсистому ковру.

— Добрый вечер, дорогая мадмуазель, — начал он. — Сегодня утром я звонил по оставленному вами телефону, но какая-то пожилая леди ответила мне, что там такая не проживает.

— Это моя домовладелица, — объяснила Роберта. Старый трюк мадам Рюффа, она всегда стремилась не поощрять то, что она называла невыносимым рэкетом телефонных звонков.

— Я хотел вам сказать, — продолжал Патрини, — что месье барон заходил ко мне сегодня утром и сказал, что никак не может выбрать, какая из двух ваших акварелей ему приглянулась больше, поэтому он решил взять их обе.

Роберта невольно закрыла глаза в этот неожиданный, славный, счастливый для нее момент. Чтобы не выдать себя, она косилась на картину, висевшую на противоположной стене.

— На самом деле? — спросила она. — Обе сразу? Оказывается, он куда более интеллигентный человек, чем я предполагала.

У Патрини вырвался из горла какой-то странный звук, словно он подавился, но Роберта была готова простить его за это, в эту счастливую минуту она простила бы любого и каждого за все что угодно.

— Он также попросил меня передать вам, что приглашает вас к себе сегодня вечером на обед, — продолжал Патрини. — До семи я должен сообщить о вашем решении его секретарю. Так вы свободны сегодня вечером?

Роберта колебалась, не зная, что ответить. У нее в семь свидание с Ги, и она знала, была уверена, что он явится раньше, в шесть сорок пять, и будет ждать ее на холодной улице — окоченевшая жертва ненависти мадам Рюффа к мужскому полу. Потом подумала о том, что художники должны быть людьми жестокими, иначе они не художники. Вспомните Гогена, Бодлера.

— Да, — небрежно ответила она Патрини. — Думаю, что меня это устроит.

— Он живет на площади Буа де Булонь, девятнадцать «бис», — объяснил ей Патрини. — Это сразу же за авеню Фош. В восемь часов. Ни в коем случае не обсуждайте с ним цену картин. Этим займусь я сам. Вам понятно?

— Я этого никогда не делаю, — высокомерно ответила ему Роберта. Она была счастлива, что сумела сдержаться.

— Я позвоню секретарю барона, — пообещал Патрини. — А завтра я выставлю в витрине вашу «Обнаженную».

— Я как-нибудь заскочу, — пообещала Роберта. Она понимала, что ей нужно как можно скорее убираться из галереи, чувствовала — стоит ей произнести еще одну фразу, состоящую пусть всего из четырех слов, как она издаст примитивный вопль триумфатора. Роберта вышла из галереи. Она совсем не ожидала, что Патрини сам любезно откроет перед ней дверь.

— Юная леди, — сказал он ей на прощание, — я понимаю, это не мое дело, но прошу вас, будьте поосторожнее.

Роберта кивнула, его слова показались ей забавными, но она прощала его и за это предостережение. Только после того, как она прошагала ярдов двести в западном направлении, вдруг вспомнила, что до сих пор не знает, как зовут барона. Когда она проходила мимо почетной гвардии с отомкнутыми штыками у Дворца Миньон, то осознала, что есть еще пара проблем, которые ей необходимо решить. Она была одета так, как одевалась ежедневно, — для чего наряжаться, если приходилось целый день пешком бродить по улицам в эти сырые, ветреные и холодные дни в Париже? На ней был плащ, на шее повязан шарфик, шотландская шерстяная юбка со свитером, а на ногах зеленые шерстяные чулки и лыжные ботинки. Вряд ли в таком костюме следует являться на обед на авеню Фош. Но если она пойдет домой, чтобы переодеться, то обязательно застанет там Ги, который будет торчать в ожидании ее на улице, и у нее, конечно, не хватит мужества признаться ему в том, что она «кинула» его сегодня ради обеда с пятидесятилетним представителем французской знати. Он, конечно, расстроится, будет с ней груб и беспощаден и в конце концов заставит ее расплакаться. Это у него выходило очень просто, стоило ему только захотеть. Но в этот вечер она не могла появиться в гостях вся зареванная, с красными, воспаленными глазами. «Ну, — подумала она, — ничего не поделаешь, придется барону принять ее такой, какая она есть, в этом затрапезном наряде, в зеленых шерстяных чулках. Если он намерен общаться с художниками, пусть привыкает к их некоторой эксцентричности».

Но ей было не по себе от одной мысли, что она заставляет Ги ждать ее на холодной улице. У него слабые легкие, и каждую зиму он по несколько раз страдал от приступов бронхита. Она вошла в кафе на авеню Миньон и попыталась дозвониться до своей квартиры. Никто не отвечал. «Луиза, черт бы тебя побрал, — с досадой подумала Роберта, — вечно ее нет на месте, когда она нужна позарез! Могу поспорить, что она ушла на любовное свидание к третьему французу».

Роберта повесила трубку телефона, взяв неиспользованный жетон. Она впилась глазами в телефонный аппарат, словно что-то соображая. Ей, конечно, следовало позвонить Ги домой, и в конце концов ему передадут, что она звонила, но она уже два или даже три раза звонила ему, к телефону подходила мать, с ужасно высоким раздраженным голосом, и она всегда притворялась, что не понимает французского Роберты. Сегодня ей вовсе не хотелось снова так разговаривать с его матерью. Задумчиво подбросив жетон пару раз на руке, она вышла из будки. Ладно, придется отложить решение проблемы с Ги до завтрашнего утра. Идя к Елисейским полям, под этим отвратительным моросящим мглистым дождиком, она усилием воли выдавила Ги из своего сознания. Ну, если любишь, нужно быть готовым пережить и немного сердечной боли.

Роберта медленно шла к площади Буа де Булонь. Она долго не могла найти этот дом, долго плутала, сделала большую ненужную петлю под сплошным темным дождем, пока не подошла к нужному дому. На ее часах было восемь пятнадцать. Дом номер 19 «бис» оказался большим непривлекательным особняком, перед которым стоял «бентли» и еще несколько машин поменьше. Перед ними кучкой стояли три или четыре шофера. По этим явным признакам Роберта с удивлением поняла, что в дом приглашены и другие гости. По тону предостережения Патрини, — «Прошу вас, будьте поосторожнее», — она считала, что предстоит уютный интимный обед тет-а-тет, который барон устроит для своей юной протеже. Во время своего продолжительного пешего перехода сюда почти через весь город она думала над этим и в конце концов решила ничему не удивляться, не теряться, не впадать в шоковое состояние, что бы там ни случилось, и неизменно вести себя в высокомерной парижской манере. Кроме того, она была уверена, что сумеет совладать с пятидесятилетним стариком, независимо от того, сколько картин он у нее купит.

Она позвонила, чувствуя, как сильно озябла и промокла до нитки. Дверь ей отворил дворецкий и тут же уставился на нее, словно не верил собственным глазам. Она смело вошла в холл с высоким потолком, с большими зеркалами вокруг, сняла свое промокшее насквозь пальто, шарф и передала слуге.

— Dites au baron que mademoiselle James est lа, s'il vous plaоt1, — сказала она по-французски. Но, увидев, что этот старый болван все стоит, разинув рот, перед ней и держит в руке ее пальто с шарфом, добавила: — Je suis invitеe а diner2.

— Oui, mademoiselle3, — ответил он наконец. Он повесил ее пальто на вешалку на почтительной, не допускающей заражения дистанции от висевших там с полдюжины норковых манто и исчез за дверью, тщательно закрыв ее за собой.

Роберта разглядывала себя в одном из массивных зеркал в холле, старательно расчесывая слипшиеся и перепутавшиеся волосы. Только ей удалось навести относительный порядок среди своих влажных кудряшек, как двери холла распахнулись и к ней вышел барон. На нем был смокинг. От неожиданности при виде ее он невольно сделал шаг назад, но потом до него дошло, и теплая улыбка озарила его лицо.

— Очаровательно, просто очаровательно, я так счастлив, что вы пришли, — сказал он. Наклонившись, он церемонно поцеловал ей руку и, бросив удивленный взгляд на ее лыжные ботинки, добавил: — Надеюсь, мое приглашение не дошло до вас слишком поздно.

— Знаете, — честно призналась Роберта, — я, конечно, не явилась бы в этих ботинках, если бы знала, что у вас намечается вечеринка.

Барон захохотал, как будто она сказала что-то очень и очень остроумное, и замахал на нее руками.

— Что вы, что вы, какая чепуха, вы прекрасны и сами по себе. В любом виде. А теперь, — продолжал он заговорщическим тоном, — мне хотелось бы показать вам кое-что и только после этого представить своим гостям. — Он проводил ее из холла в гостиную со стенами, выкрашенными в розовый цвет, с уютным камином с решеткой, за которой горел небольшой костер. На стене напротив она увидела две свои акварели в аккуратных, красивых рамках, разделенные прекрасным карандашным рисунком Матисса. На другой стене на самом деле висела картина Сутина.

— Ну как, вам нравится? — заискивающе спросил ее барон.

Если б Роберта призналась барону, что она на самом деле испытывала, обнаружив свои картины в такой серьезной, славной компании великих художников, то ее слова могли зазвучать столь же торжественно, как и Девятая симфония Бетховена. Но она сдержалась.

— О'кей, — просто сказала она. — Думаю, что все о'кей.

Лицо барона исказила почти незаметная гримаса, словно если на нем не было улыбки, он испытывал адскую боль. Он полез в карман, извлек оттуда сложенный вдвое чек и вложил его в руку Роберте.

— Вот, прошу, — сказал он. — Надеюсь, вам не покажется, что сумма мала. Я все предварительно обсудил с Патрини. О комиссионных прошу не беспокоиться. Все уже улажено.

С большим трудом оторвав глаза от своих картин, Роберта развернула чек. Посмотрела на него. Прежде всего, она хотела прочитать его подпись, чтобы знать, как же его фамилия. Но она была сделана нервным, размашистым французским почерком, разобрать который было, конечно, выше ее сил. Потом она перевела взгляд на указанную в нем цифру. 250 новых французских франков. «Ничего себе, — промелькнула у нее мысль, — это же более пятисот долларов!» — автоматически произвела она подсчет в уме. Отец высылал ей на жизнь ежемесячно сто восемьдесят долларов. «Боже, на них можно будет жить во Франции вечно!» — подумала она.

Она почувствовала, как бледнеет, как затряслась ее рука с чеком. Барон с тревогой глядел на нее.

— Что с вами? — вежливо осведомился он. — Вам этого мало?

— Что вы, совсем нет, — ответила, как в тумане, Роберта, — хочу сказать... сказать... что я никогда и не мечтала о такой большой сумме...

Барон, чтобы подтвердить свою щедрость, сделал широкий жест.

— Купите себе новое платье, — предложил он. Невольно бросив взгляд на ее шотландскую юбку и старый потертый свитер, он вдруг спохватился — как бы она не подумала, что он осмеливается критиковать ее вкус в одежде. — Я хочу сказать, — добавил он, — распорядитесь этой суммой, как хотите. — Он снова взял ее под локоток. — Ну а теперь, — сказал он, — можно и присоединиться к нашей компании. И помните, когда вам захочется снова взглянуть на свои работы, можете запросто приходить, только прежде предупредите о вашем приходе по телефону.

Он любезно выпроводил ее из розовой комнаты и повел через холл в салон. В громадной комнате с развешанными на стенах картинами Брака, Руо1, Сегонзака2 между позолоченной, украшенной парчой мебелью вальяжно разгуливала многочисленная толпа французов в смокингах и увешанных драгоценными украшениями француженок с обнаженными плечами, которые разговаривали между собой тем высоким самодовольным музыкальным тоном, который в вежливой парижской беседе является высшим шиком, — особенно за пять минут до приглашения к обеду.

Барон представил ее большинству гостей, хотя ни одного из названных ей имен она так и не сумела запомнить. Все они любезно улыбались ей, мужчины целовали ей руку, словно в этом мире нет ничего более естественного, чем обед в таком доме в присутствии американской девушки в зеленых шерстяных чулках и лыжных ботинках. Двое или трое более пожилых джентльменов сказали несколько похвальных слов по поводу ее картин по-английски, а одна дама заявила с апломбом:

— Как приятно вновь видеть американскую живопись такой, это внушает уверенность. — В ее замечании была скрыта едва заметная двусмысленность, но Роберта решила не обращать на это внимание и принять его как искреннюю похвалу.

Вдруг она осознала, что сидит одна в углу, а в руке у нее стакан с почти бесцветной жидкостью. Барон пошел встречать новых гостей, и последняя группа, которую он ей представил, быстро распалась, и все они присоединились к другим кружкам. Роберта старалась смотреть только прямо, впереди себя, будучи уверенной, что если она ни разу за весь вечер не опустит глаза, то навсегда забудет, в чем одета. «Может, — размышляла она, — если я выпью побольше, я вдруг почувствую, что на мне роскошный наряд от Диора?» Роберта сделала маленький глоток из стакана. Прежде ей никогда не приходилось пробовать этот напиток, но глубоко усвоенные, расистские по характеру знания навели ее на мысль, что она попала в компанию любителей мартини. Хоть ей и не нравился вкус напитка, она допила его до конца. Теперь она знала, что делать. Когда мимо проходил официант с подносом, она взяла с него еще один стакан. Роберта медленно выпила его до дна и даже не закашлялась. Ее лыжные ботинки удивительно быстро превращались в модные туфли от Манчини, и теперь она была абсолютно уверена, что все эти элегантно одетые люди, которые, однако, повернулись к ней спиной, сейчас говорили только о ней, и говорили с нескрываемым восхищением...

Пока она выискивала официанта, чтобы взять у него с подноса третий стакан, раздалось громкое приглашение к обеду.

Она шла в столовую между покатыми женскими обнаженными плечами, над которыми позвякивали сережки с бриллиантами. Вся она была освещена горящими свечами, а длинный стол, покрытый громадной розовой кружевной скатертью, был уставлен хрустальными стаканами для вина — целыми батареями. «Нужно обязательно написать матери об этом, — подумала Роберта, выискивая свое имя на карточках, расставленных на столе напротив каждого стула. — Подумать только, я вращаюсь в высшем французском свете! Как Пруст».

Ее место оказалось в самом конце стола рядом с каким-то лысым мужчиной, который, машинально улыбнувшись ей единственный раз, больше не обращал на нее абсолютно никакого внимания. Напротив нее за столом сидел еще один лысый господин, вниманием которого прочно, на все время обеда, завладела крупная блондинка, сидевшая слева от него. Барон сидел в центре стола, на расстоянии четырех стульев от нее, на правах хозяина. После того как он бросил в ее сторону взгляд, дальнейшее общение через стол прекратилось. Так как все люди вокруг с ней не разговаривали, то, совершенно естественно, беседа шла только по-французски. Все они говорили очень быстро, кратко, постоянно отворачиваясь от Роберты, и такое их поведение вкупе с выпитыми двумя стаканами мартини еще больше ослабили ее способность понимать язык, и ей становились понятны лишь отдельные обрывки беседы, что заставляло чувствовать себя такой одинокой, словно она очутилась в ссылке.

Ее застал врасплох уже знакомый официант, который разносил вино. Наклонившись над ней, он, снова наполняя ее стакан, что-то прошептал ей на ухо. Она не могла понять, что он говорит, и на какое-то мгновение ей показалось, что он хочет узнать номер ее телефона.

— Comment?1 — громко сказала она, готовая своим ответом ввести его в смущение.

— «Монтраше», mil neuf cent cinquante-cinq2, — снова прошептал он, и до нее наконец дошло, что он называл ей сорт выдержанного вина. Оно оказалось просто превосходным, она выпила целых два стакана и закусила холодным омаром, которого подавали как первое блюдо. Она уплетала за обе щеки, жадно, ведь ей еще никогда не приходилось есть такую вкусную пищу, но одновременно с насыщением в ней возрастало чувство враждебности по отношению к каждому сидящему за столом, потому что никто не обращал на нее внимания, и ей казалось, что она обедала одна, посередине Булонского леса.

После омара подали суп, после супа — фазана, за «Шато Лафит» 1928 года на столе появилось «Монтраше» 1955 года. Теперь Роберта глядела на всех гостей с холодным презрением, хотя и видела их словно в тумане. Во-первых, как она была уверена, за столом не было ни одного, кому было бы меньше сорока. «Что я делаю в этом доме для престарелых?» — спрашивала она себя, принимаясь за вторую порцию фазана и большой кусок дрожащего желе. Эта изысканная пища лишь сильнее разжигала пламя ее ненависти. Эти трясущиеся галльские Бэбитты, эти биржевые брокеры с их разодетыми писклявыми женщинами не заслуживали компании художников, если они осмеливаются усаживать их в конце стола или кормить благотворительным супом на кухне, целиком игнорируя их присутствие.

Неизвестно почему, но во время обеда все больше крепло ее убеждение в том, что все сидевшие за столом мужчины — биржевые брокеры. Она жевала грудку, и теперь вновь горько вспоминала о своих зеленых шерстяных чулках и спутанных волосах. Роберта предпринимала героические усилия, чтобы понять, о чем же шел разговор вокруг нее, и неожиданно ее лингвистические способности настолько обострились, благодаря презрительному отношению к гостям, что она вдруг стала отлично понимать долетавшие отрывки бесед. Кто-то говорил, что дождливое лето губительно для охоты. Кто-то делился впечатлениями о пьесе, о которой Роберта ничего не слышала, и жаловался, что второй акт из рук вон плох. Какая-то дама в белом платье сказала, что, как она слышала от одного американского друга, президент Кеннеди окружил себя коммунистами.

— Какая чепуха! — громко сказала Роберта, но никто даже не повернул головы в ее сторону.

Она съела еще кусок фазана, выпила еще вина и впала в мрачные раздумья. Роберта ужасно страдала от подозрения, что ее вообще не существует. Она лихорадочно думала, что бы ей еще сказать погромче, чтобы все убедились, что она еще жива. Нужно придумать что-то на самом деле сногсшибательное. Она мысленно перепробовала все возможные вступления. «Я слышала, как здесь кто-то упомянул имя президента Кеннеди. Я имею честь быть очень близкой к членам его семьи. Мне кажется, кое-кому здесь будет интересно узнать, что президент планирует вывести из Франции все американские войска к августу месяцу». Может, хоть такое отчаянное вранье заставит их оторвать головы от своих тарелок на несколько секунд — мрачно размышляла она.

Может, более личностная атака позволит добиться большего. «Прошу меня извинить за опоздание сегодня вечером, но я была занята — разговаривала по телефону с Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Они хотят купить у меня четыре картины, выполненные маслом, но мой агент против этого; он говорит, нужно подождать до окончания моей персональной выставки, намеченной на эту осень».

«Какие снобы, — думала она, хищно оглядываясь по сторонам. — Могу побиться об заклад, что такие мои заявления смогут немного изменить направление их плавной беседы. Ну, хоть чуть-чуть».

Но все это вздор! Она сидела, как статуя, отлично понимая, что ничего не скажет, — ее постыдно, словно клещами, сдерживали ее молодость, ее диковинная одежда, ее невежество, ее приводящая в бешенство робость. «Пруст, — думала она с глубочайшим презрением к нему. — Французское высшее общество!»

Враждебность нарастала в ней. Гневно оглядываясь вокруг, прижимая к губам холодноватый краешек стакана, она видела, насколько фальшивы, насколько фривольны все эти люди с их глупыми разговорами о плохом охотничьем сезоне на фазанов, о непереносимых вторых актах пьес, о коммунистическом окружении президента Кеннеди. Она бросала свирепые взгляды на барона, этого тщательно выбритого, модно подстриженного пижона, мнящего себя самим совершенством, его-то она и ненавидела сильнее других. «Я знаю, чего ему от меня нужно, — цедила она неслышно сквозь зубы, постукивающие по хрусталю стакана, — но ничего от меня он не получит — это яснее ясного!»

Она с удовольствием съела что-то еще.

Ее ненависть к барону принимала силу тропического урагана. Он, конечно, пригласил ее к себе, значит, превратил ее во всеобщее посмешище, чтобы позабавить своих друзей, — так решила она, — и повесил ее картины в той же комнате, где висят Матисс и Сутин, — что это, если не насмешка с его стороны? Он прекрасно понимает, что ей еще далеко до таких великих мэтров. И через минуту после того, как он попытается добиться от нее желаемого и получит отказ, он, конечно же, прикажет одному из своих дворецких немедленно снять ее акварели и отнести их либо в подвал, либо на чердак — там им и место!

Вдруг перед ее глазами проплыла грустная картина: ее Ги, ее верный и преданный Ги, стоит на морозе перед ее окном на улице. От мысли о подобном бессердечии по отношению к нему у нее на глаза навернулись слезы. Он, несомненно, был куда лучше всех этих болтающих обжор за столом. Она вспомнила, как сильно он ее любит, какая чистая у него душа и как она могла сделать его счастливым, стоило ей лишь пошевелить пальцем. Сидя перед своей тарелкой с кусками фазана и пюре из съедобных каштанов, перед стаканом, на сей раз наполненным «Бордо» 1928 года, она чувствовала, что все это просто невыносимо. Почему она сейчас не с ним рядом? Раскаиваясь во всем, Роберта чувствовала, как ее бессмертная душа развращается с каждой секундой.

Она резко встала. Стул за ней наверняка бы упал, если бы слуги в белых перчатках его вовремя не подхватили. Роберта стояла, вытянувшись, как могла, ей хотелось знать, действительно ли она сейчас бледна как полотно? Она это чувствовала. Сразу все беседы прекратились, глаза всех гостей повернулись к ней.

— Мне ужасно жаль, — сказала она извиняющимся тоном, обращаясь к барону. — Мне нужно сделать очень важный телефонный звонок.

— Само собой, моя дорогая, — любезно откликнулся он. Барон встал, незаметным жестом давая понять своим гостям, чтобы они не беспокоились, оставались на своих местах. — Анри покажет вам, где телефон.

Официант с каменным лицом сделал шаг от стены, к которой, по-видимому, прилип. Роберта вышла за официантом из притихшей комнаты с высоко поднятой головой, вся выпрямившись, как палка, нарочито громко стуча своими тяжелыми лыжными ботинками по отполированному полу. Эти звуки нельзя назвать музыкальными!

Дверь за ней затворилась. «Больше никогда, никогда в жизни я не войду в эту комнату, — зарекалась она. — Никогда не увижу ни одного из этих типов. Все, выбор сделан. Мой выбор на всю вечность».

Коленки у нее дрожали, но она не чувствовала, какие усилия приходилось прикладывать ей, чтобы идти ровно и не шататься из стороны в сторону. Она шла за Анри через холл снова в эту розовую, знакомую ей комнату.

— Voilа, mademoiselle, — сказал Анри, указывая на телефонный аппарат, стоявший на маленьком столике с инкрустацией. — Dеsirez-vous qui je compose le numеro pour vous?1

— Non! — ответила она холодно. — Je le composerai moi-mкme mersi!2 — Роберта подождала, пока тот не вышел из комнаты. Села на кушетку рядом с телефоном. Набрала номер домашнего телефона Ги. Слушая гудки, она впилась глазами в свои картины. Они показались ей такими бледными, невыразительными, простенькими и какого только чужого влияния не демонстрировали. Она вспомнила, какой душевный взлет испытала, когда барон привел ее сюда, чтобы показать ей ее картины. Это было совсем недавно, а теперь внутри — пустота. «Я похожа на маятник, — подумала она, — классический случай маниакальной депрессии. Если бы у меня были богатые родители, они наверняка отправили бы меня на прием к психиатру. Нет, никакой я не художник. Нужно прекратить носить голубые джинсы. Нужно быть просто хорошей, доброй женщиной и приносить счастье мужчине. И больше не пить».

— Алло! Алло! — зазвучал в трубке раздраженный женский голос. Это, конечно, была мать Ги.

Стараясь говорить как можно отчетливее, Роберта спросила, дома ли Ги. Его мать, как обычно, вначале притворилась, что не понимает вопроса, заставив ее дважды повторить его. Потом, давая волю своему гневу, она сказала, что ее сын дома, но болен и лежит в кровати, у него высокая температура, и поэтому не может говорить. Ни с кем.

Мать Ги, судя по ее решительному настроению, могла швырнуть трубку в любой момент, и поэтому Роберта говорила так, словно случилось что-то серьезное, пытаясь передать то, что хотела, до того, как в трубке зазвучат гудки.

Мать Ги все время повторяла: «Comment? Comment?"1, и по ее голосу чувствовалось, что она все больше распаляется.

Роберта, как только могла, пыталась объяснить ей, что через час она будет дома, и если Ги не так опасно болен, то, может, позвонит ей... Потом она услыхала в трубке мужские крики, какие-то глухие звуки, стук, — по-видимому, там, на другом конце линии, шла отчаянная борьба за обладание трубкой. Потом она услыхала голос Ги. Он тяжело дышал.

— Роберта? Ты где? С тобой все хорошо? Ничего не случилось?

— Я такая стерва, — прошептала Роберта, — прошу, прости меня.

— Да ладно, не переживай, — утешал ее Ги. — Ты где сейчас?

— Я в окружении самых чудовищных людей на свете, — сказала Роберта. — Так мне, дуре, и надо! Я вела себя как идиотка...

— Где ты находишься? — кричал в трубку Ги. — Давай адрес!

— Площадь Буа де Булонь, девятнадцать «бис», — назвала Роберта. — Как мне жаль, что ты болен. Мне так хотелось увидеть тебя, сказать, что...

— Никуда не уходи, — кричал Ги, — я буду на месте через десять минут.

Она услыхала бурный поток французской речи, низвергавшийся из уст его матери, потом — щелчок! Ги повесил трубку. Роберта посидела там с минуту перед телефоном. Боль, словно от полученной раны, отступала, смягчалась из-за этого бодрого, надежного голоса любви, который она только что услыхала в трубке. «Нужно быть достойной его, — подумала она с каким-то религиозным, проникновенным чувством. — Нужно быть достойной его».

Она встала, подошла поближе к своим картинам. Уставилась на них. С каким удовольствием она сейчас выцарапала бы свою подпись, но, увы, акварели теперь были под стеклом, в рамке. Ничего сделать нельзя.

Роберта вышла в холл, надела свое пальто, замотала голову шарфом. В доме, казалось, так тихо, словно в нем никого не было. Нигде не было видно слуг в белых перчатках, и если даже сейчас гости живо обсуждали ее за столом, то, слава Богу, все их разговоры приглушало довольно большое расстояние и несколько плотно закрытых дверей. Она огляделась в последний раз, — повсюду зеркала, мрамор, норковые шубы. «Нет, все это не для меня», — подумала она с сожалением. Завтра же узнает у Патрини имя барона и пришлет ему букет роз с извинениями за свои дурные манеры и невоспитанность.

Интересно, случалось ли что-либо подобное с ее матерью, когда ей было девятнадцать?

Она неслышно отворила дверь, выскользнула на улицу. «Бентли» и другие машины стояли на прежнем месте на морозе, а печальные шоферы этих богачей стояли группкой в легком тумане под уличным фонарем. Роберта прислонилась спиной к чугунному забору особняка барона, чувствуя, что на холодном зимнем воздухе сумбур в ее голове постепенно пропадает. Уже через несколько минут она продрогла до костей, но упорно стояла на месте — это наказание ей за те часы, которые Ги провел в ожидании перед ее окном. Ее покаяние. Она не пыталась согреться.

Но даже быстрее, чем рассчитывала, она услыхала рев двигателя его «Веспы», увидала знакомую фигуру Ги. Он весь сжался на своем сиденье, казался таким странным, угловатым. Он с грохотом вылетел из узкого переулка на площадь. Она направилась к уличному фонарю, чтобы он ее сразу заметил. Ги резко затормозил перед ней. Его чуть занесло. Роберта кинулась ему на шею, обняла, не обращая внимания на глазеющих на них водителей.

— А теперь увези меня поскорее отсюда. Поскорее!

Ги чмокнул ее в щечку, крепко прижал к себе. Она забралась на заднее сиденье и крепко схватилась обеими руками за его талию. Он завел свою «Веспу». Они помчались между темными домами и быстро выскочили на авеню Фош. Всего какое-то мгновение, но его было вполне достаточно. Безумная скорость, свежий холодный ветер в лицо, его похрустывающее пальто под ее ладонями, надежное чувство успешного побега... Они пересекли авеню Фош и теперь мчались по бульварам к Триумфальной арке, которая, казалось, чуть покачивалась, залитая ярким светом прожекторов в полупрозрачном тумане.

Она крепче прижималась к Ги, нашептывая в меховой воротник его пальто: «Я люблю тебя, я люблю тебя», — но его уши были куда выше ее губ, и он ничего не слышал. Теперь она чувствовала себя очистившейся, словно какая-то святая, словно только что убереглась от совершения смертного греха.

Когда они выехали на площадь Этуаль, Ги, притормозив, повернулся к ней. Сосредоточенное, жесткое лицо.

— Ну, куда? — спросил он.

Она колебалась, не зная, что ответить. Затем сказала:

— У тебя еще остался ключ от квартиры твоего приятеля? Ну того, который уехал к родителям в Тур?

Ги резко крутанул ручку газа, и «Веспу» занесло. Они едва не упали, но все же сумели сохранить равновесие в последнюю секунду.

Он подтащил свой мотоцикл к тротуару, выключил мотор. Резко обернулся к ней. На какое-то мгновение ей показалось, что у него страшный, угрожающий вид.

— Ты что, пьяна? — спросил он сурово.

— Уже нет. Так ключ есть?

— Нет, — покачал в отчаянии головой Ги. — Он вернулся из Тура два дня назад. Что будем делать?

— Можно пойти в отель, — предложила Роберта.

Она сама удивилась своей храбрости. Какие слова произнесла сама! Впрочем, разве нельзя?

— В какой отель?

— В любой, где нас поселят, — сказала она.

Ги крепко схватил ее за руки повыше локтей, сильно сжал.

— Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?

— Конечно, — улыбнулась она ему. Ей нравилось выступать инициатором в осуществлении их «преступного» плана. Это помогало ей стереть из памяти все неприглядные поступки, совершенные ею этим вечером. — Разве я не предупреждала тебя, что сама стану к тебе приставать. Ну вот, я и пристаю.

Губы у Ги задрожали.

— Послушай, американочка, — сказал он, — ты просто великолепна!

Роберта думала, что он ее за это поцелует, но он, по-видимому, пока не хотел заходить так далеко — не доверял себе. Он снова сел в седло и завел «Веспу». Теперь он не гнал, ехал медленно, осторожно, словно вез груз драгоценного хрупкого фарфора по ухабистой горной дороге.

Они колесили по восьми аррондисманам, от одного отеля к другому, но ни один из них не нравился Ги. Увидев перед собой очередной, он вспыхивал надеждой, но она при приближении к нему гасла, Ги качал головой и что-то ворчал себе под нос, стараясь удерживать «Веспу» на средней, крейсерской скорости. Роберте никогда и не приходило в голову, сколько же отелей в Париже! Она уже окоченевала, но стойко терпела, не говоря ему ни слова. Это был город Ги, а в таких делах у нее не было никакого опыта. Если по такому случаю он хотел выбрать отель, который устроил бы его во всех отношениях, то она безмолвно проехала бы с ним полгорода, ни разу не пожаловавшись ни на что.

Они переехали через мост Александра III, помчались дальше, мимо Ансамбля Инвалидов1 по направлению к Фобур Сент-Жермен по темным, узким улочкам, где за высокими стенами маячили громадные особняки. Но даже здесь было просто удивительное множество отелей на любой вкус — больших, маленьких, скромных, роскошных, ярко освещенных и в полутьме, которые, казалось, дремали при тусклом свете уличных фонарей. Но Ги все это не удовлетворяло.

Наконец, в том районе города, в котором Роберта никогда прежде не была, неподалеку от авеню де Гоблен, на улице, которая, казалось, очень скоро превратится в руины, Ги остановился. Сумеречный свет освещал вывеску «Отель «Кардинал», все удобства». Нигде не указывалось, память какого именно кардинала здесь чтят, но на надписи «все удобства» краска облупилась маленькими чешуйками.

— Ну вот, наконец, нашел, — сказал Ги. — Я слышал об этом отеле от приятеля. Он сказал, что здесь очень хорошо и удобно.

Окоченевшая Роберта с трудом сползла с заднего сиденья.

— Да, выглядит вполне прилично, — лицемерно сказала она.

— Постой здесь, посторожи мотоцикл, — сказал Ги. — Я сбегаю и все устрою. — Он казался каким-то рассеянным и старался не смотреть ей в глаза. Достав бумажник, он вошел в отель, словно человек в толпе на спортивных состязаниях, опасающийся карманных воришек.

Роберта стояла возле мотоцикла, положив, как владелица, руку на седло «Веспы», пытаясь сосредоточиться, как следует представить, что ждет ее впереди. Как жаль, что она не выпила третий мартини! Интересно, будут ли там зеркала на потолке, а на стенах картины Ватто с изображениями нимф? Она о многом слышала в Париже, слышала и об этом.

Нужно вести себя с достоинством, быть веселой и грациозной, непременно красивой. Ведь предстоит такой лиричный и пока неведомый эксперимент.

Почему так долго там задерживается Ги? Большое удовольствие — стоять на холодной улице, стеречь его мотоцикл. Это действовало ей на нервы. Сейчас ее беспокоила не столько мысль о том, что ей предстоит заниматься любовью, — убеждала она себя, — сколько практические детали, например, с каким выражением на лице пройти мимо портье в вестибюле. В тех фильмах, на которые ее водил Ги, даже семнадцатилетние или восемнадцатилетние девушки, судя по всему, не обращали никакого внимания на подобные проблемы. Они все были грациозны, как пантеры, чувственны, как сама Клеопатра, и проскальзывали под простыни на кровати так же естественно, словно приступали к ланчу. Само собой, они ведь француженки, и это у них в крови. Ну, Ги тоже ведь француз. Эта мысль ее утешала. И все же впервые за несколько месяцев ей захотелось, чтобы в последний момент рядом с ней оказалась Луиза, и теперь она с сожалением задавала себе вопрос — почему она, дура, не расспрашивала ее ни о чем, когда та возвращалась очень поздно с любовного свидания, вся переполненная впечатлениями, готовая все ей рассказать.

Наконец Ги вышел.

— Все в порядке, — сказал он. — Владелец разрешил мне поставить «Веспу» в вестибюле.

Ги, взяв свой мотоцикл за ручки, потащил его вверх по ступенькам крыльца через двери в вестибюль отеля. Роберта шла за ним следом, размышляя, не следует ли ему помочь с машиной, так как он тяжело дышал, затаскивая ее по ступеням.

Вестибюль был узким и темным, там горела лишь одна лампочка над головой клерка, сидевшего за конторкой. Это был старый седовласый человек. Он бросил на нее короткий, все понимающий взгляд.

— Soixante-deux1, — бросил он. Он передал ключи Ги и вновь вернулся к своей газете, которую развернул перед собой на стойке.

Лифта там не было, и Роберта вслед за Ги мужественно преодолела три лестничных пролета по узкой лестнице. От потертого ковра на лестнице пахло пылью. Ги долго не мог справиться с замком в двери номера 62, он вертел ключом, что-то бормоча сквозь зубы. Борьба все же закончилась в его пользу. Крепко сжав ее руку, он переступил порог комнаты. Она вошла следом, замок поддался.

На потолке не было зеркал, а на стенах никаких изображений нимф. Обычная маленькая комната, с низкой медной кроватью, деревянным, желтого цвета креслом и столиком с тонкой пачкой промокашек на нем; в углу — ободранный экран, за которым стояло биде, и всю эту весьма скромную обстановку освещала одна-единственная голая электрическая лампочка, висящая на скрученном проводе на потолке. Там было ужасно холодно, словно в этих грязных, в пятнах, стенах накопилась стужа всех прошлых безжалостных морозных зим.

— Ах, — в отчаянии прошептала Роберта.

Ги обнял ее со спины.

— Прости меня, — сказал он, — я забыл взять с собой деньги, и в кармане оказалось всего семьсот франков. Старых, конечно.

— Да ладно, — успокоила его Роберта. Повернувшись к нему, она ласково улыбнулась. — Наплевать!

Ги, сняв с себя пальто, швырнул его на кресло.

— В конце концов, — сказал он, — это всего лишь место для встречи. Не стоит обращать внимание на такие вещи.

Он старался не смотреть на нее, согревая дыханием покрасневшие от холода «костяшки» рук.

— Ну, — продолжал он, — теперь, по-моему, тебе нужно раздеться.

— Нет уж, ты — первый, — машинально возразила Роберта.

— Роберта, дорогая, — не уступал Ги, все сильнее дуя на «костяшки», — все знают, что в подобной ситуации первой всегда раздевается девушка.

— Но только не такая, как я, — сказала Роберта.

Она села на кресло, смяв его пальто. Да, вероятно, будет трудно вести себя с ним грациозно и весело.

Ги стоял над ней, тяжело дыша. Губы его посинели от холода.

— Ладно, — согласился он. — На сей раз уступаю. Только раз. Но обещай мне, что не будешь подглядывать.

— Охота была, — с достоинством ответила Роберта.

— Отойди к окну и повернись ко мне спиной, — сказал Ги.

Роберта послушно встала и подошла к окну. Потертые шторы висели на окне, и от них точно так же пахло пылью, как и от ковра на лестнице. Она слышала, как за спиной раздевается Ги. «Боже, — мелькнуло у нее в голове, — никогда не думала, что все так будет». Секунд через двадцать она услыхала скрип кровати.

— Ну, теперь можешь смотреть.

Он лежал под простыней с одеялом, а его смуглое худое лицо выделялось на сером фоне наволочки.

— Ну, теперь очередь за тобой!

— Отвернись к стене, — сказала Роберта. Она подождала, пока Ги выполнит ее распоряжение, быстро разделась, аккуратно сложив свою одежду на беспорядочной куче, брошенной Ги на кресло. Чувствуя, что окончательно замерзает, холодная, как ледышка, она проскользнула к нему под одеяло. Ги прижался спиной к стене, лежа на краю кровати, и она к нему не прикасалась. Он весь дрожал, дрожало над ним и одеяло с простыней.

Сделав резкое движение, он повернулся к Роберте. Но к ней по-прежнему не прикасался.

— Zut!1 — мы не выключили свет.

Они оба посмотрели на лампочку. Она, словно желтый глаз, уставилась на них, как тот ночной портье внизу.

— Это ты забыла выключить, — обвинил ее Ги.

— Знаю, — откликнулась она. — Ну а ты выключи. Не собираюсь ни на дюйм отходить от этой постели, — решительно сказала Роберта.

— Но ведь ты раздевалась последней, — жалобно канючил Ги.

— Мне наплевать! — бросила она.

— Но так нечестно, — сказал Ги.

— Честно или нечестно, — продолжала Роберта решительным тоном, — я остаюсь в постели.

Когда она упрямилась, ей показалось, что у нее уже была подобная перепалка когда-то давным-давно в ее жизни. Она вдруг вспомнила. Да, такая же сценка произошла с ее братом. Он был младше ее на два года. Это было в коттедже на летнем курорте, когда ей было всего шесть лет. Отзвук прошлого чуть взволновал ее.

— Но тебе ведь ближе. Ты лежишь с этой стороны. А мне придется через тебя перелезать.

Роберта обдумала, что он ей сказал. Она знала, что ей невыносима сама мысль о том, что он прикоснется к ней, пусть даже нечаянно, при электрическом свете.

— Ладно, лежи, не двигайся! — приказала она. Резким движением она откинула одеяло, выпрыгнув из кровати, и прошлепала босыми ногами по всему номеру до выключателя. Погасила свет, и мигом — назад, под одеяло. Она натянула его до самого подбородка.

Ги дрожал все сильнее.

— Какая ты exquise1 — я больше не могу. — На этот раз он не отвернулся к стене. Он, протянув руку, дотронулся до нее. Невольно она вздрогнула, тяжело вздохнув. Рука у него была похожа на пригоршню колкого льда. Вдруг ни с того ни с сего он зарыдал. Такой катастрофы она никак не ожидала. Роберта лежала, напрягшись всем телом, на своем краю кровати. Тревога охватила ее, а Ги рыдал горько, с надрывом.

— Как все это ужасно, — говорил он сквозь рыдания, — я не виню тебя за то, что ты от меня отстраняешься. Этого вообще не нужно было делать. Я ведь такой неловкий, такой глупый в этих делах, ничего не соображаю. Ничего. Поделом мне, поделом. Знаешь, я лгал тебе, лгал все эти три месяца подряд...

— Лгал? — изумилась Роберта, стараясь оставаться совершенно спокойной. — Что ты имеешь в виду?

— Я просто играл свою роль, не больше того, — судорожно, срывающимся голосом продолжал он. — У меня нет в этом никакого опыта. И я не учусь на инженера. Я все еще учусь в лицее. И мне не двадцать один, а только шестнадцать лет.

— Боже, — медленно закрыла глаза Роберта, чтобы не видеть всего этого. — Для чего ты это сделал?

— Не поступи я так, — ты бы на меня даже не взглянула, — сказал он. — Ведь так?

— Так, — не стала возражать Роберта. — Ты прав. — Она открыла глаза, потому что нельзя же вечно держать глаза закрытыми.

— Если бы не этот адский холод, — все рыдал Ги, — если бы не эти несчастные семьсот старых франков, оказавшихся у меня в кармане, ты бы так ни о чем и не догадалась.

— Ну, теперь-то я знаю, — резонно заметила Роберта.

«Не удивительно, что в кафе он заказывал себе только ананасовый сок, — подумала она. — Как я могла так опростоволоситься? Когда же я стану другой?»

Ги сел в кровати.

— Я должен отвезти тебя домой, — сказал он. Голос у него был разбитый, глухой, словно неживой, в нем не чувствовалось ни тени надежды.

Она хотела домой. Мечтала о своей отдельной кровати. Ей хотелось убежать, где-нибудь надежно спрятаться и все начать сызнова, всю свою жизнь. А как начнешь новую жизнь, если его далекий детский голос будет постоянно звучать в ушах, постоянно преследовать ее? Она, протянув руку, коснулась его плеча.

— Ляг, — мягко сказала она.

Ги тут же проскользнул под одеяло и лежал неподвижно, на своем краю кровати, между ними было пустое пространство. Она пододвинулась к нему, обняла. Он положил свою голову ей на плечо, касаясь губами ее горла. Неожиданно у него из груди вырвалось последнее, запоздавшее рыдание. Она прижала его к себе сильнее, и вскоре их тела согрелись под одеялом. Он, тихонько вздохнув, заснул.

Она спала всю ночь лишь урывками, то и дело просыпаясь, чувствовала теплое стройное юношеское тело, свернувшееся калачиком возле нее. Она целомудренно поцеловала его в макушку, выражая свою любовь и печальное сожаление о том, что произошло.

Утром она встала, быстро оделась. Задернула в номере шторы. На дворе был солнечный день. Ги спал, лежа на спине под одеялом, лицо у него было такое беззащитное, такое счастливое. Она подошла к нему, нежно прикоснулась кончиками пальцев к его лбу. Он проснулся, уставился на нее, ничего не понимая.

— Уже утро, — прошептала она. — Вставай, пора в школу. — Роберта улыбнулась ему, и через несколько секунд он, осмелев, с сонным видом широко улыбался ей. Ги живо выскочил из кровати, начал одеваться. Она, не стесняясь, наблюдала.

Они вышли в вестибюль. Ночной портье все еще дежурил. Он бросил на них безразличный, скучный взгляд, думая о чем-то своем. О чем могут думать ночные портье? Роберта, не испытывая больше ни стыда, ни смущения, кивнула ему. Она помогла Ги вывести мотоцикл из вестибюля по ступенькам крыльца на улицу. Они сели на «Веспу», на свои места, и Ги, поддавая газу, помчался по улице, лавируя в гуще машин. Через десять минут они были у подъезда ее дома. Ги остановился, они соскочили с мотоцикла. Ги, казалось, никак не мог заговорить, словно лишился дара речи. Он несколько раз начинал с одной и той же фразы:

— Ну, я... однажды... мне кажется... — При утреннем свете лицо его казалось таким моложавым, таким юным. Наконец, нервно крутя ручку тормоза, опустив глаза, он чуть слышно спросил: — Ты меня ненавидишь?

— С чего ты взял? — удивилась Роберта. — Конечно нет. Я сегодня провела самую прекрасную ночь в своей жизни. «Наконец, — с восторгом думала она, — я начинаю учиться быть осмотрительной».

Ги неуверенно, робко поднял на нее глаза — он искал на ее лице признаки насмешки.

— Я когда-нибудь увижу тебя снова?

— Конечно, — весело заверила она его. — Сегодня вечером. Как обычно.

— Боже, — сказал он, — если я не уберусь поскорее отсюда, то я снова расплачусь.

Роберта, наклонившись, поцеловала его в щеку. Он, стремительно вскочив в седло своей «Веспы», помчался по улице, демонстрируя всем свою смелость и полное презрение к опасности.

Она глядела ему вслед, пока он не исчез из вида, потом вошла в подъезд. Она шла спокойно, умиротворенная, как настоящая женщина, довольная собой, сохранившая свою невинность. Это ее и забавляло. Роберта поднялась по темной лестнице, вставила свой ключ в замок двери мадам Рюффа. Постояла немного в нерешительности перед тем, как сделать последний поворот ключа. Она сейчас твердо решила. Никогда, НИКОГДА она не признается Луизе, что ее Ги всего шестнадцать лет.

Фыркнув, она повернула ключ и вошла.

ЛЮБОВЬ НА ТЕМНОЙ УЛИЦЕ

Ночь — самое удобное время для телефонных звонков через океан. В чужом городе в первые часы после полуночи человека донимает одиночество, и мысли его улетают к другому континенту, он вспоминает любимые, далекие голоса, старается точно вычислить разницу между временными поясами (сейчас восемь утра в Нью-Йорке, такси ползут по улицам бампер в бампер, все огни ярко горят), он дает себе твердое обещание сэкономить на сигаретах, выпивке, ресторанах, чтобы позволить себе сладостную экстравагантность: несколько мгновений разговора по телефону через пространство в три тысячи миль.

Николас Тиббел сидел в своей квартире на узкой улочке сразу за бульваром Монпарнас. В руках у него была книга, но он не читал ее. Он слишком разволновался и никак не мог заснуть, мучила жажда, и он с удовольствием выпил бы пива, но не хватало то ли сил, то ли решимости, чтобы выйти еще раз на улицу в пока еще открытый бар. Дома в холодильнике пива не было, потому что он об этом не позаботился накануне и не купил ни одной бутылки. Квартира, которую он снял на полгода у одного немецкого фотографа, — это две маленькие, уродливые, плохо меблированные комнатенки, все стены которых были залеплены фотографиями изнуренных, чахлых обнаженных женщин, поставленных этим похотливым фотографом, по мнению его, Тиббела, в довольно смелые, скабрезные позы. Но Тиббел старался думать о своей неуютной квартире как можно меньше: для чего зря тратить нервы?

Через шесть месяцев компания, в которой он работал, довольно большая организация, занимавшаяся сбытом химикатов по обе стороны Атлантики, примет окончательное решение: оставить его в Париже или отправить куда-нибудь в другое место. Если его место работы будет постоянно находиться здесь, в Париже, то он подыщет себе более комфортабельное жилье. А пока он здесь лишь спал да переодевался, а поздно ночью, чувствуя себя словно в западне, в этой гостиной немца с фотографиями извивающихся, как змеи, абсолютно неаппетитных, лишенных пышной плоти женщин, старался подавить приступы жалости к самому себе и тоску по дому, накатывающие на него, словно морские волны.

После оптимистических рассказов других молодых американцев о Париже ему и в голову никогда не приходило, что почти каждую ночь придется испытывать такое острое одиночество, какое-то неясное, расплывчатое томление, которое охватило его с того дня, когда он поселился в этом городе.

Он был такой робкий, такой стеснительный с девушками, неловкий с мужчинами и все больше убеждался, что робость и неловкость стали предметами экспорта и кочевали из одной страны в другую, без всяких налогов и ограничений по квотам и что одинокий человек наверняка не смог избежать унылого одиночества, своей неприметности как в Париже, так и в Нью-Йорке. Каждый вечер, после безмолвного обеда с книгой в руке, единственным своим компаньоном, Тиббел, с аккуратной американской стрижкой, в мятом, но чистом дакроновом костюме, с вежливым взглядом наивных, пытливых, голубых глаз, слонялся от одной переполненной посетителями террасы кафе в Сен-Жермен-де-Пре до другой. Там пил, сколько требовала душа, ожидая того желанного ярко освещенного вечера, когда его, наконец, заметит веселая, хохочущая ватага молодых людей, в которой, оправдывая вошедшую в легенду столичную свободу, ухватятся за него, оценят его по достоинству и потащат за собой. А он с радостью разделит с ними их веселые похождения, приятные развлечения за столиками в «Флоре», «Эпи-клубе», пивной «Липп» и потом будет вместе с ними продолжать веселиться в чуть задетых грехом маленьких гостиницах в приветливой, зеленой сельской местности под Парижем.

Но, увы, такой ярко освещенный вечер все не наступал. Лето подходило к концу, а он по-прежнему страдал от одиночества и пытался читать книгу у открытого окна, через которое к нему в комнату врывались теплый ночной бриз, далекий беспорядочный гул уличного движения, окружавшего его города, а также тонкий, влажный запах речной воды и покрытой серой пленкой пыли сентябрьской листвы. Сама мысль о сне, даже далеко за полночь, была для него непереносима. Тиббел, положив книгу на стол (это была «Мадам Бовари» для улучшения его французского), подошел к окну, выглянул из него. Он всегда подолгу выглядывал из окна, если бывал дома. Но, по сути дела, ему не на что было смотреть. Его квартира размещалась на втором этаже, и взгляд постоянно упирался в плотно закрытые ставни и чешуйчатые, покрытые сажей каменные стены. Улица за окном была такая узкая, что, казалось, ожидала только бомбежки или своего полного разрушения, чтобы уступить место для строительства современной большой тюрьмы, и на ней даже в самое оживленное время суток почти не было никакого движения. Сегодня вечером на ней тоже было тихо, она была пустынной, если не считать двух любовников, которые, плотно прижавшись друг к дружке, в подъезде напротив него, отбрасывали одну неподвижную тень.

Тиббел не отрывал глаз от любовников: они вызывали у него зависть и восхищение. «Как все же здорово быть французами, — подумал он, — и не стыдиться охватывающего тебя желания, демонстрировать это честно и откровенно, в этом подъезде, где все же ходит народ». Ах, если бы только он все свои ранние формирующие характер годы провел здесь, в Париже, а не в Эксетере!

Тиббел отвернулся. Поцелуи любовников в арочном подъезде через улицу волновали его. Он попытался снова взять в руки книгу, почитать, но из этого ничего не вышло, — перед глазами возникали одни и те же строчки: «Чудный запах исходил от этой большой благоуханной любви, он проникал всюду, пропитывая нежным ароматом ту чистую, без всяких примесей, атмосферу, в которой ей так хотелось жить».

Он отложил книгу в сторону. Ему было куда больше жаль самого себя, чем Эмму Бовари. Ладно, он займется совершенствованием своего французского в другой раз.

— Ну и черт с ним, — громко, вслух, сказал он, принимая окончательное решение. Сняв трубку с рычага на полке, уставленной снизу доверху немецкими книгами, он набрал номер междугородней и назвал оператору номер телефона Бетти в Нью-Йорке на своем подчеркнуто отчетливом, аккуратном, хотя, конечно, явно не улучшенном французском, который он учил два года в Эксетере и еще четыре в Суортморе. Телефонистка попросила его не вешать трубку, сказала, что, если представится возможность, она соединит его с абонентом немедленно. Он чувствовал, как его слегка прошибает пот, и было очень приятно от мысли, что будет разговаривать с Бетти всего через пару минут.

У него было такое предчувствие, что сегодня ночью он скорее всего сумеет сказать ей что-то весьма оригинальное и даже историческое, и ради этого он даже выключил свет, потому что в темноте мог выражаться более свободно, без всякого стеснения.

На линии вновь послышался голос оператора. Она сообщила ему, что немедленно соединить с Нью-Йорком его не может и что ему придется подождать. Тиббел, посмотрев на светящийся циферблат своих часов, попросил ее попытаться еще раз. Прижав трубку к уху, он откинулся на спинку стула с полузакрытыми глазами. Тиббел пытался мысленно представить себе, каким будет голос Бетти, как он будет звучать с того берега океана, как она выглядит сейчас, удобно устроившись на диване в своей крохотной комнатке на двенадцатом этаже в доме на одной из нью-йоркских улиц, как держит трубку в руке, как говорит по телефону. Он был знаком с Бетти всего восемь месяцев, и если бы не эта неожиданная командировка в Париж два месяца назад, то удобный момент обязательно подвернулся бы и он сделал бы ей предложение. Ему уже около тридцати, и если он собирался когда-нибудь жениться, то нужно было поторапливаться.

Расставание с Бетти стало для него тяжким, нагоняющим тоску испытанием, и только лишь благодаря своему железному самообладанию ему удалось все же сладить с собой и пережить тот последний их вечер перед разлукой, когда он вполне мог рискнуть всем на свете и попросить последовать за ним на следующем самолете. Но он гордился тем, что он человек разумный, здравомыслящий, а его появление на новом, возможно, временном месте в сопровождении новой жены никак не увязывалось с его представлениями о рассудочном мужчине. Поступать так он не имеет права. Тем не менее его томление и то удовольствие, которое он получал от размышлений о ней часами, вызывали у него чувства, которые прежде он никогда не испытывал. И вот сегодня ночью ему вдруг захотелось сделать ей решительное и недвусмысленное предложение, которое прежде не мог произнести вслух из-за своей робости и стеснения. До сих пор Тиббел довольствовался тем, что писал ей ежедневно по письму и еще звонил в ее день рождения. Но сегодня он был бесповоротно настроен насладиться нежными звуками ее голоса и своим собственным признанием в любви.

Он терпеливо ждал, когда зазвонит телефон, и, чтобы время не казалось таким томительно долгим, рисовал в своем воображении соблазнительную картину. Что бы было, если бы она находилась сейчас рядом с ним, что бы они говорили друг другу, держась за руки в этой комнате, а не на расстоянии трех тысяч миль по гудящему проводу.

Он, закрыв глаза, уперся затылком в спинку стула и старательно, во всех деталях, вспоминал их прежние разговоры, скорее похожие на шепот, воображал, как он еще не раз будет общаться с ней по телефону, когда вдруг из открытого окна до него долетели чьи-то хриплые, грубые, возбужденные голоса. В них чувствовалась страстность, настойчивость.

Тиббел, встав со стула, подошел к окну, выглянул из него вниз, на улицу. Там, внизу, под ним, под светом уличного фонаря четко вырисовывались три фигуры. Эта троица, стоя очень близко друг от друга, о чем-то спорила, иногда понижая, правда, свои голоса, словно хотела, чтобы никто посторонний не слыхал их ссоры. Но иногда, забывая об этом, они срывались, и раздавались громкие, яростные, грубые взрывы гнева. Седовласый человек лет шестидесяти с лысым кружком на макушке, которого отлично видел Тиббел со своего наблюдательного поста в окне, молодая рыдающая женщина, прижимавшая к губам носовой платок, чтобы приглушить свой плач, и какой-то молодой человек в куртке-ветровке. На молодой женщине было пестрое хлопчатобумажное платье, на голове высокая прическа, отдающая дань модному стилю, заданному в этом сезоне Брижит Бардо, и этот вид делал ее похожей на откормленного, чистенького поросенка. Старик смахивал на респектабельного инженера или государственного служащего, — крепко сбитый, работяга и довольно сомнительный интеллектуал одновременно. Они окружили мотоцикл «Веспа», припаркованный перед его домом. Когда их перебранка накалялась, молодой человек любовно постукивал рукой по машине, словно заверяя себя в том, что в крайнем случае у него в распоряжении надежное средство, чтобы поскорее улизнуть отсюда.

— Повторяю, месье, — громко говорил старик, — вы — salaud1. — Когда он говорил, то в его речи встречались закругленные, почти ораторские фразы, придававшие ей самодовольный оттенок. Казалось, что этот человек давно привык обращаться к массовой аудитории.

— А я повторяю вам, месье Банари-Коинталь, — возражал так же громко молодой, — что я не salaud. — Речь его была типичной парижской уличной речью, грубой, раздраженной, сложившейся за двадцать пять лет постоянных препирательств со своими согражданами, но его внешний вид говорил о том, что он либо студент, либо лаборант, либо служащий в аптеке.

Молодая девушка все плакала и сжимала трясущимися руками свою большую, из дорогой кожи сумочку.

— Нет, ты подлец, причем наихудший из всех! Тебе нужны доказательства? — Это был явно ораторский прием. — Я могу тебе их предоставить. Моя дочь беременна. Нужно сказать, благодаря твоим стараниям. Ну и как же ты поступаешь, когда она оказывается в таком незавидном положении? Ты ее бросаешь. Ты поступаешь как козел. И чтобы причинить ей еще большую боль, заявляешь, что собираешься завтра жениться. На другой женщине.

Несомненно, их накаленная беседа имела бы для француза совершенно иную окраску, подслушай он ее, но натренированное на французских занятиях в Эксетере и Суортморе ухо Тиббела все воспринимало по-другому, он автоматически переводил французские фразы на английский, и его перевод напоминал версию школьных отрывков из трагедий Расина и сочинений Цицерона. Тиббелу казалось, что у всех французов — довольно архаичный, несколько высокопарный словарный запас, и когда они разговаривают, то произносят торжественную речь перед группой сенаторов на римском форуме или же горячо убеждают афинян убить Сократа. Но это не раздражало Тиббела, отнюдь нет, напротив, такая особенность наделяла необычным, таинственным шармом его контакты с жителями этой страны, а когда в редких случаях ему удавалось точно понять несколько слов на «арго», то это придавало особую пикантность его знаниям языка, как будто он услыхал яркую фразу Дамона Рюньона из третьего акта «Сида"1.

— Пусть нас рассудит нейтральный арбитр, — продолжал месье Банари-Коинталь, — пусть скажет откровенно, заслуживают ли твои поступки оскорбительного названия — подлец!

Молодая девушка, беременность которой еще не была заметна, стоя прямо, не горбясь, еще сильнее зарыдала.

В тени подъезда заерзали потревоженные любовники; обнаженная женская рука задвигалась, неловкий поцелуй пришелся вместо губ в ухо, мужская мускулистая рука снова покрепче обняла ее стан. Но чем можно было объяснить их телодвижения: оживлением вокруг «Веспы», вполне естественной усталостью или необходимостью варьировать игры слишком затянувшейся «любви», — Тиббел сказать не мог.

В конце улицы показалась машина, она приближалась с яркими включенными фарами и грохотом итальянского движка, но остановилась на углу, потом, резко свернув, припарковалась возле закрытой прачечной. Фары ее погасли. Теперь улица вновь была целиком предоставлена этим неугомонным спорщикам.

— Если я и собираюсь завтра жениться, — говорил молодой человек, — то в этом только ее вина. — Он обвиняющим перстом ткнул в свою подругу.

— Я запрещаю тебе продолжать в том же духе, — заявил с достоинством месье Банари-Коинталь.

— Я ведь пытался, пытался неоднократно, — орал молодой человек. — Я делал все, что мог. Я жил с ней целый год, не так ли? — Он говорил об этом, уверенный в своей правоте, с гордостью и жалостью к себе самому, говорил так, словно ожидал только похвал в свой адрес за принесенную им жертву. — Через год мне стало ясно, что если я собираюсь завести приличную семью, с детьми, то на это мне рассчитывать с вашей дочерью нечего, пустая затея. Пришло время быть откровенным с вами, месье. Ваша дочь ведет себя просто безобразно. Безобразно. К тому же у нее отвратительный характер.

— Поосторожнее с выражениями, — возмутился обиженный отец.

— Просто чудовищно, — продолжал возмущаться молодой человек. Он при этом, для большей убедительности, неистово размахивал руками, его длинные волосы, спадая со лба, закрывали ему глаза, что придавало больший эффект его слепому, неконтролируемому приступу гнева. — Вы — ее отец, и я пожалею вас, не стану сообщать вам всех подробностей. Но я позволю все же себе вас спросить: где вы найдете мужчину, способного долго выдерживать такое третирование его со стороны женщины, которая теоретически разделяла с ним его кров в течение двенадцати месяцев? Даже эта фраза заставляет меня рассмеяться, — сказал он, однако, не смеясь. — Если говорят: разделяет с тобой кров, то это означает, что эта женщина хотя бы время от времени физически присутствует у очага, например, хотя бы тогда, когда ее мужчина приходит домой на ланч или возвращается после трудного рабочего дня, чтобы провести дома мирный вечерок и немного расслабиться. Но если вы, месье Банари-Коинталь, считаете, что это относится и к вашей дочери в равной мере, то вы глубоко заблуждаетесь. За последний год, месье, уверяю вас, я видел перед собой гораздо чаще свою мать, свою горничную, свою тетку, живущую в Тулузе, продавщицу газет возле собора Мадлен, чем вашу дочь. Спросите у нее, где она постоянно денно и нощно пропадала и зимой и летом? Нет, у меня ее никогда не было!

— Рауль, — все еще безутешно рыдала девушка, — как ты можешь так говорить обо мне? Я хранила верность тебе с первого дня до последнего.

— Верность, — презрительно фыркнул Рауль. — Какая разница? Женщина постоянно твердит, что она верна своему мужу, и считает, что этого вполне достаточно, чтобы простить ей все преступления: от поджога до убийства матери. Какой мне толк от твоей верности? Тебя никогда не бывало дома. Ты торчишь повсюду: у парикмахерши, в кино, в галерее Лафайетт, в зоопарке, на теннисных матчах, в бассейне, у портнихи, в «Двух кубышках», гуляешь по Елисейским полям, сидишь у приятельницы в Сен-Клу, но тебя никогда нет дома. Месье, — Рауль повернулся к ее отцу, — не знаю, какое у нее было детство, что именно сформировало такой дрянной характер у вашей дочери, мне приходится говорить только о результатах такого воспитания. Ваша дочь — это такая женщина, которая люто ненавидит любой дом.

— Дом — это одно, — возразил старик дрожащим от отцовских эмоций голосом, — а тайное и незаконное сожительство — совершенно другое. Это все равно, что различие между церковью и... и... — Он колебался, подыскивая сокрушительное сравнение. — Как различие между церковью и скачками. — Он оскалил зубы в дикой улыбке, весьма довольный своей блистательной риторикой.

— Клянусь тебе, Рауль, клянусь, — залепетала девушка, — если ты только женишься на мне, то я не сделаю и шага с твоей кухни.

— Женщина, известно, горазда на обещания, — охладил ее пыл Рауль, — особенно вечером, накануне утренней свадьбы ее мужика с другой. — Он резко повернулся к отцу. — Хотите, я дам вам последнюю характеристику вашей дочери? Мне жаль того человека, который осмелится взять ее в жены, и если бы я был примерным гражданином и хорошим христианином, то на вашем месте послал бы ему анонимное письмо, чтобы он поразмыслил получше до того, как сделает последний, фатальный шаг.

Девушка еще пуще заревела, словно ее кто-то больно ударил. Она бросилась к отцу и теперь отчаянно, с надрывом, рыдала у него на плече. Отец, рассеянно постукивая ее ладонью по спине, причитал: «Успокойся, успокойся, Муму», — а она, с разбитым сердцем, все повторяла:

— Я люблю его, люблю, я не могу жить без него. Если он меня бросит, то завтра же утоплюсь.

— Вот видишь, — обвинительным тоном выговаривал ему отец над трагически склонившейся на его плече головкой. — Вот вся глубина твоей неблагодарности. Слышишь, она жить без тебя не может!

— Очень скверно, — сказал Рауль высоким из-за раздражения голосом. — Потому что я не могу жить с ней.

— Предупреждаю тебя, — угрожающе заговорил очень громко отец, пытаясь перекрыть взрывы отчаянных рыданий дочери. — Если она бросится в реку, то ты будешь нести за это личную ответственность. Это я тебе говорю как отец. Даю торжественную клятву.

— В реку! — хрипло засмеялся Рауль, ни чуточки не веря его словам. — Если такое на самом деле произойдет, то кликните меня. Я сам провожу ее до берега. В любом случае, она отлично плавает, не хуже рыбки, и меня не может не удивлять, как это вы, старый человек, можете проявлять такую наивность и всерьез воспринимать весь этот женский вздор.

Как это ни странно, но его последняя фраза взбесила Муму куда сильнее, чем все его прочие обвинения. Издав истошный вопль, напоминающий смесь рычания и воя сирены, извещающей граждан об авианалете, Муму, вырвавшись из объятий отца, стремительно кинулась на Рауля. Держа за ручку свою большую кожаную сумку, она принялась колотить ею изо всех сил Рауля, обрушивая на него все новые и новые удары, и рука ее энергично работала, как у олимпийца, метателя молота. Своими ударами она выгнала его на середину улицы. По звуку ударов, которые приходились ему по голове и плечам, Тиббел определил на слух, что ее сумочка весила никак не меньше десяти фунтов и внутри была набита осколками стекла и металлическими предметами. Рауль поднял руки, чтобы защитить себя от нападения, он орал, отступал, словно танцуя, назад, уговаривал ее:

— Муму, по-моему, ты окончательно утратила самообладание!

Чтобы отбиться от свирепых, достигающих его по высокой траектории ударов сумкой со всех сторон, он, сделав резкий выпад, сгреб в охапку Муму, но та не сдавалась и теперь продолжала свою яростную атаку с помощью ударов острыми носками туфель, беспощадных ударов то по одной, то по другой голени, вгоняя поглубже высокие, острые, как иглы, «шпильки» в мягкую замшу его мокасинов. Тиббелу, который с удовольствием наблюдал за потасовкой из своего окна, казалось, что эта пара исполняла какой-то эксцентричный ритуальный танец. А отбрасываемые светом уличного фонаря их тени плясали, прыгая вверх и вниз по фасадам зданий напротив, и были очень длинными— тоже на африканский манер.

— Муму, Муму, — хрипло кричал Рауль, крепче сжимая ее в своих объятиях, не прекращая своей болезненной джиги, чтобы увильнуть от ее острых каблуков, не дать им проткнуть тонкую замшу и изувечить ему пальцы на ногах. — Послушай, ну что тебе это все даст? Это не решит ни одной из наших проблем! Муму, перестань!

Но Муму, коли начала расправу, и не думала останавливаться. В ней теперь кипели, бурлили все обиды, все нанесенные ей оскорбления, все ложные надежды ее жизни, все они находили свое яркое выражение в ударах сумочкой и пинках ногами, которыми она обрабатывала своего нарушившего договор партнера.

«В ее ворчании, приглушенных вскрикиваниях, которыми она сопровождает свое наказание, чувствуются торжествующие нотки, какое-то дикое облегчение, чуть ли не оргазм — это вряд ли приемлемо для публичного представления на городской улице», — подумал Тиббел.

Он был, прежде всего, американцем и иностранцем, и поэтому ему было неловко от самой мысли о возможности вмешательства с его стороны. Если бы он стал свидетелем драки между мужчиной и женщиной в Нью-Йорке, то, конечно, кинулся бы разнимать дерущихся. Но здесь, на этой странной земле Франции, где кодекс нравственного поведения представителей обоих полов продолжал оставаться для него приятно возбуждающей тайной, ему оставалось лишь терпеливо ждать и надеяться на наилучший исход. К тому же по любой системе подсчета очков эта женщина явно выигрывала, причем выигрывала с большим преимуществом, отважно нанося свои удары, зарабатывая все больше очков за агрессивную манеру ведения боя на боксерском ринге при минимальном, случайном личном уроне, когда она пыталась укусить противника, а голова Рауля при этом приходила в контакт с ее лбом.

Отец, который, как можно было предположить, не мог оставаться равнодушным при виде поединка, который его беременная дочь вела со своим неверным любовником в этот предутренний час, не пошевельнул, однако, даже пальцем, чтобы прекратить эту шумную возню. Он только перемещался по улице вместе с дерущейся парой, обегал ее вокруг, не спуская внимательных глаз с главных участников, словно рефери, которому не хотелось прерывать хороший бой до тех пор, покуда клинч не станет слишком явным, а запрещенные удары ниже пояса — закономерностью.

Поднятый драчунами шум разбудил спящих жителей, и то здесь то там на улице на темных окнах приоткрывались ставни и в щелке на короткое время появлялись чьи-то лица с типичным для французов смешанным выражением беспристрастности, любопытства и опаски. Ставни могли в любое мгновение снова закрыться, стоило только вдали показаться бегущему к этому месту жандарму.

Муму своими «шпильками» и тяжеловатой сумочкой уже удалось отогнать Рауля ярдов на пятнадцать от линии первоначальной атаки, и они теребили друг друга, тяжело дыша, как раз перед двумя любовниками, которые все это время спокойно целовались в подъезде в плотной тени на той стороне улицы. Теперь, когда шум битвы подобрался к самому крыльцу их подъезда и в любую минуту «бойцы» грозили вторжением на избранное ими для любви место, влюбленным пришлось наконец отлипнуть друг от друга, и мужчина, выступив вперед, прикрыл грудью свою девушку, которую он так долго ласкал, прижав к каменной стене в этом уютном подъезде. Тиббел заметил, что это — небольшого роста, крепко сбитый человек в спортивном пиджаке и рубашке с открытым воротником.

— Хватит, хватит, — властным тоном сказал он, схватив Рауля за плечи и пытаясь оттащить его в сторону. — Довольно, расходитесь по домам, давно пора спать.

Его неожиданное появление на мгновение отвлекло внимание Муму от противника.

— Отправляйтесь-ка назад в свой подъезд и займитесь своим совокуплением, месье! — огрызнулась она. — Нам не нужен ваш совет. — Воспользовавшись неожиданной паузой, Рауль, скользнув незаметно в сторону, прытко побежал вверх по улице, тяжело стуча своими мокасинами по мостовой.

— Трус! — взвизгнула Муму, бросившись за ним в погоню, угрожающе, отчаянно размахивая своей сумкой и все время набирая скорость, демонстрируя свою необычную ловкость, хотя ей и приходилось бежать на высоких каблуках. Она уже, кажется, нагоняла его, когда Рауль, почувствовав это, резко завернул за угол и пропал из поля зрения. Но его маневр не остановил Муму.

На улице теперь воцарилась странная тишина, и Тиббел слышал, как тихо, без излишнего шума, захлопывались ставни: главные действующие лица покинули сцену и глядеть было больше не на кого.

Отец Муму все еще стоял на прежнем месте, глядя своими печальными, уставшими глазами на тот угол, за которым исчезла его дочь, размахивая кожаной сумкой. Он перевел взгляд на человека в спортивном пиджаке, который говорил, обращаясь к своей девушке:

— Ну, вот, полюбуйся на эту парочку. Какие-то дикари.

— Месье, — с серьезным видом окликнул его отец. — Ну кто, скажите, просил вас вмешиваться в чужие дела? И так происходит по всей стране. Никто больше здесь не занимается своими делами. Частная жизнь уже в далеком прошлом. Стоит ли в таком случае удивляться, что мы стоим на краю анархии? Все было уже на мази, согласие уже было не за горами, и вот вы все испортили.

— Послушайте, месье, — с воинственным видом сказал человек в спортивном пиджаке. — Я по своей натуре простой, уважающий себя человек. Я не стану стоять разинув рот и молча наблюдать, как в моем присутствии дерутся мужчина с женщиной... Я считал своим долгом их разнять, и если бы вы не годились мне в дедушки, то заметил бы вам: вам должно быть стыдно за себя, за то, что вы не остановили эту драку еще раньше.

Месье Банари-Коинталь внимательно разглядывал этого простого, уважающего себя человека с чисто научной непредвзятостью, словно взвешивая с юридической точки зрения его последние слова во имя торжества справедливости. Но ничего ему не ответил. Повернувшись вдруг к девушке, все еще не выходившей из густой тени и приводившей в порядок свои растрепанные волосы, приглаживая их обеими руками, он громко, отчетливо сказал:

— Послушайте, вы ведь еще молодая женщина. Разве вы не видите, что ожидает вас впереди? С вами произойдет точно то же, что случилось с моей дочерью. Помяните мои слова, как только вы забеременеете, этот тип, — старик величественным жестом, словно прокурор, указал на человека в спортивном пиджаке, — тут же исчезнет, убежит от вас и скроется, как кролик на кукурузном поле.

— Симона, — сказал человек в спортивном пиджаке, опережая ответ своей подружки. — Неужели нам нечем больше заняться и потратить время на что-то более приятное, чем выслушивать этого старого пустозвона. — Он нажал кнопку на стене рядом с той дверью в подъезде, где он ее тискал и прижимал, и дверь перед ними с жужжанием электрозуммера отворилась. С великим достоинством он, взяв свою девушку за руку, повел ее в еще более плотную тень внутреннего дворика.

Старик недоуменно пожал плечами. Он исполнил свой долг, предостерег безрассудное молодое поколение. Тяжелая большая деревянная дверь закрылась, щелкнув замком, за парой любовников, вынужденных прервать разделяемое обоими наслаждение. Теперь старик озирался по сторонам, явно выискивая для себя новую аудиторию, готовую выслушать его взгляды на жизнь, но улица как назло оставалась пустынной, а Тиббел чуть отстранился от окна, опасаясь, как бы этот моралист не обратился с высокопарной речью к нему.

Не видя больше никаких мишеней для острых стрел мудрости, месье Банари-Коинталь, вздохнув, медленно пошел к углу, за которым исчезла его дочь, пустившаяся за Раулем в погоню. Тиббел видел, как он стоял там, посередине темного геометрического узора городских перекрестков, — одинокая, сбитая с толку фигура, высматривающая что-то там, вдалеке, скорее всего запоздавших пешеходов, этих живых душ в безлюдной темноте ночи.

Тиббел услыхал скрип ставень под ним, глухие старушечьи голоса, словно доносившиеся до него в эту ночь из подземелья, и они звучали, как будто перепрыгивая с одного окна на другое

— Ах, — вздыхал первый. — Жизнь в нашем городе становится просто невыносимой. Люди вытворяют Бог знает что на улице в любой час ночи. Вы слышали, мадам Арра? Я, например, слышала.

— Все, до последнего слова, — откликнулся другой старушечий голос консьержки, громкий, хриплый, обвиняющий, переходящий на шепот. — Это был вор. Он хотел выхватить у нее сумочку. После ухода де Голля женщине лучше не показываться на улице в Париже после наступления темноты. А у полиции тем временем хватает наглости, чтобы требовать повышения жалованья.

— Нет, мадам, все было абсолютно не так, — раздраженно сказал первый голос. — Я все видела собственными глазами. Она первой ударила его. Своей сумочкой. Раз тридцать, даже сорок подряд. Он заливался кровью, как заколотая свинья. Ему повезло — хоть остался в живых. По правде говоря, он получил то, что заслужил. Она от него беременна.

— Ах, — воскликнула мадам Арра, — salaud!

— Но с другой стороны, если быть беспристрастной, — продолжал первый голос, — она и сама нисколько не лучше. Никогда не показывается дома, повсюду флиртует напропалую и думает только об одном, как бы поскорее выскочить замуж, но уже поздно, как показывает анализ.

— Ах, эти молодые девушки в наши дни, — критически заметила мадам Арра. — Поделом им. Они этого вполне заслуживают.

— Вам еще не раз придется повторить свой вывод, — сказала первая консьержка. — Если бы я вам только порассказала, что творится вот в этом нашем доме.

— Нечего мне рассказывать, — сказала мадам Арра. — Одно и то же по обеим сторонам улицы. Когда я мысленно вспоминаю тех людей, перед которыми открываю дверь и объясняю им, что месье Бланшар живет на третьем этаже, то остается еще только удивляться, как у меня хватает смелости сходить на мессу на Пасху.

— Только одного человека мне жаль — этого старика, — сказала первая консьержка. — Это ее отец.

— Нечего зря его жалеть, — возразила мадам Арра. — Скорее всего во всем виноват только он сам. По-видимому, у него нет должного авторитета. Если мужчина не пользуется авторитетом в семье, то что хорошего можно ожидать от его детей? Кроме того, нисколько не удивлюсь, если у него самого есть маленькая зазноба, куколка в шестнадцатом округе, у этого отвратительного старика. Я хорошо его разглядела. Я знаю таких типов.

— Ах, этот грязный похотливый старик, — сказал с осуждением первый голос.

Тиббел услыхал звук шагов, доносившихся до него от угла. Он снова повернулся к окну, чтобы посмотреть еще раз на грязного похотливого старика. Он приближался. Ставни, щелкнув щеколдой, снова плотно закрылись, и обе старые дамы после своего двухголосого вторжения исчезли за ними. На улице вновь восстановилась тишина, нарушаемая теперь только усталым шарканьем туфель старика по неровному бетонному покрытию и астматической одышкой после каждого сделанного им шага. Он остановился под окном Тиббела, печально глядя на «Веспу», покачивая с сожалением головой; потом неловко опустился на бордюр тротуара и сел, поставив ступни ног на решетку канализационного колодца, руки его безжизненно болтались между колен.

Тиббел хотел было спуститься, чтобы утешить старика, но он не был уверен до конца, в каком состоянии находится сегодня ночью месье Банари-Коинталь и как он воспримет попытки со стороны иностранца его успокоить.

Тиббел уже хотел было и сам закрыть ставни на окне, следуя примеру двух консьержек, и оставить там, внизу, этого старика одного — пусть сам разбирается со своими проблемами, как вдруг увидел на углу Муму. Она все еще пыталась рыдать, хотя, несомненно, уже выдохлась, и теперь неуверенно шагала на своих высоких каблуках; ее сумочка, это грозное оружие, с которым она бесстрашно и яростно атаковала Рауля, теперь беспомощно болталась на руке мертвым грузом. Увидев дочь, отец встал ей навстречу, предприняв для этого нешуточные усилия ревматика. Заметив старика, Муму зарыдала громче. Он раскрыл перед ней объятия, и она бросилась в них, прижавшись головкой к его плечу, рыдая, цепляясь за него, а он неловко, ласково поглаживал ее по спине.

— Он убежал, — выплакивала свое горе Муму. — Я его больше никогда, никогда не увижу.

— Может, оно и к лучшему, — сказал старик. — Этот парень совсем ненадежный человек.

— Но я люблю его, люблю, — повторяла она, увлажняя своими слезами плечо его пиджака. — Нет, я его убью.

— Ну, что ты, Муму, что ты... — Отец настороженно озирался, чувствуя, что за этими закрытыми ставнями напряженно работают глаза и уши непрошеных свидетелей.

— Я ему покажу! — бесновалась в отчаянии девушка. Она, вырвавшись из объятий отца, теперь стояла с видом обвинителя перед мотоциклом «Веспа», глядя на машину своими горящими глазами. — Он отвез меня на этом драндулете на берег Марны в первый раз, когда мы с ним вместе пошли погулять, — сказала она срывающимся голосом, которому суждено было донести воспоминания о прежней, такой далекой нежности, о нарушенных обещаниях до невидимых ушей главного виновника ее несчастий. — Я покажу ему! — угрожающе повторила она. Быстро наклонившись, сняла с правой ноги туфлю. Отец не сумел вовремя среагировать, остановить ее. Размахнувшись, держа туфлю за острый носок, она всадила высокую шпильку в переднюю фару мотоцикла. Послышался треск разбитого стекла, звон осколков на мостовой, и вдруг пронзительный вопль Муму от боли.

— Что случилось? Что такое? — с тревогой в голосе спросил отец.

— Ничего особенного. Я просто порезалась. Повредила вену. — Муму протянула к нему руки, трагически, как леди Макбет. Тиббел видел, как из нескольких порезов на руке брызнула кровь.

— Ах, мое несчастное дитя! — рассеянно пробормотал старик. — Не дергай рукой, дай-ка я сам посмотрю...

Но Муму, отдернув руку, начала свой неуклюжий танец на одном каблуке, кружась вокруг «Веспы», тряся своей порезанной рукой над мотоциклом, забрызгивая текущей из ран кровью его колеса, руль, седло водителя, заднее сиденье.

— Вот тебе, получай! — кричала она. — Ты жаждал моей крови, вот, на, бери ее. Очень хочется надеяться, что она принесет тебе счастье.

— Муму, не бесись, — умолял ее старик. — Ты можешь серьезно подорвать свое здоровье. — Наконец, ему удалось схватить дочь за руку, осмотреть ее порезы. — Ах, ах, — сокрушался старик. — Должно быть, тебе очень больно. — Вытащив из кармана носовой платок, он туго перевязал ей запястье. — Ну, а теперь, — сказал он, — я отвезу тебя немедленно домой, ты как следует выспишься и навсегда забудешь об этом гадком предателе.

— Нет, никогда, — горячо возразила она. Она прижалась спиной к стене дома на противоположной стороне улицы и стояла там упрямо, не двигаясь ни на дюйм. — Он же вернется за своим мотоциклом. Вот тогда я его и убью. А после этого покончу с собой.

— Муму... — взвыл теперь уже старик.

— Ступай домой, папа.

— Как же я пойду домой без тебя? Как я оставлю тебя одну здесь, на улице?

— Я буду ждать его, даже если придется простоять здесь всю ночь вот на этом месте. — Она обеими руками цеплялась за стену сзади, за ее спиной, чтобы отец не мог увести ее домой силой.

— Он должен прийти сюда до брачной церемонии в церкви. Он ни за что не станет жениться без своего мотоцикла, а ты ступай домой. Не волнуйся за меня. Я сама с ним разберусь.

— Как же я могу бросить тебя здесь в таком состоянии? — сказал, тяжело вздыхая, старик. Чувствуя, насколько разбит, он снова бессильно опустился на бордюр тротуара.

— Как я хочу умереть, — вздохнула Муму.

На улице вновь воцарилась тишина, но не надолго. Дверь, за которой укрылись оба любовника, отворилась, и оттуда, из внутреннего дворика, вышел человек в спортивном пиджаке, обнимая за талию свою девушку. Они медленно прошли под окном Тиббела, нарочито не замечая ни Муму, ни ее отца. Старик грустно глядел на эту парочку. Они тесно прильнули друг к дружке.

— Юная дама, — торжественным тоном оратора сказал он, — не забывайте о моем предостережении. Обратите себе на пользу все события, свидетельницей которых вы неожиданно стали. Еще не поздно. Вернитесь домой, я говорю вам это, как друг.

— Послушай, старик, — человек в спортивном пиджаке, оставив в сторонке свою подругу, угрожающе подошел к отцу Муму, остановился перед ним со свирепым видом. — Мне уже надоел твой треп. Я не позволю никому разговаривать в подобном тоне перед...

— Оставь его, Эдуард, — сказала девушка, оттаскивая человека в спортивном пиджаке от них. — Уже слишком поздно, не стоит портить себе нервы и зря входить в раж.

— Я вас в упор не вижу, месье, — грубо сказал Эдуард, послушно следуя за своей девушкой.

— Позвольте, позвольте... — громко произнес месье Банари-Коинталь, оставляя за собой последнее слово. Пара любовников, завернув за угол, исчезла...

Тиббел еще немного понаблюдал за отцом с дочерью, искренне желая, чтобы они поскорее ушли с этого места, где прямо у порога его дома их настигло горе. Трудно будет заснуть после, он это знал, — но также знал, что эти две скорбящие, неудовлетворенные, мстительные фигуры все еще маячат на улице под его окном, ожидая самого ужасного, насильственного, последнего акта драмы.

Он уже хотел было отойти от окна, когда вдруг услыхал, как на улице с лязгом захлопнулась дверца автомобиля. Он его заметил еще раньше, когда тот припарковался возле самого дальнего угла дома. Тиббел увидел женщину в зеленом платье, которая быстро, большими шагами удалялась от машины, приближаясь к его подъезду. Автомобиль теперь на месте не стоял. Включив на всю мощность фары, он ехал за этой женщиной, которая то ли бежала, то ли быстро шла к Муму с отцом. Было ясно, что она спасалась бегством. В свете фар платье ее отливало лимонным оттенком, вспыхивало электрическими искорками.

Автомобиль — новенький «альфа-ромео джульетта», резко остановился. Женщина еще не дошла до старика, который по-прежнему сидел на бордюре тротуара и с подозрением смотрел, как она спешит к нему, сильно опасаясь, как бы эта незнакомка не стала еще одной беспокойной ношей, взваленной на его сутулые, ноющие плечи. Она кинулась к подъезду, но не успела нажать кнопку звонка. Мужчина в черном костюме, выскочив из машины, догнал ее и схватил за запястье.

Тиббел с удивлением следил за этими новыми событиями, разворачивавшимися у него перед глазами. Ему казалось, что эта его злополучная улица является определенной свыше сценой для различных конфликтов, подобно Ажинкуру или горному проходу Фермопил1, и столкновения здесь неизбежны, они будут следовать одно за другим постоянно, как бесконечный, без перерывов, киносеанс в течение двадцати четырех часов в сутки в кинотеатре.

— Нет. Так не пойдет! — приговаривал мужчина в черном костюме, оттаскивая свою спутницу от двери. — Так просто от меня не улизнешь.

— Оставь меня в покое, — крикнула женщина, снова попытавшись вырваться и убежать. Она задыхалась и, кажется, была сильно испугана. Тиббел все никак не мог решить, стоит ли ему, наконец, сбежать вниз по лестнице и принять участие в ночной жизни этой улицы, перед своим окном, превратиться в исторически запоздалого спартанца или же стать, спустя несколько столетий, рекрутом в армии короля Генриха.

— Я отпущу тебя, когда вернешь триста франков, — громко сказал человек в черном костюме. Тиббел при ярком свете зажженных фар видел, что это молодой, стройный мужчина с маленькими усиками, длинными, аккуратно приглаженными щеткой волосами, спадавшими сзади на его высокий белый воротничок. Он напомнил Тиббелу тех молодых людей, которых он видел в нескольких барах в районе площади Пигаль, и у него было лицо, подобно тем, которые видишь на фотографиях в газетах, когда в них сообщается об арестах подозрительных лиц после особенно тщательно спланированных ограблений ювелирных магазинов или заказных краж.

— Я не должна тебе никаких триста франков, — отрекалась женщина. Тиббел почувствовал, что она говорит по-французски с акцентом, вероятно, с испанским. Она и была похожа на испанку, с роскошными черными волосами, потоком спадающими на ее плечи, с широким, блестящим черным поясом, туго затянутым на ее тонкой талии. На ней была очень короткая юбка, и стоило ей сделать шаг, как открывались взору ее коленки.

— Не смей мне лгать, — предостерег ее человек в черном костюме, не выпуская ее запястья и сердито дергая ее за руку. — Я не собирался их тебе покупать. У меня в голове и мысли такой не было.

— А у меня в голове и мысли не было, что ты увяжешься за мной и будешь преследовать до самого дома, — огрызнулась женщина, пытаясь высвободить запястье. — Пусти, ты и так уже достаточно надоел мне за этот вечер.

— И не подумаю, покуда не получу обратно мои триста франков, — сказал он, больнее сжимая ей руку.

— Если ты меня не отпустишь, — сказала она, — я позову полицию.

Метнув в нее разгневанный взгляд, он выпустил ее руку, размахнувшись, дал ей звонкую пощечину.

— Да тише вы, тише, — сказал отец Муму, наблюдавший за этой сценой с каким-то мрачным интересом. Он встал. Муму, охваченная эгоистическим чувством собственного несчастья, вообще не обращала внимание на то, что происходит.

Человек в черном костюме и испанка стояли рядом, очень близко друг от друга, они тяжело дышали, и на лицах их было написано удивление, словно нанесенная только что пощечина порождала какую-то новую, неожиданную проблему в их отношениях и они никак не могли решить, что же им теперь в таком случае делать, что еще предпринять.

Молодой человек, поблескивая своими белоснежными зубами под тонкой полоской усиков, снова замахнулся.

— Одной вполне достаточно, — крикнула женщина, подбегая к отцу Муму, надеясь найти у него защиту. — Месье, — обратилась она к нему, — вы видели, как он меня ударил.

— Здесь плохое освещение, — ответил старик, даже в своем горе он, повинуясь инстинкту, не желал связываться с полицией. — К тому же в этот момент я отвернулся, смотрел в другую сторону. Тем не менее, — сказал он молодому человеку, который с угрожающим видом надвигался на испанку, — хочу напомнить вам, месье, что избиение женщины в определенных правоохранительных органах считается очень серьезным преступлением.

— Я отдаюсь под вашу защиту, месье, — сказала женщина, заходя за спину старика.

— Не беспокойтесь, — презрительно сказал человек в черном костюме. — Я не стану больше ее бить. Она не достойна моей вспыльчивости. Я хочу только одного — пусть вернет триста франков.

— Что можно сказать о человеке, — сказала испанка, укрывшись за широкой спиной Банари-Коинталя, — который покупает даме цветы, а потом требует, чтобы она вернула ему потраченные на них деньги?

— Чтобы все было предельно ясно, — сказал человек с усиками, — позвольте мне сказать, что я никогда не покупал ей ни цветочка. Когда я вышел в туалет, она сама взяла букет фиалок из корзины продавщицы, а когда я вернулся, та потребовала от меня заплатить за цветы триста франков, если я не желаю скандала, и я...

— Прошу вас, — сказал старик, вдруг невольно выражая интерес к этому случаю. — Все это сбивчиво, бестолково. Не будете ли любезны, не начнете сначала, все по порядку, может, тогда я смогу вам чем-то помочь.

Тиббел мысленно выражал старику благодарность за его стремление внести ясность в возникшую ситуацию, ибо без этого ему придется не спать всю оставшуюся ночь и вспоминать ту череду событий, которая привела к полуночной погоне и расправе. Тиббел никогда в своей жизни ни разу не ударил женщину и даже не мог себе представить, что он на такое способен, тем более за какие-то триста франков, то есть всего за шестьдесят центов на американские деньги.

— Позвольте мне восстановить весь ход событий, — сказал человек в черном костюме, стараясь опередить испанку, не дать ей рассказать свою версию, не позволить этой негодной женщине замутить чистый источник истины. — Так вот. Я увидел ее в баре. Она сидела, поджидая клиентов.

— Я никого там не поджидала, — горячо возразила она. — Я шла домой из кинотеатра и остановилась, чтобы выпить кружку пива в баре и отправиться спать.

— В конечном счете, — нетерпеливо продолжал человек в черном костюме, — ты ничего не имела против, чтобы я тебя взял.

— Никто меня не брал, — стояла на своем испанка.

— Послушай, если мы будем здесь уточнять термины: взял не взял, пригласил не пригласил, — то проведем на этой улице всю ночь до утра.

— Я позволила тебе заплатить вместо меня за кружку пива, — сказала женщина. — И мне нет никакого дела до того, каким грязным способом ты это интерпретировал.

— Но ты еще позволила мне заплатить триста франков за букетик фиалок, — сказал он.

— Да, я позволила тебе сделать такой жест, свойственный галантному кавалеру, — высокомерно ответила она. — В Испании именно так поступают все истинные джентльмены.

— Ты также позволила мне усадить тебя в мой автомобиль, — сказал человек в черном костюме, — потом ты позволила себе возбудить меня поцелуем в губы.

— Ну, знаете ли, — драматичным тоном возразила испанка, поворачиваясь к отцу Муму. — Это явная, вдохновенная ложь.

— Нет, это не ложь, — сказал человек в черном костюме. — Если это ложь, то что же это такое? — Резким жестом руки он, ухватившись за кончик накладного воротника, сорвал его с шеи. Поднес его к глазам месье Банари-Коинталя.

Старик, наклонившись, смотрел на него в упор своими подслеповатыми глазами.

— Что там? — спросил он. — Здесь ужасно темно. Ничего не видно.

— Губная помада, — сказал человек в черном костюме. — Вот, смотрите. — Взяв старика за руку, он подвел его поближе к зажженным фарам. Оба они низко наклонились перед ними, чтобы как следует разглядеть его воротничок. Месье Банари-Коинталь выпрямился.

— Да, никаких сомнений, это губная помада, — вынес он свой вердикт.

— Ага! — воскликнул человек в черном костюме, бросая на испанку сердитый взгляд одержанного триумфа.

— Это не моя, — хладнокровно сказала она. — Кто знает, где этот месье проводит свое свободное время и сколько раз в неделю он меняет рубашки?

— Предупреждаю, — сказал он, закипая от гнева, — я рассматриваю это заявление как личное оскорбление. — Голос у него охрип от охватившей его ярости.

— Какая мне разница, чья это губная помада? — сказала женщина с тем же равнодушием. — Ты мне не понравился. Я хотела только одного, как можно скорее добраться до дома. Одна.

— Ах, — тяжело вздохнула Муму, наконец, «включившись», — как приятно возвращаться домой одной. Но это просто невозможно.

Все теперь, включая и отца Муму, с озадаченным видом глядели на темную женскую фигурку на фоне стены, словно это какая-то статуя вдруг произнесла перед ними загадочные слова.

— Мой дорогой месье, — благоразумно начал Банари-Коинталь, обращаясь к человеку в черном костюме. — Нужно сказать, что эта дама все толково объяснила. — Он слегка поклонился испанке, и та вежливо кивнула ему в ответ. — Она ведь просит так немного. Просто с миром вернуться домой. По-моему, это не такая уже невыполнимая просьба.

— Она может идти, куда ей заблагорассудится, хоть к чертовой матери, — сказал человек в черном костюме, — но только после того, как вернет мне мои триста франков.

Лицо старика сморщилось из-за явного осуждения этого человека. Довольно суровым тоном он сказал:

— Месье, я несколько удивлен. Такой видный месье, как вы, владелец такого дорогого автомобиля наивысшего класса, — он провел рукой по сияющей крыше маленького итальянского автомобиля, — из-за каких-то трехсот франков поднимает здесь весь...

— Дело не в трехстах франках, — перебил его человек в черном костюме. Голос у него, казалось, вот-вот сорвется из-за нервного перевозбуждения. Еще бы — его обвинили в скаредности! — И дело даже не в какой-то сумме денег, пусть она будет хоть пятьдесят тысяч. Дело — в принципе. Меня увели, меня, как я уже сказал, возбудили, меня заставили растратить свои деньги, — сумма здесь абсолютно не имеет никакого значения, уверяю вас, месье, — и все это было сделано из-за ее продажности и под ложным предлогом. Я щедрый и разумный человек, но я не позволю какой-то шлюхе строить из меня циничного идиота!

— Тише, тише, — пытался урезонить его старик.

— Больше того. Вы взгляните на ее руку! — Человек в черном костюме, схватив испанку за руку, поднес ее к глазам месье Банари-Коинталя. — Вы видите? Обручальное кольцо! Эта шлюха к тому же и замужем!

Тиббел, очарованный этой перебранкой, внимательно выслушивал все стороны, но никак не мог понять, почему замужество этой девушки так сильно разгневало человека в черном костюме. Поразмыслив над этим, он пришел к выводу, что все это, по-видимому, связано с его прошлым: он, может, когда-то пережил сильнейшее разочарование с какой-то замужней женщиной, и из-за нее так болезненно реагирует на эту тему. Эти горькие воспоминания лишь еще сильнее распаляли его гнев.

— Может ли быть большее бесчестье на свете? Испанская шлюха с обручальным кольцом на пальце!

— Ладно, достаточно, — авторитетным, властным тоном сказал месье Банари-Коинталь, когда вдруг неожиданно эта женщина разрыдалась. Сколько уже пришлось старику вынести женских слез за ночь, уму непостижимо, и этот новый поток заставил его вспылить. — Я больше не позволю вам произносить подобные слова в присутствии дам, тем более, что одна из них — моя дочь, — грозно сказал он человеку в черном костюме. — Я прошу вас немедленно уйти.

— Я уйду только после того, как получу свои триста франков назад, — упрямился тот, нарочито скрестив руки на груди.

— Вот, возьмите, — Банари-Коинталь, сердито порывшись в карманах, извлек оттуда несколько монет. — Вот, возьмите ваши триста франков! — Он швырнул их в человека в черном костюме. Они, стукнувшись о его грудь, со звоном упали на мостовую. Проявляя необычную ловкость, человек в черном костюме, наклонившись, быстро собрал все монеты и швырнул их обратно в лицо месье Банари-Коинталю.

— Если не поостережетесь, месье, — с достоинством сказал старик, — то можете схлопотать по носу.

Человек в черном костюме, подняв к груди руки, сжал кулаки. Теперь он стоял в позе английского борца начала первой половины восемнадцатого столетия, ведущего бой без перчаток, голыми руками.

— Ну, я готов к атаке, месье, — официальным тоном сказал он.

Теперь рыдали обе девушки, причем с каждой секундой все громче.

— Хочу предупредить вас, месье, — сказал Банари-Коинталь, делая шаг назад, — мне шестьдесят три года, у меня больное сердце, кроме того, я ношу очки, как вы сами видите. Полиции будет интересно задать вам несколько щекотливых вопросов, если произойдет несчастный случай.

— Полиция! — воскликнул человек в черном костюме. — Отлично. По-моему, это первое разумное предложение за ночь. Я приглашаю всех вас в свою машину, и вы проводите меня до комиссариата.

— Я ни за что не сяду в его автомобиль снова, — испуганно сказала испанка.

— Я ни на шаг, ни на дюйм не отойду от этого места, — вторила ей Муму, — покуда сюда не вернется Рауль.

За спиной Тиббела раздался какой-то звонок, и он, только сейчас догадался, что это телефон и что он, по-видимому, звонит уже довольно долго. Он, спотыкаясь в темной комнате, подошел к телефонному аппарату, снял трубку. Голоса за окном утратили свою отчетливость, и теперь до него доносилось лишь неразборчивое гудение в ночном прохладном воздухе. Интересно, кто это ему названивает в столь поздний час?

— Хэлло, — сказал он в трубку.

— Это Литтре, 2576? — чей-то нетерпеливый женский голос потрескивал в трубке.

— Да, — ответил Тиббел.

— Вы вызывали Нью-Йорк, — сказала оператор. — Он на линии.

— Ах, да, — сказал Тиббел. Он совсем забыл, что заказал разговор с Бетти. Он хотел взять себя в руки, вернуть то радостное, нежное настроение, в котором пребывал пару часов назад, когда решил позвонить ей. — Да, жду.

— Минуточку, пожалуйста. — Там, где-то над Атлантикой, гремели электрические разряды, и в трубке ужасно трещало. Тиббел оторвал ее от уха. Он все время пытался понять, о чем говорят там, за окном, на улице, но ничего не мог разобрать. Он услыхал только шум заводимого мотора, резкий рывок с места автомобиля, который помчался вниз по улице.

Он стоял рядом с полкой книг этого немца, прижав к щеке телефонную трубку, вспоминая, что он хотел сказать Бетти. Ах, да! Он хотел сказать ей, как ее любит, как скучает по ней, и если беседа пойдет в желанном для него направлении, то ему за три минуты разговора придется ухитриться и сказать ей, что хочет на ней жениться. Он вдруг осознал, как тяжело дышит, как разные мысли сталкиваются у него в голове, сбиваются в кучу, сбивают его с толку, и он никак не мог придумать первую подходящую фразу. У него в голове все время звенели слова этого человека в черном костюме: «Может ли быть большее бесчестье на свете? Испанская шлюха с обручальным кольцом на пальце!»

— Минуточку еще, пожалуйста, — сказал американский голос. — Мы пытаемся связаться.

В трубке снова раздался треск, и Тиббел поднес ее к другому уху. Он все время пытался разобрать, о чем говорили там, внизу, под его окном, и вытолкнуть из сознания эту досаждавшую ему фразу об обручальном кольце.

— Мисс Томпсон нет дома, — сообщил ему тот же американский голос четко и властно. — Она оставила записку, что вернется приблизительно через час. Будете возобновлять заказ?

— Я... Я... — Тиббел колебался, не зная, что ответить. Вдруг он вспомнил о предостережении старика той девушке, которая целовалась со своим любовником в подъезде: «Обратите себе на пользу все события, свидетельницей которых вы неожиданно стали».

— Вы меня слышите, сэр, — резкий голос доносился до него из Нового Света. — Мисс Томпсон будет дома через час. Вы намерены повторить заказ?

— Я... нет, — наконец вымолвил он. — Прошу вас, отмените заказ. Я позвоню ей как-нибудь в другой раз.

— Спасибо. — Щелчок. Америка отключилась.

Тиббел медленно опустил трубку на рычаг. Подождав немного, подошел к окну, выглянул из него, посмотрел вниз. На улице было тихо, ни души. Горный проход Фермопилы открыт, все трупы убраны. Поле сражения в Ажинкуре уже тосковало по плугу. Незаконченный, не поддающийся завершению, не поддающийся решению конфликт вместе с запутавшимися вконец оппонентами ускользнул от него, погрузился в темноту, и теперь слышались лишь мимолетные предостерегающие слабые отзвуки, во мгле мелькали призраки с предупредительно поднесенными пальцами к пустой щели вместо губ.

Вдруг Тиббел увидел фигуру человека. Он осторожно крался по той стороне улицы, прижимаясь к стенам зданий. Это был Рауль. Он вышел на круг света от уличного фонаря, чтобы осмотреть свой мотоцикл.

Пнул ногой стеклянные осколки от разбитой фары на мостовой. Помахал кому-то рукой на углу. К нему подбежала девушка в белом подвенечном платье, которое весело, танцующими искорками поблескивало на темной улице в свете фонаря. Забравшись на заднее сиденье, она ласково, с любовью, обвила руками его талию и тихо засмеялась. Ее легкий, веселый смех долетел через окно до ушей Тиббела, приятно его возбуждая. Рауль завел свою «Веспу», и она издала обычный громкий, но не на всю мощь, рык, словно заявляя о своей притворной важности. Мотоцикл без переднего света помчался вниз по улице, а белое подвенечное платье девушки исполняло какой-то диковинный танец, развеваясь на ветру, и вскоре «Веспа», наклонившись в сторону, исчезла за дальним углом. Тиббел, вздохнув, молча пожелал невесте удачи.

Где-то внизу раздался скрип ставни.

— Испанцы, — проговорил чей-то заспанный, тусклый голос. — Ну что взять с них, с этих испанцев?

Ставня скрипнула снова, и голос смолк.

Тиббел закрыл ставни на своем окне. Вернувшись от окна на свое место в темной комнате, он думал о том, как должен быть благодарен себе за то, что за своим образованием все же поехал в Эксетер и Суортмор.

ОДНАЖДЫ В АЛЕППО

Это — рассказ о давно минувших днях, об историческом периоде, когда в Соединенных Штатах был принят «сухой закон» и там же появилось общество «Анонимных алкоголиков», о давно минувших днях, когда нужно было затратить недели, чтобы добраться до любого места на карте, когда еще и в помине не было реактивных лайнеров, способных доставить вас вовремя в нужную точку, чтобы поспеть к обеду, когда вы с удивлением слышали, что ваш друг оказался в Арле, Сибири или Джибути, когда колониализм был скорее тяжкой ношей для белого человека, чем бранным словом, когда мы все считали своей обязанностью нести слово Божие язычникам, чтобы не дождаться такого времени, когда сами эти язычники будут заталкивать это Слово назад в наши глотки.

Главная авеню Алеппо1 сияла на солнце. Обычная полуденная сиеста только что закончилась, и в кафе посетители в фесках потягивали из крошечных чашечек приторно сладкий кофе. Жирный турок с усами, еще до конца не проснувшись, посасывал трубку кальяна. Когда возле его рта приземлялось более трех мух, он лениво подымал свою безвольную ото сна руку и резко, добродушно отгонял их.

Какая-то босая женщина в черном прошаркала мимо, неся на голове прямоугольную корзину из сахарного тростника, в которой сидели пять жалких цыплят, прикрытые сверху россыпью роз и крупными листьями папоротника.

Стэнфорд Лавджой, в своем отлично отутюженном белом костюме и шлеме от солнца, медленно прогуливался по тенистой стороне улицы, мягко улыбаясь, глядя на то вспыхивающую, то замирающую уличную жизнь в этом городе в пустыне. Маленький, тихий человек, каждый раз, когда он проходил по городу, между грязными, подвижными, как ртуть, детишками, маленькими осликами, волокущими на своей спине воз люцерны или связку арбузов, между высокими, стройными арабами в блестящих на солнце белых бурнусах, отороченных черной тесьмой, похожими на возничих колесниц или пиратов, явившихся сюда из какого-то забытого мира, он чувствовал в своих жилах приятный зуд авантюризма. «Как далеко все же занесло меня, — звенело у него где-то глубоко в подсознании, — как далеко все же занесло меня из родного штата Вермонта».

Он только что завершил учебный год в школе их миссии, где преподавал английский арабским детишкам, и каждый раз, открывая двери в свой класс, он испытывал восторг от сознания исполненного долга, когда снова видел перед собой эти вежливые, пытливые маленькие лица, слышал их гортанные арабские голоса, когда они здоровались с ним: «Как поживаете, мистер Лавджой?» по-английски, с тем же, как и у него, неискоренимым гнусавым выговором, который он подцепил навсегда, навечно, в своем Вермонте. У него в классе никогда не было никаких безобразий, которых всегда можно было ожидать от таких же учеников там, в Америке. Хотя он был невысокого роста, у него был громкий, внушительный голос, и к тому же еще очень впечатляющий широкий лоб, средоточие его власти и авторитета. Сейчас он был похож на Сэмюэла Джонсона1 в молодости, но он не терял все же надежду, что в один прекрасный день станет вылитым сэром Уолтером Рэли2.

Верблюд, нагруженный большими ноздреватыми кувшинами, покачиваясь, медленно шел мимо него, не уступая ни дюйма своей дороги тяжело нагруженному автобусу, который, заскрежетав тормозами, остановился на углу, пропуская вперед этот корабль пустыни.

Какой-то фермер, превратившийся на один день в торговца, продающего кроликов местному населению, держал за длинные уши на вытянутой руке самца, демонстрируя все его достоинства продавцу ковров, решившему сделать покупку. Они ударили по рукам. Фермер, тут же задрав кролику голову на спину, полоснул острым ножом по горлу и бросил его на тротуар, чтобы вытекла вся кровь. Ковровщик заплатил ему деньги, и когда дергавшийся кролик затих, он поднял его и понес в свою лавку, чтобы приготовить себе обед. «Боже, как все это непохоже на Вермонт», — опять зазвенело у него в голове. Когда он закончил учебу в колледже и получил степень бакалавра, один его родственник в Калифорнии предложил ему работу на своем цементном заводе, с неплохой для начала зарплатой и весьма соблазнительными перспективами быстрого повышения по службе. Лавджой почти уже согласился, но вдруг появилась возможность поехать в Алеппо, и он написал своему кузену письмо, поблагодарив за предложение и вежливо его отклонив.

«Я знал двух или трех арабов, — написал ему в ответ кузен, — это грязные, зараженные какой-нибудь болезнью люди, у которых нет абсолютно никакого желания учить английский. Они вполне обходились без твоей помощи, жили в полном невежестве, по горло в грязи, целых пять тысячелетий, и, как мне кажется, проживут еще столько же точно в таком же состоянии, как прежде. Кроме того, хочу сказать тебе, что только после встречи с твоей теткой Сарой, которая сказала мне, что ты такой бедный, такой несчастный парень, у которого нет почти никаких шансов пробиться в одиночку, без посторонней помощи в этом мире, я согласился предложить тебе это место на моем заводе, который, кстати, является одним из самых быстроразвивающихся предприятий в этой самой быстроразвивающейся отрасли промышленности в стране.

Любой человек, готовый променять Калифорнию на Сирию, а калифорнийцев на бедуинов, мгновенно утрачивает все мои симпатии. Я не стану делать тебе во второй раз такое предложение. Остаюсь твой...»

Это письмо оставило неприятный осадок в душе Лавджоя, но приехав в Алеппо, он никогда не жалел о своем решении. Он учил арабский язык, познавал мистический сложный образ жизни на Среднем Востоке. Вокруг него простирались необозримые поля истории, возделанные людьми, умершими многие тысячелетия назад; кругами, утратившими представление о времени, уходила вдаль пустыня, персидские горы, чудесная долина Нила. К востоку лежала Индия... Назревали великие события, и для человека, знавшего местный язык, всегда было уготовано прочное, важное место среди этих немногословных, невозмутимых людей арабоязычного мира. Лоуренс Аравийский1 начинал точно так, как и он. Еще два года, закончится контракт, он выучит все, что только можно выучить, и потом спокойно вернется в Америку. Он уже ясно видел перед собой такую картину: большой, черный лимузин подъезжает к его дому в Вермонте, сумасшедшая, тайная гонка в ночи, полет чартерным рейсом в Вашингтон, кабинет с опущенными шторами, желтый электрический свет, отражающийся на знаменитых, хорошо всем известных лицах.

— Мистер Лавджой, вряд ли стоит лишний раз напоминать вам, что предстоит весьма деликатная миссия. Вы знаете эту проблему гораздо лучше всех нас...

Два маленьких мальчика выбежали из лавки. Они резко остановились, чуть не врезавшись в него, держа друг друга за руки. Это были его ученики, правда, не такие чистые и опрятные, какими они обычно приходили на занятия в класс.

— Добрый вечер, мистер Лавджой, — пропели они в унисон на своем арабском английском с вермонтским акцентом. — Мы себя чувствуем очень хорошо, все в порядке, большое вам спасибо. — Громко захихикав, они бросились наутек и затерялись среди стада овец с жирными курдюками, помеченных красной краской для забоя по случаю священного праздника Рамадан.

Лавджой зашел в маленькую книжную лавку. Там продавались старые экземпляры американских журналов «Лайф», «Лук», «Клик» и «Сэтердей ивнинг пост», два перепутанных собрания сочинений Диккенса, множество книг Г. Д. Уэллса, Виктор Гюго, Колет2, Мишле3, — очень много их книг на французском, не считая целых гор уцененных французских романов в тонких обложках. Большая куча арабских журналов была сложена в одном углу небольшого магазинчика, шесть экземпляров «Речной антологии» Спуна и один экземпляр «Смерти после полудня» лежали между двумя гипсовыми бюстами Бетховена, тоже выставленными на продажу. Среди биографий Наполеона, Шелли и Джона Д. Рокфеллера лежали «Капитал» Маркса и целая библиотечка книг с изъеденными краями страниц по физиологии и хирургии на немецком языке, Ленин, Толстой на русском и один экземпляр сборника «Лучшие английские короткие рассказы 1927 года», гипсовые копии статуэток, найденных в пирамидах, небольшие красно-голубые вазы, а также обломок истинного Креста Иисуса в коробочке на вельветовой подушечке.

На стене висели семь ковриков, которые можно было здесь приобрести за вполне приемлемую цену.

И там, конечно, еще была и Айрина.

Она стояла в углу, склонив свою светлую белокурую головку над гроссбухом. Каждый раз, как только он смотрел на нее, на ее хрупкую фигурку, на ее скромный вид, на ее тревожащую душу красоту, у него всегда падало сердце. Он тихо подошел к ней, целиком поглощенной цифрами счетов, сзади, взял за руку, поднес ее к своим губам и крепко прижал к ним.

Айрина испуганно отскочила в сторону.

— Стэнфорд, — воскликнула она своим тихим, музыкальным, по-русски мелодичным голосом среди этих пыльных книг на шести языках. — Как ты можешь позволять себе такое!

— Но здесь же никого нет, — оправдывался Лавджой, нежно улыбаясь ей.

— Сюда могут войти в любую минуту, — Айрина испуганно посмотрела на дверь.

— Ну и что из этого?

— Я так и знала, что это рано или поздно произойдет, — плаксивым тоном сказала она, отворачиваясь от него и закрывая ладонями лицо. — Ты меня больше уже не уважаешь. Я тебя, конечно, в этом не виню. Мужчину нельзя ни в чем упрекать.

— Я не уважаю тебя, откуда ты взяла? — пылко сказал Лавджой. — Уважаю от всего сердца.

— Слова, слова, — сказала Айрина. — Слова. Я знала, что это произойдет. Я теперь должна во всем винить только саму себя, больше никого. Нам нужно расстаться.

— Айрина, — сказал он, стараясь быть серьезным, но не показывая вида, что он расстроен таким отношением к нему. Она часто страдала от припадков деликатности и потом сожалела обо всем по нескольку раз на день, после чего регулярно ходила в церковь исповедоваться. Ее сомнения, все эти девичьи эксцессы чувствительности делали ее в глазах Лавджоя еще куда более желанной, да он и не был таким человеком, которого можно было бы упрекнуть в дурном поведении. Они были знакомы с Айриной целых восемь месяцев, и только после этого испытательного срока она позволила ему взять ее за руку, а потом, когда он впервые овладел ею, рыдала целых три часа кряду.

— Айрина, — сказал он для ее большей уверенности, — я отношусь к тебе с таким уважением, как к родной матери.

Айрина, повернувшись к нему, нежно ему улыбнулась. Губы ее дрожали, глаза подернулись туманной пленкой.

— Ах, как все же трудно быть женщиной, — сказала она.

Лавджой улыбнулся ей в ответ, и она позволила ему легонько прикоснуться к ее руке. Он достал из кармана бумажник, вытащил из него деньги и передал их ей.

— Мое сердце разрывается на куски, — сказала она, засовывая бумажки под лифчик, удерживающий ее маленькие, но такие невыразимо приятные груди, — когда я беру у тебя деньги, Стэнфорд. Но мой несчастный отец...

— Что ты, — промычал в ответ Лавджой, — мне это доставляет удовольствие.

Отец Айрины был белым русским офицером. Он остался в России, а Айрине с матерью удалось бежать от революции. Он был слишком гордым и решительным человеком, чтобы заставить себя работать на красных, поэтому Айрине приходилось высылать ему каждый месяц немного денег, чтобы он с такой гордыней не умер от голода.

— Это доставляет мне большое удовольствие, — повторил Лавджой, хотя в этот раз он соскребал со своего счета последнее, то, что осталось на донышке. — Ты не заглянешь ко мне часиков в девять, дорогая?

— Сердце мое разрывается на куски, — прошептала Айрина, — вдруг меня увидят, начнут подозревать.

— Никто тебя не увидит, не бойся.

— Ладно, дорогой мой Стэнфорд, в девять тридцать, — сказала Айрина, награждая его печальной славянской, скромной улыбкой, свидетельствовавшей о ее капитуляции и одновременно обещавшей море невыносимо приятного сладострастия. — В это время будет темнее.

Лавджой, торопливо оглядевшись по сторонам, чмокнул ее в щечку.

— Боже, прости меня грешную, — скорбным тоном произнесла Айрина, — ты на самом деле необузданный парень...

— Девять тридцать. — Лавджой, помахав ей рукой на прощание, вышел из этого литературного логова на ярко освещенную солнцем улицу. Теперь он думал только об одном, о свидании с Айриной в девять тридцать вечера, он улыбался, весело насвистывая, и быстро шагал между нищими, продавцами плодов манго, торговцами скотом и сводниками. В конце улицы находилась маленькая площадь, окруженная крошечными кафе. Лавджой увидел толпу, стоявшую полукругом перед самым большим, самым запоминающимся кафе. Сгорая от любопытства, он ускорил шаг. Может, произошел несчастный случай с каким-нибудь американцем или с одним из его учеников...

Добравшись до густой толпы, он остановился, улыбаясь. Оказывается, шло уличное представление. Такого, по его твердому убеждению, он еще никогда не видел. Двое внушительных габаритов, сильных, мускулистых мужчин с голыми коленками, в шортах и футболках, совершали какие-то замысловатые сложные трюки на двух блестящих никелем велосипедах. Третий, довольно щупленький человек, тоже в футболке, с маленькой шелудивой обезьянкой на плече, стоял в стороне, держа за раму третий поблескивающий на солнце велосипед. На спинах всех темно-зеленых футболок золотыми большими буквами было написано: «Кафе «Анатоль Франс», Пляс Пигаль». На футболке одного из двух гигантов на груди стояли большие цифры 95, как у футболиста на поле. На груди у второго — цифры 96. На футболке маленького был нарисован знак «Зеро». Все они были побриты наголо, а их лоснящиеся головы сияли на ярком солнце.

Два артиста кружили по маленькому кругу перед кафе, и передние колеса их велосипедов вертелись на своих втулках одновременно, на одном уровне, словно сцепленные, и все зрители с восхищением уважительно вздыхали. С обнаженных, блестящих голов артистов на лицо ручьями скатывался пот, а они, пыхтя, энергично работали педалями, широко и размашисто, не теряя приятного расположения духа.

Номер девяносто пять, ловко соскочив со своего велосипеда, с беззаботным, веселым видом энергично толкнул его в сторону маленького человечка с обезьянкой на плече. Велосипед со скрипучим звуком врезался передним колесом ему в голень, и тот скривился от острой боли, но все же, пересиливая ее, машинально улыбался публике. Для большей забавы зрителей обезьянка дергала его за ухо лапой.

Номер девяносто шесть продолжал совершать круги по каменным плитам, и его голые коленки и никелированные части велосипеда поблескивали на солнце.

— Алле, — крикнул номер девяносто пять громким, гудящим голосом. Он стоял, вытянув вперед руки, такой крупный, широкоплечий, что его выпиравшие мышцы, казалось, вот-вот разорвут по швам его футболку, и его мощная фигура выделялась на фоне стройных, тощих арабов.

Номер «Зеро», усадив удобнее обезъянку на плече, бросил номеру девяносто пять мешочек с магнезией. Девяносто пятый обильно посыпал ею себе руки, растер их, а девяносто шестой в это время беспрерывно совершал на велосипеде легкие круги. Публика наблюдала за его действиями с возрастающим интересом.

Лавджой воспринимал все, что происходило у него перед глазами, с восторгом, хотя представление его немного озадачивало. «Восток, что поделаешь, — размышлял он, — здесь можно ожидать чего угодно, любого сюрприза. Он на выдумку горазд!»

Наконец, девяносто пятый, натерев как следует белым порошком руки, небрежно бросил через плечо мешочек и снова крикнул своим низким, гудящим голосом: «Алле!»

Номер «Зеро» кинулся вперед, но педаль его велосипеда больно, со скрежещущим звуком скользнула по его лодыжке, а перепуганная его резким движением обезьянка схватилась лапой за его нос, чтобы не упасть. Его лицо на мгновение исказилось от острой боли, в глазах мелькнул упрек, но он, изловчившись, все же схватил брошенный мешочек на лету, потом выпрямился, оторвал обезьянью лапу от носа и, сразу успокоившись, бесстрастно стал наблюдать за цирковым представлением.

— Ты готов, Сен Клер? — заорал номер девяносто пять так громко, словно его партнер находился от него на расстоянии полумили.

— Готов, Ролан, — хрипло промычал номер девяносто шесть, резко набирая скорость.

— Алле! — загудел девяносто пятый, словно пароходный гудок в ненастную ночь.

Номер девяносто пять, напрягшись всем телом, вдруг подскочил высоко в воздух, мелькнув на белом фоне мечети на противоположной стороне площади. В своем полете он был похож на ловкого песца, выкрашенного в зеленый цвет. Он приземлился на плечи девяносто шестого с удивительно мягким шлепком и тут же развел руки широко в стороны, словно лебедь крылья, и на еще потном, волевом лице появилась открытая привлекательная улыбка триумфатора.

— Ради Христа, Ролан! — взмолился девяносто шестой, неистово вертя педалями, чтобы удержать равновесие своего рыскающего велосипеда и не упасть. — Оставь мое ухо!

Но девяносто пятый молчал. Он просто величаво, гордо стоял на плечах партнера, прямой и честный, напоминая собой мощное розовато-зеленое изваяние, поблескивающее на фоне белого камня и белоснежных бурнусов, а зубы его тоже блестели как никогда.

Публика разразилась громкими аплодисментами, троица маленьких полуголых детишек пустилась в пляс прямо рядом с кружащимся по площади велосипедом со своим тяжелым грузом, а перепуганные родители быстро оттащили беспечных танцоров назад.

— Алле! — крикнул девяносто шестой таким громким голосом, что он запросто мог бы пробить любую плотную пелену тумана.

— Алле! — подхватил за ним девяносто пятый, и в мгновение ока, в отчаянном, поразительном прыжке, вдруг перевернулся вверх тормашками и через мгновение уже стоял на голове своего партнера, а его большие, мясистые ноги, застыв, уперлись, казалось, вытянутыми носочками в ярко-голубое безоблачное небо.

Девяносто шестой тут же убрал руки с руля, и теперь они быстро ездили кругами по площади в странном, опасном положении и были похожи на какой-то трясущийся неустойчивый громоздкий памятник, поставленный в честь отваги Человека и достигнутой им поставленной перед собой цели.

— Браво! — без особого энтузиазма крикнул номер «Зеро». — Браво!

Толпа зашумела, выражая свое полное одобрение, а Лавджой громко хлопал в ладоши, улыбаясь этим отчаянным акробатам. Девяносто пятый, застывший на голове партнера, смело описывал своими ногами круг за кругом на фоне сирийского неба. Стоя на голове, он посмотрел на Лавджоя, широко улыбнулся, озорно подмигнул ему и, когда, совершая следующий круг, снова поравнялся с ним, крикнул ему:

— Привет, приятель. Жду тебя после представления в франко-сирийском баре!

Лавджой стыдливо улыбнулся, — ему было приятно от внимания, оказанного одним из артистов, но оно его и смущало. Через несколько секунд девяносто пятый, совершив потрясающий прыжок, приземлился; он стоял на земле, выпрямившись во весь рост, такой ловкий, подвижный, эластичный, и всем радушно улыбался; девяносто шестой тоже на ходу спрыгнул с велосипеда, и теперь они стояли рядом, и оба кланялись публике. Потом, с широкими дружескими улыбками на лице, они смешались с толпой, раздавая свои фотографии размером с почтовую открытку.

Девяносто шестой подарил одну Лавджою, похлопав его по плечу своей тяжелой мускулистой рукой. Лавджой посмотрел на фото. На ней эти оба бесшабашных смельчака были изображены в самый опасный момент своего представления. Девяносто пятый стоял на своей голове на голове девяносто шестого на фоне больших темных облаков. «Ролан и Сен Клер Калониусы, — прочитал он подпись. — Вокруг света на двух колесах. Послы доброй воли. Поразительная смелость и отвага! Нечто из ряда вон выходящее!»

Когда он разглядывал фотографию, братья Калониусы сели на свои велосипеды и, удерживая руками третий велосипед между ними с сидевшей на свободном сиденье обезьяной, быстро помчались вниз по улице.

— Четыре пиастра, пожалте, — услыхал Лавджой чей-то голос. Он огляделся. Перед ним стоял номер «Зеро» с обеспокоенным видом, протягивая к нему руку. — Четыре пиастра, пожалте, — повторил номер «Зеро».

— За что же? — спросил Лавджой.

— За фотографию отважных братьев Калониусов, пожалте.

У номера «Зеро» был какой-то тягучий балканский акцент, да и лицо у него напоминало жителя Балкан, этой земли скорбей и печали, земли, которая не знала ничего другого, кроме войн, голода и вероломных, не умеющих хранить верность царей за пятнадцать столетий истории.

— Мне не нужна фотография братьев Калониусов, — сказал Лавджой, пытаясь вернуть «Зеро» открытку.

— Никак нельзя, пожалте. — Тень новой печали промелькнула на лице номера «Зеро», такая быстрая, как взмах крыльев летучей мыши, и он тут же заложил руки за спину, чтобы лишить Лавджоя любой, даже самой случайной возможности всучить ему обратно фотографию.

— Вы ее взяли— все. Четыре пиастра, пожалте... — Какое у него упрямое, отчаянное, смуглое лицо под этим сияющим на солнце лысым черепом!

Ничего не поделаешь. Лавджой вытащил из бумажника четыре пиастра и отдал их номеру «Зеро». Тот молча их взял и направился к следующему клиенту. Лавджой аккуратно засунул фотографию в бумажник. Со следующим клиентом у «Зеро» тоже начались препирательства, но Лавджой заметил, что артист получил все же свои четыре пиастра. На лицах владельцев фотографий братьев Калониусов, сидевших за столиками в кафе, блуждало мрачное, не обещавшее ничего хорошего выражение. Опасаясь насилия, Лавджой поспешил вниз по улице. Для чего ему ввязываться в ссору, для чего принимать участие в том, что он всегда считал неизбежным столкновением между Востоком и Западом, причем Запад был куда лучше вооружен.

— Четыре пиастра, пожалте, — снова услыхал он свистящий, настойчивый голос за спиной, когда подходил к франко-сирийскому кафе.

К столику на террасе были прислонены все три велосипеда, а двое братьев Калониусов сидели, все еще в поту, и пили пиво.

— Ролан, — громко гудел Сен Клер, — если ты еще раз наступишь мне на ухо, я сломаю тебе лодыжку.

— Издержки профессии, понимаешь? — сердито заорал на него Ролан.

— Не нужны мне твои проклятые издержки профессии! — Сен Клер, наклонившись над столиком, с ненавистью уставился в глаза брата. — Нужно смотреть, куда ты ставишь свою ногу, будь она трижды проклята!

Обезьяна дернула его за штанину, и Сен Клер расплескал из кружки пиво. Эта шалунья тут же ловко забралась на сиденье велосипеда, и оба брата, добродушно рассмеявшись, заказали себе еще по кружке.

— Прошу простить меня, джентльмены, — сказал, подходя к ним, Лавджой.

— Если ты американец, — сказал девяносто шестой, — то присаживайся.

— Да, я американец.

— Садись! — Номер девяносто пять, махнув рукой бармену, заказал еще пива. — Ну, я так и подумал, когда увидел тебя. Хотя, конечно, трудно что-нибудь разобрать, стоя на голове. — Он радушно засмеялся и подтолкнул локтем Лавджоя, по-видимому полагая, что отколол скабрезную шутку.

— Ну, что ты скажешь о нашем представлении? — спросил девяносто шестой.

— Чрезвычайно...

— Никто еще ничего подобного на велосипеде не делал, — перебил его девяносто пятый. — Мы с братом презираем все законы тяготения. — Где, черт бы тебя побрал, наше пиво? — завопил он по-французски маленькому, смуглому официанту, который тут же сорвался с места.

— Какой милый все же городок, — сказал девяносто шестой. — Ну-ка повтори, как он называется?

— Алеппо, — сказал Лавджой.

— Алеппо, — повторил девяносто пятый. — Он лежит далеко в стороне от нашего маршрута?

— А куда вы едете? — поинтересовался Лавджой.

— В Китай, — ответили ему братья в один голос. — Где же, черт подери, наше пиво? — Их разъяренные громкие голоса звенели над столиками, заставляя всех официантов носиться с такой скоростью, с какой они никогда здесь не перемещались за последние пятнадцать лет.

— Ну... — начал Лавджой.

— Меня зовут Сен Клер, — сказал девяносто шестой. — Сен Клер Калониус. А это — Ролан.

Они пожали ему руку с такой силой, что она онемела.

— Меня зовут Стэнфорд Лавджой.

— Какого черта ты здесь делаешь? — спросил Сен Клер.

— Служу при миссии.

— Много крошек в городе? — спросил Ролан, озираясь, по-видимому, будучи сильно сексуально озабочен.

— Что-что?

— Крошек. Крошек.

— Ах, да, — «врубился», наконец, Лавджой. — Здесь есть молодые девушки, но у них очень строгие матери. Типичный французский стиль.

— Для чего только мы уехали из Каира, никак не пойму! — вздохнул Ролан.

— Но все равно муж этой гречанки вот-вот должен был вернуться, в любом случае, — успокаивал его Сен Клер. — А мне нравится этот городок. Как, ты сказал, зовут...

— Лавджой.

— Да не тебя, Стэнфорд, а город.

— Ах, прошу простить, — Лавджой, попав под перекрестный огонь этой громовой беседы, немного ошалел. — Алеппо.

— Здесь вообще-то что-нибудь происходит?

— Ну, во время крестовых походов тут был...

— Я имею в виду по ночам.

— Ну, знаете ли, — ответил Лавджой, — я веду очень тихую, неприметную жизнь...

— Поставь пиво сюда, — приказал Ролан официанту на весьма приблизительном французском, — и тащи еще три кружки.

Они подняли кружки.

— За добрую волю, — предложил Сен Клер тост, как будто для него это было ритуалом, и оба брата громко засмеялись, одним глотком опорожнив половину кружки.

— Сирийское пиво, — сказал Сен Клер. — Пить можно. Но любого человека, причастного к производству египетского пива, должно немедленно казнить.

— А где этот сукин сын Ласло? — Ролан вглядывался в верхнюю часть улицы. — Сколько раз я говорил тебе, что он с первого взгляда мне не понравился.

— Да, он очень медлителен, — сказал Сен Клер. — Но он человек честный, только ужасно неповоротливый.

Лавджой сразу подумал об этом смуглом, худом человеке, который пытался силой заполучить по четыре пиастра от потомков этих так и не покоренных племен, сидевших за столиками в кафе. Ему хотелось что-то сказать, но он передумал и только еще отхлебнул из кружки.

— Послушай, Стэнфорд, — сказал Ролан, — ты себе представить не можешь, как приятно снова увидеть перед собой честное лицо американца.

— Багодарю вас, — сказал Лавджой, — очень рад быть...

— Во всех отелях в этой части мира, — с удивлением сказал Сен Клер, — полным-полно клопов. Ты даже не поверишь.

— У тебя, наверное, вилла, Стэнфорд, не так ли? — спросил Ролан. — В этих местах землю можно приобрести за бесценок. А обменный курс просто замечательный.

— Да, — сказал Лавджой, хотя не был уверен в том, с чем он сейчас соглашался.

— Как чудесно было бы остановиться снова в американском доме, — сказал Сен Клер. — Даже только на одну ночь.

— Вы же совершенно... — начал было Лавджой.

— Ах, наконец! Где же ты был, сукин сын! — перебил его Ролан.

Лавджой поднял голову. Перед ними стоял Ласло, весь в крови. Один глаз у него уже распух, зеленая футболка разорвана; на плохо развитой икроножной мышце на правой ноге зияли две глубокие рваные раны. Его смуглое лицо еще сильнее потемнело и стало еще более скорбным. От его маленького тела в изорванной одежде исходил какой-то кислый запах, как в зоопарке. Не говоря ни слова, Ласло протянул им руку. Ролан с Сен Клером мгновенно вскочили со своих мест, сгребли лежавшие у него на ладони деньги и лихорадочно начали их пересчитывать.

— Сорок четыре пиастра! — взревел Ролан.

Сен Клер, дотянувшись до Ласло рукой, несильно смазал его по физиономии рукой. Ласло, пораженный, упал на стул.

— Боже мой, — прошептал Лавджой.

— Братья Калониусы могли заработать до пятисот долларов только за одну неделю в Радио-Сити, — завопил Сен Клер.

— Здесь вам не Радио-Сити, джентльмены, — смиренно пробормотал Ласло. — Здесь вам Алеппо, маленький восточный городок, в котором полно диких, вконец обнищавших арабов.

— Мы роздали пятьдесят фотографий братьев Калониусов, — сказал Ролан, наклонившись над несчастным Ласло и крепкой ладонью схватив его за подбородок. Он поднял его голову вверх, ближе к себе. — Это означает, что у тебя должно быть двести пиастров.

— Прошу извинить меня, джентльмены, — возразил Ласло, — но это отнюдь не означает, что у меня должно быть двести пиастров.

— Сколько раз я тебе твердил, — рычал Сен Клер, — чтобы ты не брал обратно наши фотографии?

— Я не беру их назад, джентльмены.

— Настаивай! — орал ему Ролан. — Сколько раз можно тебе говорить одно и то же! Настаивай! Не уступай!

Кислая улыбка на секунду появилась на его разбитых губах.

— Джентльмены, — прошептал глухой голос смуглого человека. — Я и настаиваю. Но, как видите, меня укусили две собаки, а один здоровенный араб ударил меня большим медным сосудом. Джентльмены, нужно смотреть правде в лицо. Вы придумали совершенно непрактичную систему — настаивать!

— Ты что, собираешься учить нас нашему бизнесу? — угрожающе взмахнул рукой Сен Клер.

— Джентльмены, — сказал Ласло, вытирая еще сочащуюся слегка кровь с подбородка. — Я просто вас предупреждаю, что я умру, так и не добравшись до Багдада, если только вы не улучшите каким-то образом избранную вами систему.

Сен Клер хотел было его снова ударить, но в это время подоспел официант со свежим пивом.

Сен Клер вложил ручку одной кружки в ладонь Лавджоя, и братья снова подняли свои кружки.

— За добрую волю, — повторили они свое ритуальное заклинание. — Ласло, возьми на руки миссис Буханан и следуй за нами.

— Слушаюсь, джентльмены, — сказал Ласло, поднимая с седла обезьянку.

Лавджой исподтишка глядел на Ласло, когда они садились на велосипеды. Он стоял, низко уронив голову, в позе человека, переживающего вселенские страдания, не спуская с Лавджоя своих сверлящих глаз, в которых, правда, он не заметил никакого упрека. Лавджой, как будто чувствуя свою вину, отвернулся и пошел вниз по улице своей дорогой. Братья Калониусы ехали рядом на своих велосипедах, разгоняя на своем пути перепуганных пешеходов, торговцев коврами, детишек, осликов и священников-коптов.

Ласло бежал за ними легкой трусцой, а сидевшая у него на плече обезьянка крепче прижималась к его голове.

— Какое потрясающее гостеприимство с твоей стороны, Стэн, — ревел на ходу Сен Клер.

— О чем вы говорите...

— Вот что мне больше всего нравится в путешествии, — сказал Ролан. — Американцы всегда стараются быть вместе.

— Ну, — сказал Лавджой, — ведь все мы находимся так далеко от родного дома, и, по крайней мере...

— Ты можешь угостить нас бифштексами на обед? — спросил Ролан.

— Думаю, смогу, — ответил Лавджой, замедляя шаг, чтобы дать возможность Ласло, который уже язык высунул от натуги, догнать их.

— Как мне этого не хватает, — сказал Сен Клер. — Хорошего, американского бифштекса.

— Не нужно было уезжать из Каира, — снова пожалел об их промахе Ролан.

— Может, ты все же ради любви к Всевышнему прекратишь ныть и все время повторять, что нам не нужно было уезжать из Каира, — промычал Сен Клер.

— Вот здесь я живу, — торопливо сказал Лавджой, когда его новые друзья въехали на своих велосипедах во двор миссии.

— Ты живешь не хуже короля! — воскликнул с энтузиазмом Сен Клер, глядя на замызганные маленькие домики миссии. — Ролан, может, останемся еще на пару дней в Алеппо?

— Может, и останемся, — согласился с ним Ролан. Он грациозно соскочил с велосипеда, когда Лавджой остановился перед зданием. — Может быть.

К ним мелкой трусцой подбежал Ласло, его лицо даже слегка позеленело от подобной «разминки» под палящим солнцем.

— Ласло, — приказал Ролан, — отнеси велосипеды в помещение.

— Слушаюсь, джентльмены, — сказал, тяжело дыша, Ласло, сгоняя обезьянку со своей голой, покрытой крупными каплями пота шеи.

— Но имейте в виду, я живу наверху, — Лавджой указал рукой на пролет узкой лестницы, по которой нужно было взбираться, чтобы попасть в его квартиру.

— Ладно, — сказал Сен Клер. — Ласло затащит туда велосипеды. Ну, показывай, куда идти, старичок Стэнфорд.

Лавджой, бросив косой взгляд на Ласло, пошел впереди гостей.

— Ну вот, это на самом деле похоже на дом, — со счастливым видом сказал Ролан, опускаясь на единственный легкий стул и глядя на фотографию Гувера на стене. Лавджой в глубине души был поклонником Рузвельта, но директор школы придерживался строгих республиканских взглядов, и Лавджой, когда приехал сюда, благоразумно не стал снимать со стены фотографию этого государственного деятеля в высоком накрахмаленном воротничке.

— Остается самая малость, чтобы сделать нашу жизнь абсолютно счастливой, — прошептал Сен Клер с пола, где он довольно удобно разлегся, — выпивка.

— Стэнфорд, старый ты верный пес, — радостно помахал ему рукой Ролан, — могу побиться об заклад, что ты кое-что здесь припрятал.

— Ну, — с явным беспокойством начал Лавджой, — тут все же школа миссии, они обычно косо смотрят на...

— Ты, старый пес, — гремел Сен Клер, — давай, затаскивай.

Ласло, выбиваясь из последних сил, весь в поту, втащил через двери первый велосипед.

— Но придется пить из кофейных чашек, так что, если неожиданно сюда войдет директор...

— Я готов пить виски из чего угодно, — из скорлупы кокосовых орехов, из ночных горшков, из любой посудины. — Ролан по-дружески сильно, но добродушно хлопнул Лавджоя по спине. — Вытаскивай, старый ты пес. Ласло, ты самый вонючий из всех венгров на свете. — Ролан, глубоко вздохнув, скорчил кислую рожу.

— Разит не от меня, — смиренно возразил Ласло, — а от миссис Буханан. Она всегда на меня писает. — Он вышел за вторым велосипедом.

Лавджой пошел в свой громадный, в итальянском стиле, кабинет, где он хранил все свои скудные личные запасы. Сен Клер стоял у него за спиной, с интересом наблюдая за его действиями, когда он, открыв дверцу шкафа, принялся рыться под стопкой теплого шерстяного белья.

— Ролан, — крикнул Сен Клер. — Ну-ка иди сюда.

Ролан пришел и тоже встал за спиной Лавджоя.

— Ты только посмотри на это теплое белье, — сказал Сен Клер. — Оно может нам пригодиться в Китае зимой.

— То, что доктор прописал. — Ролан, наклонившись, выудил из шкафа лежавшую сверху теплую нижнюю рубашку и примерил ее к своим громадным выпуклым плечам.

— Шерсть растягивается, не забывай, — успокоил его Сен Клер.

— Да, ты прав, — сказал Ролан, задумчиво положив рубашку на место.

— Ба, «Джонни Уокер»! — обрадовался Сен Клер.

— Целых три бутылки! Ну ты и старый пес, Стэнфорд!

— Так, на случай болезни, — объяснил им Лавджой. — Или по особым поводам. Вообще-то я много не пью...

— Давай, я открою, — Ролан выхватил у него из рук бутылку, разорвав обертку из прозрачной бумаги. Лавджой, аккуратно положив стопку теплого зимнего белья на оставшиеся две бутылки, закрыл шкаф. Ролан не заставил себя долго ждать и тут же разлил виски по трем большим кофейным чашкам до краев.

— За добрую волю! — пропели вдвоем братья Калониусы, высоко подняв свои чашки. Лавджой с интересом разглядывал их, — вот они, странные, приводящие его в восторг визитеры, явившиеся к нему из другого мира. Только на Востоке жизнь таит в себе столько сюрпризов.

— За добрую волю, — громко повторил он и сделал большой глоток «Джонни Уокера».

— Ласло, — крикнул Сен Клер запыхавшемуся Ласло, — не повреди краску велосипеда! Это очень дорогая машина!

— Понятно, джентльмены, — сказал, пыхтя, Ласло, втаскивая наконец в комнату третий велосипед и прислоняясь к стене, чтобы отдохнуть и собраться с силами.

— Может, — робко прошептал Лавджой, — Ласло тоже...

— Ласло никогда не пьет, — отрезал Сен Клер, наливая себе в чашку до краев виски. — Он — греческий католик.

— Простите меня, но мне нужно отлучиться, — сказал Лавджой. — Пойду на кухню, скажу слуге, чтобы он приготовил для нас обед к вечеру.

— Иди, иди, Стэнфорд. — Ролан ласково помахал ему своей довольно подвижной, грациозной рукой. — Нам здесь очень хорошо. Ты сделал все, чтобы мы чувствовали себя как дома.

— Благодарю вас, — сказал Лавджой, чувствуя, как у него потеплело внутри от такой искренней благодарности. Он обычно вел тихую, неприметную уединенную жизнь, и у него было совсем немного друзей.

— Нужно, чтобы было побольше таких, как ты, — сказал Ролан.

— Большое вам спасибо...

— На десерт, — сказал Сен Клер, — я люблю изюм и грецкие орехи. В них содержатся ценные витамины.

— Посмотрим, что я смогу, — сказал Лавджой, с виноватым видом проскальзывая мимо Ласло, который все еще прижимался к стене, абсолютно измочаленный, лишенный последних сил и еще больше потемневший. Обезьянка вновь забралась ему на плечи, и теперь разивший от него кислый запах, как в зоопарке, становился все резче, все острее чувствовался.

Когда он вернулся после получасового пребывания на кухне, где его повар, Ахмед, кастрированный турками еще в 1903 году, дважды разражался слезами в приступе абсолютного непонимания того, что втолковывал ему Лавджой, то гостиная сотрясалась от жаркого спора.

— А я говорю, что я никогда не насиловал никаких официанток в Тель-Авиве! — визжал от негодования Сен Клер. Лавджой сразу заметил, что на столе стоит уже вторая открытая бутылка виски «Джонни Уокер».

— Скажи об этом полиции, — сказал Ролан, вставая с единственного стула и помахивая пустой бутылкой для большей убедительности. — Ты добьешься, что всех нас перевешают из-за твоих действий супермена, будь они трижды прокляты...

— Джентльмены, — обратился к ним Лавджой, чувствуя в голове легкое головокружение от выпитого пива, перемешанного с виски, — грецких орехов достать нельзя.

— Да ладно, — весело улыбнулся ему Сен Клер. — Не к спеху. Достанешь завтра утром. Ну-ка, выпей с нами.

— Спасибо, — поблагодарил его Лавджой, впервые в жизни чувствуя влечение к алкоголю. — Думаю, что обязательно выпью.

В ожидании обеда они трудились над второй бутылкой, а братья Калониусы рассказывали о себе.

— Бейкерсфилд, Калифорния, — сказал Сен Клер, — самое место для истинных ковбоев.

— Это мы там родились, — объяснил Ролан.

— Правда, там не хватает романтики. Одно и то же каждый божий день. Говядина, грейпфруты. Грейпфруты и говядина. На вот, выпей. — Сен Клер налил всем. — Мужчина должен повидать мир...

— Вот именно это я... — попытался втиснуться в разговор Лавджой, но его перебил Ролан.

— Джордж Буханан наверняка убил бы тебя, Сен Клер, если бы ты остался в Бейкерсфилде еще на двадцать четыре часа. Вся загвоздка оказалась в том, что было воскресенье, ему пришлось ждать до понедельника, чтобы купить себе короткоствольный, — весело рассказывал Ролан, предаваясь воспоминаниям.

— Джордж Буханан, — заорал Сен Клер, — сильно заблуждался в отношении этой лицензии на добычу нефти. Любой суд...

— В любом случае, нам хватило денег, чтобы добраться до Парижа, — пытался успокоить его Ролан.

— Ах, Париж! Какой славный город! — мечтательно произнес Сен Клер.

— Париж... — словно завороженный, прошептал Лавджой. — Как вам удалось заставить себя покинуть такой дивный город?

— На одном месте нельзя торчать вечно, — объяснил Сен Клер. — К тому же этот непреодолимый зов других просторов...

— «Месье, сказал капитан сыскной полиции сюрте, — фыркнул Ролан, вспоминая то, что было, — в вашем распоряжении ровно тридцать шесть часов». Он говорил на отличном английском.

— Вся беда американцев в том, — сказал Сен Клер, — что весь остальной мир относится к ним с недоверием. Дело в том, что Америку во всем мире представляют не те люди. Дипломаты, школьные учителя, проводящие там отпуск, вышедшие на пенсию торгаши.

— Либо сейчас, либо никогда, — звонко воскликнул Ролан, — Америку должны представлять ее лучшие люди. Молодые, мужественные, дружелюбные, обычные люди. Люди доброй воли. Понимаешь?

— Да, — ответил Лавджой довольно расплывчато, но он все равно сейчас, в эту минуту, был счастлив и ему было приятно потягивать виски из третьей по счету кофейной чашки.

— Только на велосипеде, — продолжал Сен Клер, — ты на самом деле можешь увидеть страну. Обычных, простых людей. Ты их развлекаешь своим представлением. Забавляешь. Ты оставляешь о себе достойное впечатление, доказываешь, что американцы это вам не какие-то вырожденцы.

— Американцы, — с гордостью сказал Ролан, — это такая раса людей, которая способна стоять на голове на движущемся велосипеде.

— Берлин, Мюнхен, Вена, — перечислял города Сен Клер. — Мы всюду становились сенсацией. Не верьте тому, что вам говорят о немцах. У них абсолютно нет никакого желания ни с кем драться. Могу дать в этом свои полные гарантии.

— Да, это весьма надежное поручительство, — сказал Лавджой.

— Они — результат путешествия на велосипеде, — убеждал его Ролан. — Когда ты — на его седле, то чувствуешь пульс жизни.

— Понятно, — сказал Лавджой.

— Рим, Флоренция, Неаполь... — продолжал перечислять города Сен Клер. — Спагетти, вино, молодые итальянки-толстушки. Даже трудно себе представить, насколько там сильно чувство доброй воли...

— Уникальный, абсолютно уникальный тур, — хвастался Ролан.

— Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-то объехал на велосипеде всю территорию Китая?

— Вряд ли...

— Венгрия была у наших ног, — сказал Сен Клер. — Там мы подобрали Ласло, в Будапеште.

Лавджой мечтательно посмотрел на Ласло, сидевшего в углу. Он старательно выискивал блох у своей подопечной миссис Буханан.

— Нужно собственными глазами увидать этих венгров, понаблюдать за ними, — продолжал Сен Клер. — Вот еще одна особенность нашего путешествия, того, как мы это делаем. Становишься студентом, изучающим характер нации.

— Я действительно вполне могу понять...

— Стамбул, Александрия, Каир, — мелодично декламировал Ролан.

— Они оказали нам такой потрясающий прием там, в Каире. Было все, только что розы нам не бросали. Хотя, конечно, их вкус к развлечениям стоит на довольно низком уровне, это нужно признать.

— Там ценят только танец живота, — мрачно пожаловался Ролан.

— Если у тебя нет за душой танца живота, пиши пропало. Велосипедист там может спокойно лечь и умереть.

— В Иерусалиме было чуть лучше, — продолжал Сен Клер. — Евреи любят велосипеды.

— Как ты можешь всю свою жизнь торчать на одном месте, никак не пойму? — неожиданно спросил Ролан.

— Мне прежде это и в голову не приходило, — ответил, размышляя теперь об этом, Лавджой. — Хотя теперь, может, я...

— Багдад, Калькутта, — напевал Ролан. — И мы еще собираемся как следует поработать в Японии. Какие давние узы дружбы связывают две наши страны... Вишневые деревца на улицах Вашингтона. Это будет еще одна сенсация. Ну-ка, выпей!

Он щедро разлил по чашкам «Джонни Уокера». Услыхав сырой, булькающий звук, Ласло посмотрел на них из своего угла, проведя языком по сухому рту. Потом он вернулся к своим занятиям с миссис Буханан.

— Где же мы будем спать? — спросил Сен Клер, вставая, потягиваясь и сладко зевая.

Лавджой тоже встал и повел гостей в другую комнату.

— Прошу простить, — сказал он, — но есть только две кровати. Ласло...

— Все отлично, не беспокойся, старичок, — сказал Ролан. — Он поспит с тобой в комнате на полу. Венгры обожают спать на полу.

— Вполне подходит, — сказал Сен Клер, сразу во весь рост развалившись на одной из кроватей.

— Обед готов, спасибо. — Евнух неслышно проскользнул в комнату и так же неслышно из нее выскользнул.

Сен Клер тут же вскочил.

— Боже мой, — воскликнул он, — обед!

Лавджой повел их в столовую. Каким-то образом на столе появилась третья бутылка виски. Когда они расселись за столом, в комнату незаметно, тихо вошел Ласло и устроился на дальнем конце стола.

— Превосходная американская кухня, — со счастливым видом говорил Ролан, разливая по чашкам виски. — Нет ей равной в мире.

Евнух принес бифштексы, за которые Лавджою пришлось выложить свое трехдневное жалованье.

— Завтра, старичок, — сказал Ролан, — давай закажем красного вина с мясом.

— Ах, эта Франция, — объяснил, вздыхая, Сен Клер, — она умеет развивать вкусы.

— Да, конечно, — согласился с ним Лавджой.

Ласло, сидя перед своей тарелкой с бифштексом, с занесенными над ней ножом и вилкой, предвкушал невиданное удовольствие. Впервые в его глазах промелькнул возбуженный блеск настоящей жизни. Губы его живо двигались, а рот ждал, когда в нем появятся кусочки восхитительного, редкого в его меню, мяса с кровью.

— Ласло, — сказал Сен Клер, втягивая наморщенным носом воздух и недовольно кривясь от резкого неприятного запаха.

— Слушаю вас, джентльмены. — Вилка его осторожно зависла над первым лакомым кусочком.

— Боже, Ласло, как от тебя воняет!

Ласло спокойно положил вилку на стол.

— Вполне естественно, джентльмены, — сказал он в свое оправдание. — Миссис Буханан постоянно писает на...

— Иди и прими ванну, — распорядился Сен Клер.

— Слушаюсь, джентльмены. Но только после того, как немного поем...

— Немедленно! — рявкнул Сен Клер.

Ласло, сделав глотательное движение в пересохшем рту, покорно и тихо, по-балкански вздохнув, встал и вышел из-за стола.

— Слушаюсь, джентльмены. — Он скрылся за дверью.

— Венгры, ну что с них взять, — сказал Ролан. — Они до сих пор живут в семнадцатом веке. — Он откусил от бифштекса громадный кусок.

Теперь, когда выпитый виски начал оказывать на него свое воздействие, Лавджой, не привыкший к крепким напиткам, ничего не помнил об обеде, кроме того, братья Калониусы говорили вместе вразнобой, не слушая друг друга, о различных городах мира, которые им удалось посетить и в которых постоянно возникали различного рода недопонимания, правда, не столь серьезных масштабов.

Лавджой также заметил, что Ласло так и не вернулся в столовую.

Когда они завершали свою трапезу, в дверь кто-то тихо постучал. Сен Клер в два прыжка доскакал до двери и распахнул ее настежь.

— Ай! — воскликнул он от неожиданности. Перед ним стояла Айрина, вся закутанная в темную шаль.

Лавджой тряс головой, пытаясь разогнать скопившийся в ней туман. Он встал. В этой суматохе он совсем забыл о встрече с ней.

— Ничего себе, как хороша! — громко сказал Сен Клер, оглядывая с головы до ног Айрину. — Высший сорт!

— Стэнфорд... — Айрина робко подняла свою маленькую ручку к нему, выражая ему свое легкое неодобрение.

— Прости меня, Айрина, — сказал Лавджой, подходя к ней, стараясь не качаться. — Все произошло так неожиданно...

— Высший сорт! Высший сорт! — повторял Сен Клер.

— Наверное, мне лучше уйти, — сказала Айрина, повернувшись к двери.

— Я провожу тебя до ворот, — торопливо предложил ей Лавджой, беря ее за руку.

— Нет, это не девушка, — бубнил из-за стола Ролан. Встав, он поклонился в сторону Айрины. — Это видение. Прекрасное русское видение.

— Может, мне лучше проводить тебя до... — сказал Лавджой.

— Как вы догадались, что я — русская? — повернулась к нему Айрина, голос у нее был такой протяжный, такой мелодичный, может, слишком застенчивый, как и подобает молодой робкой девушке.

— Только в холодных снегах, — гудел Ролан, надвигаясь на нее. — Только в необозримых сосновых лесах...

— Не хотите ли подойти к нам и выпить вместе с нами? — вежливо предложил Сен Клер.

— Только там обретешь чистую, холодную, белокурую красоту... — Ролан улыбался с высоты своего могучего роста, глядя на эту маленькую хрупкую девичью фигурку в темной шали.

— Сегодня мы пьем шотландское виски, — сообщил ей Сен Клер.

— Айрина не пьет, — с тревогой в голосе сказал Лавджой, опасаясь, как бы Айрина не рассердилась на него из-за его безалаберных американских друзей.

— Может, только чуть-чуть, на донышке стаканчика, — сказала Айрина, делая робкий, неуверенный шаг от двери в комнату, — типичная представительница белой России.

Лавджой закрыл за ней дверь.

После третьей чашки Сен Клер начал делать по такому случаю замечания по поводу русских.

— Ни один другой народ в мире, — говорил он, словно оратор, — не мог бы себе такого представить, осмелиться на такое... Революция. Боже мой, да это же величайший шаг вперед после...

— Они убили четырнадцать членов моей семьи, — сказала Айрина, — и сожгли три дома в деревне. — Она расплакалась.

— Никто, конечно, не станет отрицать, — сказал Сен Клер, заботливо протягивая ей носовой платок, — что старый режим все же был лучше. Церкви повсюду. Иконы. Горящие свечи. Царица. Балет. Светлая надежда всего человечества... — Он красноречиво размахивал руками, а Айрина плакала, готовая благодарить его за ласковые слова.

— Уже поздно, — неуверенно сказал Лавджой, чувствуя, как у него звенит в ушах от выпитого виски «Джонни Уокер» и от крикливой беседы на повышенных тонах. — Может, мне все же лучше проводить тебя...

— Только до ворот, Стэнфорд, ты, дикий парень.

Айрина встала, закутавшись поплотнее в темную шаль, протянула обе руки братьям Калониусам, и они поцеловали их, бормоча себе под нос что-то такое, чего Лавджой не мог расслышать. Айрина, по-видимому, колебалась, не зная, как ей поступить, но потом, отняв от их губ свои руки, выскользнула с присущей ей грациозностью из столовой.

— Только не возвращайся домой слишком поздно, ты, дикий парень, — напутствовал его Ролан.

Лавджой вышел вслед за Айриной в темноту. Он шел рядом в такой тихой, ясной, безлюдной ночи.

— Айрина, дорогая, — с беспокойством сказал он, обращаясь к этой безмолвной тени, передвигающейся рядом с ним. — Понимаешь, этого никак не избежать. Некоторые американцы любят пошуметь, покричать. У них такая привычка. Но они никого не хотят обидеть. Завтра они уедут. Ты прощаешь меня, дорогая?

Она молчала. Подойдя к воротам своего дома, она повернулась к нему, и при лунном свете никак нельзя было разобрать выражения у нее на лице.

— Я прощаю тебя, Стэнфорд, — сказала она мягко, позволяя ему поцеловать ее и пожелать «спокойной ночи», несмотря на то, что до дома директора школы всего каких-то сто ярдов, и, само собой разумеется, существовала вполне реальная возможность, что их заметят.

Лавджой следил за ней, покуда она, эта легкая, почти невесомая фигурка, не исчезла в темноте, и, повернувшись, зашагал домой.

Из спальни доносился могучий храп. Братья Калониусы крепко спали, отдыхая от напряжения и стрессов своего обычного рабочего дня.

Лавджой огляделся по сторонам. Пустые бутылки, велосипеды, и миссис Буханан чешется в углу.

Он тяжело вздохнул, разделся и выключил свет.

Какой утомительный, возбуждающий день! Эти братья Калониусы, казалось, принесли с собой в его жизнь свободное дыхание всего мира, его блеск, великолепие, его авантюризм, его сердечный, искренний смех. В своей молодости, когда он еще был мальчиком и жил на скалистых холмах штата Вермонт, он мечтал, что когда-нибудь станет точно таким мужчиной, как они, эти братья, — свободным, легким на подъем, чувствующим себя в своей тарелке в любой из четырех сторон света, — таким, которого уже никогда никому не забыть, стоит только один раз с ним повстречаться. Теперь он по-новому глядел на свою жизнь, — каждый день учить этих смуглых ребятишек английскому в одном и том же классе. Как это все спокойно, как монотонно. «Джонни Уокер» что-то звонко пел в его черепной коробке. В комнате от какой-то подушки до него долетал едва различимый запах духов Айрины. Мартышка сонно чесалась, и эти странные звуки напоминали ему о далеких джунглях.

В соседней комнате жутко храпели братья Ролан и Сен Клер Калониусы.

Лавджой, улыбаясь про себя в темной комнате, добрел до кровати и сразу же заснул.

Но ему плохо спалось. Через непроницаемую стену спячки, поздней, темной ночью, когда он никак не мог понять, то ли он спит, то ли бодрствует, он слышал где-то рядом с собой мягкий, хихикающий женский смех, смех чувственный, распутный, и он беспокойно ерзал на своей кровати, силясь открыть глаза, но это ему никак не удавалось, и он вновь проваливался в забытье.

Взошла луна и теперь ярко светила через окно прямо ему в глаза, и он вдруг резко проснулся, безошибочно чувствуя, что в его комнате кто-то есть, что в его комнате что-то происходит...

Лунный свет падал на хилую, скорчившуюся в углу фигуру. Она склонилась над чем-то, а руки ее неистово ходили ходуном, дергались, словно завязывая какой-то узел. Вдруг фигура выпрямилась, и Лавджой увидал, что перед ним стоит Ласло.

— Ласло, это ты? — с облегчением вздохнул он. — Где же ты был? — Ласло резко повернулся. Глаза его дико сверкали в лунном свете. Большими шагами он подошел к его постели.

— Послушайте, вы, — хрипло сказал он. — Прошу вас, не шумите, пожалте...

— Парень... — Лавджой осекся. В сжатом кулаке Ласло сверкнуло холодное лезвие длинного ножа.

— Не думайте, джентльмен, — сказал Ласло скрипучим, действующим ему на барабанные перепонки голосом, — что я стану колебаться и не прибегну к своему острому оружию.

— Послушай, что это ты... — Лавджой, еще не преодолев своей усталости, сел в кровати, чувствуя, как похолодела, как увлажнилась простыня, окутывающая его ноги. — Что ты там делаешь?

— Джентльмены... — Ласло поднес свой нож очень близко к горлу Лавджоя, по-видимому, память обо всех этих гнусных убийствах, совершенных на Балканах, не давала ему покоя, стучала в жилах, как кровь. — Джентльмены, ведите себя тихо!

Лавджой тихо сидел на кровати.

Ласло вернулся к своему занятию в угол, и только сейчас в первый раз Лавджой увидел, что там делает этот венгр.

Миссис Буханан лежала на полу с выпученными, как у обезумевшего животного, маниакальными глазами на ее грубой, безобразной морде; во рту у нее торчал кляп из обрывков полотенца, а лапы и лодыжки связаны бечевкой. Над ней стоял Ласло с угрожающим, торжествующим видом.

— Что... — начал было снова Лавджой.

— Ну-ка, замолчите! — зарычал Ласло. Он, отмотав еще немного бечевки, при ярком свете луны смастерил сложную, отличную петлю, на зависть любому палачу. Лавджой чувствовал, как все его тело покрылось потом, как одеревенело у него горло, и он ощутил солоноватый привкус во рту. Он, не веря своим глазам, часто заморгал, когда Ласло, набросив петлю на шею обезьянке, второй конец веревки перебросил через висевшую над ним «мостовую» лампу.

— Неужели вы на самом деле... — вымолвил он с трудом, тяжело дыша.

Ласло, проигнорировав его слова, потянул за веревку. Лавджой закрыл глаза. Впервые он присутствовал при казни через повешение обезьяны и думал, что ему не вынести такой ужасной картины. Он не открывал глаза до тех пор, покуда не услыхал голос Ласло, — одновременно и глухой, и громкий, торжествующий.

— Вот тебе, — сказал Ласло, — больше ты не будешь на меня писать!

Лавджой понял, что теперь можно открыть глаза, посмотреть. Миссис Буханан висела, дергаясь, в петле, как и полагается любой умирающей обезьянке. Ласло стоял перед ней — воплощенная месть.

— Ласло, — осторожно, чуть слышно прошептал Лавджой. — Как ты мог такое сотворить?

Ласло стремительно, большими шагами подскочил к нему.

— Предупреждаю вас, уходите отсюда поскорее, пока еще есть время.

— О чем ты это толкуешь?

— Там, в той комнате, — Ласло выбросил вперед свой жесткий палец, словно предостерегал его, — там, в той комнате, вы пригрели двух дьяволов.

— Почему ты так считаешь, Ласло? — Лавджой даже попытался усмехнуться. — Это простые американские парни, отважные и мужественные. Что тот, что другой.

— В таком случае, — сказал Ласло, — не портите мне впечатление об Америке. Дьволы, говорю вам. Я их просто ненавижу, всю троицу, этих братцев Калониусов и их миссис Буханан. К несчастью, нельзя повесить самих братцев. — С мрачным удовлетворением он поглядывал на трупик обезьяны, слегка покачивающийся на ночном ветру. — Вот что я скажу вам. Если вам дорога своя жизнь, то убирайтесь подальше от них, да поскорее, даже если вам придется ковылять пешком.

— Я понимаю, — возразил Лавджой, — что они дурно с тобой обращаются.

Ласло засмеялся, и его смех, такой ужасный, напоминал звуки разбиваемого на мелкие осколки стекла. Тем самым он давал Лавджою понять, насколько тот далек от истины.

— У меня была хорошая работа в Будапеште, — начал он. — Я продавал кружева. Собирался жениться. И вот встречаю братьев Калониусов. Через пару дней они продали мне велосипед... за сорок фунтов. Позже мне удалось выяснить, что тот человек, которого они взяли с собой в Страсбурге, от них убежал. Он не мог больше выносить их издевательств. Они сказали мне, что едут в Америку. Они нарисовали передо мной заманчивую картину. Пятьсот долларов в неделю в Радио-Сити. Я стану американским гражданином. Забуду навсегда свою Венгрию. Забуду этот бизнес с кружевами и тесьмой. У меня было в кармане сотня фунтов наличными. И я сказал — прощайте! И вот началось наше путешествие по разным городам. И в каждом из них, — их бесчинства, мужья, преследующие их с пистолетом в руке, полиция. Скандалы на таможне. Забеременевшие от них женщины. Это было все равно, что путешествовать по Европе на корабле, на котором кишмя кишат пираты. Теперь у меня нет ни цента, у меня нет работы, и я нахожусь в самом пустынном месте, и вот когда они приказали мне бросить обед и идти в ванную комнату мыться, — я понял, что все, конец...

В соседней комнате кто-то зашевелился, и Ласло одним прыжком опасливо нырнул в тень.

— Я вас предупредил, — прошептал он едва слышно и тут же исчез.

Лавджой смотрел на миссис Буханан, которая заметно одеревенела, свисая с фонаря. Он отвернулся к стене, но так и не смог заснуть.

Когда Лавджой встал рано утром, выпил кофе и собрался идти в школу, до него все еще доносился из спальни мирный, ритмичный храп. Братья Калониусы все еще спали без задних ног.

Лавджой, конечно, чувствовал себя неважно. В голове у него что-то то судорожно сжималось, то разжималось, пару раз или даже больше за одно утро у него в глазах двоилось, и пронзительные голоса учеников-арабов впервые действовали ему на нервы, вызывая звон в ушах.

А когда директор школы Свенкер вошел в класс посередине урока по сочинению на английском для продвинутых учащихся и предложил Лавджою вместе сходить на ланч, по спине его побежали мурашки. Наступило неловкое томительное ожидание. На продолговатом, угловатом, холодном и строгом лице директора ничего нельзя было прочитать, и теперь Лавджой был уверен, что тому стало все известно о пьянке у него на квартире.

Последние два часа утренних занятий Лавджой вообще не слышал, что происходит в классе, и, пытаясь скрыть свою неловкость, придумывал всевозможные извинения и формулы прощения, для чего ему приходилось сильно напрягать свой мозг. Он чувствовал, как в голове его глухо пульсирует кровь.

Но за непритязательным ланчем, состоявшим из салата из бобов и консервированных ананасов (директор школы был вегетарианцем, и вместе с ним миссис Свенкер и молодой Карлтон Свенкер чинно сидели в тишине, похрустывая зелеными листочками), директор набросал ему план организации нового класса для изучения Библии под общим названием: «Новый Завет в свете современной американской жизни, или Иисус глазами американского налогоплательщика». Предполагалось, что это будет вечерний класс для взрослых, и Лавджой, осознав, что никакого разговора о пьянке не будет, просто загорелся энтузиазмом и с радостью принял предложение директора, хотя это означало, что у него таким образом отнимают два драгоценных вечера в неделю, и он не сможет встречаться с Айриной, не говоря уже о многочасовой подготовке к такому сложному классу.

Удовлетворенная улыбка появилась на угловатом лице директора, который сразу заметил искреннее удовольствие, промелькнувшее в глазах подчиненного.

— Ну, — сказал директор, постукивая своей костистой рукой Лавджоя по запястью, — наш новый класс будет знаменовать собой начало образовательного курса по всемирной истории у нас, в Алеппо. Возьмите еще бобового салата...

После ланча у директора Лавджою пришлось сразу же возвращаться в школу на вечерние занятия, и поэтому он смог вернуться домой не раньше шести часов вечера.

Он остановился у подножия лестницы, ведущей к его квартире на втором этаже, и внимательно оглядел снизу вверх всю лестницу. Он почувствовал, как где-то внутри него происходил нервный тик, затрудняя дыхание. Все было тихо, за исключением каких-то странных глухих ударов, доносившихся до него из окон, да легкого подрагивания толстых грязных стен. Сглотнув слюну, Лавджой медленно стал подниматься по лестнице и, подойдя к своей двери, открыл ее.

Полуголые Ролан и Сен Клер валялись на полу, сцепившись в гигантской борцовской схватке. Сен Клер оказался наверху и колотил головой брата об пол, что теперь вполне убедительно объясняло природу этих странных тупых звуков.

В комнате стоял такой спертый запах, который обычно бывает в спортивном зале с паровым отоплением после завершения упорного баскетбольного матча. У двери стоял евнух Ахмед, и глаза его блестели от восторга.

— Джентльмены, — преодолевая отчаяние, сказал Лавджой.

Вдруг, неожиданно резким мощным движением Ролан оторвался от пола, и в то же мгновение сидевший на нем брат полетел через всю комнату к стене, о которую шмякнулся с такой силой, что, казалось, весь дом задрожал. Ахмед бросился прочь от испуга, а Сен Клер, отпав от стены, упал на колени и, постояв немного, чтобы в голове немного развеялся туман, спокойно встал на ноги и заулыбался.

— Очень ловкий прием, Ролан, — по достоинству оценил он действия брата.

— Джентльмены, — с упреком сказал Лавджой.

Братья Калониусы посмотрели на него как-то странно, словно не понимая, кто он такой и откуда взялся. Но потом улыбка озарила лицо Сен Клера.

— Да этот парень здесь живет, — объяснил он Ролану.

— Это так, чтобы не терять формы, — пояснил Сен Клер. — Мы с Роланом тренируемся. Борьба укрепляет все мышцы тела. К тому же такие упражнения усиливают аппетит. А ты пока выпей. Мы пошли в душ. — Они оба исчезли, все в поту после такой возни, а мышцы их, казалось, трещали под гладкой кожей, от которой шел пар.

Лавджой сел, огляделся. Обстановка в комнате радикальным образом изменилась. Две кровати из спальни оказались здесь, в гостиной, а его собственная кушетка, насколько он мог судить, глядя через распахнутую дверь, находилась теперь в спальне. Там же стояли и велосипеды. Миссис Буханан, к счастью, исчезла. На столе стояли четыре бутылки кубинского рома, рядом — три дюжины лимонов. Красивый кувшин персидской работы, очень, по-видимому, древняя и дорогая посудина, стоял рядом с лимонами. Вдруг Лавджой вспомнил, что он видел эту драгоценную вещицу в доме датчанина, преподавателя математики. Он подошел, понюхал горлышко. Все ясно, кувшин использовался совсем недавно для приготовления коктейлей.

Вдруг он услыхал за спиной шаги. Он резко повернулся. Это был его евнух, у которого в руках была миска с кубиками льда. Чувствуя, как у него куда-то проваливается сердце, Лавджой вспомнил, что единственный электрический холодильник во всем городе, в котором можно было делать кубики из льда, находился в доме директора школы Свенкера.

— Ахмед, — начал было он, но евнух, как ни в чем не бывало, поставил миску со льдом на стол и, шаркая ногами, вышел.

Лавджой опустился в изнеможении на стул. Глаза его блуждали по комнате, в которой царил полный беспорядок.

Что-то здесь изменилось, что-то пропало, — все время нудно подсказывал ему внутренний голос... Но он никак не мог вспомнить, что именно. Он закрыл глаза, провел по ним ладонями, снова открыл. Теперь понятно. Пропала «Энциклопедия Британника». Все тома — от АА до ПРУ.

«Но ведь должно быть какое-то приемлемое объяснение такой пропажи», — подумал он.

В комнату вошел Ролан, громадный, голый мужчина, вытирающий себя насухо большим полотенцем.

— А, — сказал он. — Принесли еще льда.

— Простите меня, мистер Калониус, — сказал Лавджой. — Не потрудитесь ли сказать, где вы достали вот эти кубики льда...

— Ты, наверное, заметил, старичок, — ответил, громко хлопая себя по голой розоватой груди, Ролан, — что мы здесь кое-что переставили. Внесли, так сказать, кое-какие изменения.

— Вижу, — сказал Лавджой. — Позже можно будет...

— Видишь ли, — не дал ему закончить Ролан, — у Сен Клера слабые почки. Не может же он беспокоить тебя по ночам, ходить через твою комнату всю ночь в уборную. Может, коктейль «дайкири»?

— Благодарю вас, но я...

— Тебе, конечно, и в голову никогда не приходило, что в таком захудалом городишке, как этот, — снова перебил его Ролан, выжимая в кувшин сразу четыре лимона своей громадной пятерней, — можно раздобыть кубики льда.

— Хотелось бы с вашего позволения спросить, — продолжал Лавджой, — каким образом...

— В этом климате, — снова перебил его Ролан, — можно пить только один крепкий напиток, это — ром.

Вошел Сен Клер, тоже голый, похлестывая себя одним из турецких полотенец Лавджоя.

— Думаю, тебе известно, — сказал он, — что миссис Буханан сегодня ночью повесили?

— Да, я...

— Мы заказали сделать из нее чучело, — сказал Ролан, отливая по мерке ром. — Тебе на память...

— Большое спасибо. Вы, конечно, очень добры, но...

— Только венгр, больше никто, — прервал его Сен Клер, — способен на такую подлость — повесить обезьянку. Послушай, старичок, не хочешь ли купить у нас велосипед?

— В настоящий момент я не могу себе этого позволить...

— Малеш1.

— Мне хотелось бы узнать, джентльмены, известно ли вам что-нибудь о нескольких томах «Энциклопедии»...

— Ну куда столько сахару, Ролан, — возмутился Сен Клер.

— Занимайся своим делом, черт бы тебя побрал, — спокойно огрызнулся Ролан. — Закрыв ладонью широкое горлышко древнего и дорогостоящего кувшина персидской работы, собственности датчанина, преподавателя математики, он стал неистово взбалтывать его содержимое, и было слышно, как ледяные кубики постукивали по его изящным глазурованным стенкам.

— Тома от АА до ПРУ... — упрямо повторил Лавджой. — Их на полке нет. Может, вам что-то известно...

— Абсолютно ничего, старичок, — беззаботно сказал Сен Клер. — Найдутся, куда они денутся. Я знаю, как часто люди бывают небрежными с книгами.

Дверь вдруг широко распахнулась, и в комнату танцующей походкой вошла Айрина.

— Айрина! — воскликнул Лавджой, шокированный ее внезапным появлением перед голыми мужчинами. Впервые она оказалась в его доме до наступления позднего вечера. — Они не совсем одеты.

— Как раз вовремя, — сказал Сен Клер, небрежно закутывая полотенцем свою мускулистую брюшину. — Ну-ка, выпей.

Ролан разлил по кофейным чашкам густой и холодный коктейль «дайкири».

Айрина подняла свою чашку.

— За добрую волю, — произнесла она с очаровательной улыбкой, и братья Калониусы громко засмеялись, а Ролан даже игриво шлепнул ее по ягодицам.

Лавджой, не веря собственным глазам, смотрел на такую непривычную картину, — ее уже совсем не застенчивая фигурка в блестящем ярко-желтом платье, а рядом с ней — два верзилы, два почти голых мужика, торопливо опорожняющих свои чашки, налитые до краев.

Он поднес ко рту свою и выпил все до дна.

— Думаю, я повторю, — твердо сказал он.

— Ну вот это уже другой разговор, дикий парень, — одобрительно сказал Ролан, наливая ему до краев самую большую чашку.

Весь остальной вечер прошел для Лавджоя как в дыму. Весьма расплывчатая картина. Был плотный обед, снова бифштексы, бургундское; распущенные в беспорядке волосы Айрины, спадающие ей на одно плечо, ее весело мелькающие, белоснежные зубы, исполненные хором русские песни; танцующая Айрина, похотливо покачивающая бедрами, постреливающая глазками; поющие братья Калониусы, нагло дающие волю своим рукам. Очень смутно Лавджой вспоминал, что зашел разговор о деньгах, и он был уверен, что видел, как Айрина вытащила довольно много купюр из своего лифчика, удерживающего ее маленькие чудные грудки, и обеими руками передавала их Ролану и Сен Клеру Калониусам, щедрыми, смелыми жестами, словно Мать-Земля. Потом он слышал разговор о настоящей вечеринке на следующий день, а Ролан все время повторял: «Дикий парень, ты, по-моему, не дикий, а отличный парень, и мы ужасно рады, что приехали в Алеппо. Дикий парень, ты ведь американец...»

Как ни странно, еще никогда в жизни Лавджой не проводил так приятно время, хотя где-то в подсознании весь вечер у него звучал предостерегающий голос: «Опомнись, все эти развлечения стоят кучу денег, тебе придется как следует поистратиться!» Ему было искренне жаль, когда после девятого «дайкири» наступили сменяющие друг друга периоды темноты, головокружительных провалов, и в конце концов Сен Клер взял его под мышки, отволок к кровати и уложил спать.

— Сен Клер, — невразумительно мычал он, — свежее дыхание всего мира. Друзья на всю жизнь... Разве может случиться нечто подобное там, в Вермонте... Друзья на всю жизнь.

Ночью, приблизительно часа в три, он вдруг проснулся и лежал с кристально ясной головой. Из соседней комнаты до него доносились женские вздохи, потом тихий смех, смех чувственный, интимный, раздававшийся в тихом, уснувшем доме. Эти необычные звуки его озадачили, они тревожили его мозг. Но через мгновение он вновь заснул как убитый.

Утром он, спотыкаясь, нащупывая дорогу, словно в тумане, вышел из своего закрытого тенью, притихшего дома с опущенными шторами на окнах, ставшими преградой для лучей яркого утреннего солнца. Время от времени класс вместе с учениками пропадал в белой пелене, а когда в учебную комнату около одиннадцати часов вошел директор школы Свенкер, то ему показалось, что его лицо то вздымается, то опускается в шипящей пене, словно морские волны, бегущие к скалам, чтобы разбиться о них.

— Лавджой, — сказал он холодно, — мне нужно поговорить с вами часов в двенадцать.

— Слушаюсь, сэр, — ответил Лавджой.

В полдень, когда они встретились, директор школы Свенкер сказал:

— Знаете, я человек широких суждений, без предрассудков, и мне знакомо ослабляющее воздействие местного климата на белых людей, но до меня дошли кое-какие слухи о ваших гостях...

— Да, сэр, — еле слышно ответил Лавджой.

— Мне кажется, — сказал директор, — что нужно поступить мудро и немедленно, как можно скорее выпроводить их отсюда.

— Слушаюсь, сэр, — сказал Лавджой уже совсем неслышно.

Директор Свенкер, демонстрируя свою терпимость, дружески похлопал Лавджоя по плечу.

— Я, конечно, не верю слухам об этой обезьянке и о русской девушке.

— Да, сэр, — прошептал Лавджой. Он помчался домой. В комнатах никого не было. «Может, — подумал Лавджой, — они собрали вещички и уехали...»

Когда он возвращался после занятий домой, то остановился у подножия лестницы, ведущей на второй этаж. Он глядел вверх на когда-то такую гостеприимную, такую дарящую радушие дверь своей квартиры, но теперь он чувствовал себя так скверно, словно впервые в жизни ему предстояло шагнуть в клетку, где полно молодых тигров, темперамент которых ему неизвестен, а надежность весьма сомнительна.

— Однако, — сказал он про себя, — какой смысл стоять здесь, перед лестницей, всю ночь?

Он решительно поднялся по ступенькам и резко распахнул настежь дверь.

Айрина лениво лежала на кушетке рядом с Сен Клером, который спокойно и довольно равнодушно поглаживал ее бедро. Посередине другой комнаты стоял Карлтон Свенкер, серьезно беседуя о чем-то с Роланом.

— Он же убьет меня, — сказал Карлтон.

Хотя от таких страшных слов кровь у него в жилах, казалось, застыла, Лавджой, повинуясь какому-то инстинкту, все же заметил, что и остальные тома «Энциклопедии Британники» исчезли, все, от ПРУ до ZZ. Не было и «мостовой» лампы, на которой висела миссис Буханан, и большого самовара с восемью серебряными чашками, которые ему достались вместе с квартирой.

— Да никто тебя не убьет, не бойся, — нетерпеливо убеждал юношу Ролан. — Выполняй все наши инструкции. Боже всемогущий, сколько тебе лет, Карлтон?

— Одиннадцать.

— И тебе не стыдно?

— Карлтон, — вмешался в их разговор Лавджой, — лучше иди домой. — Он говорил громким, отчетливым голосом.

Карлтон остановился у двери.

— Увидимся, — сказал он, помахав на прощание братьям Калониусам. Лежа на кушетке, Сен Клер нехотя оторвал руку от стройного изящного бедра Айрины и помахал Карлтону в ответ.

— Передай наш привет своему старику! — сказал он и вернулся к своему приятному занятию. Поглаживал бедро Айрины, но теперь его рука уже была у нее под юбкой. Айрина, ничуть не смущаясь, зажгла сигаретку и, наклонившись над низеньким столиком, стоявшим рядом, подняла чашку с «дайкири».

Лавджой плотно прикрыл за Карлтоном дверь.

— Джентльмены, — громко сказал он. — У меня для вас плохие вести.

— Прежде выпей, дикий парень, — сказал Сен Клер.

— Джентльмены, — продолжал Лавджой, не обращая внимания на сделанное ему предложение, — боюсь, что вынужден попросить вас уехать отсюда.

Наступила долгая тишина, Сен Клер вытащил руку из-под юбки Айрины.

— Я получил распоряжение на сей счет, — сказал Лавджой, так как не мог больше выносить этого нудного молчания, — оно действовало ему на нервы.

— Как ужасно, — тихо сказал Ролан, — когда американцы, находящиеся за двенадцать тысяч миль от родины, не могут... — Он не закончил фразы.

— Ты хочешь, чтобы мы ушли немедленно? — спросил Сен Клер.

Лавджой задумался. Он старался быть как можно более убедительным. Он вспоминал, правда, весьма расплывчато, этот славный вечерок накануне.

— Ну, думаю, если вы останетесь здесь до утра, то никому особенно не помешаете.

— Выпей, Стэнфорд, — предложил сразу просветлевший Ролан. Повернувшись к нему, он сильно хлопнул его рукой по загривку.

— Прости нас, старичок, — сказал Сен Клер, оторвавшись наконец от Айрины. Он встал с кушетки, чтобы помочь расправиться с выпивкой, — прости, если мы причинили тебе беспокойство...

— Мне кажется, — сказала Айрина, сев на кушетке и сердито зачесывая руками волосы назад, — мне кажется, что ты ведешь себя как свинья, Стэнфорд.

— Ну, ладно, ладно, не очень, — пытался урезонить ее Ролан. — Давайте забудем обо всем и проведем наш последний вечерок так, словно ничего не произошло. — Он разлил выпивку по чашкам, пенистый, с острым тропическим запахом холодный напиток, в котором плавали ледяные кубики из холодильника директора школы Свенкера.

До обеда они пропустили по четыре чашки, и во время обеда Сен Клер разглагольствовал:

— Дикий парень, ты мне нравишься. Дикий парень, ты великий, настоящий американец. Дикий парень, ты как раз такой человек, которого просто необходимо встретить во время такого путешествия, как наше. Простой американец, у которого куча мозгов.

— Китайцы будут от него просто без ума, — поддержал Ролан.

— К тому же, — продолжал Сен Клер, — ты знаток языков, у тебя степень бакалавра, выпускник колледжа. Будешь представлять нас консулам, говорить на местном языке. Ты станешь настоящей сенсацией в Иодпуре.

— Он такой крепкий, жилистый, — сказал Ролан. — Таких, как он, они сроду не видели. Он станет великим артистом, мастером трюковой езды на велосипеде.

— Нет, он не крепкий и не жилистый, — возразила Айрина.

— Всего за пятьдесят фунтов он может купить у нас велосипед Ласло, — сказал Сен Клер. — Подумайте только — Братья Калониусы и Дикий парень. Дерзко, смело!

— Прошу не называть меня больше Диким парнем, — сказал Лавджой, упорно глядя на содержимое своей восьмой по счету чашки.

— Послушай, ну как может такой молодой человек, как ты, с такими талантами, выносить этот захолустный городишко? — нарочито удивлялся Ролан. — Один год уходит, наступает другой...

— Да, вы правы, — согласился с ним Лавджой, — иногда я и сам удивляюсь.

— Ах, этот Восток, от которого веет романтикой, — нараспев произнес Сен Клер. — Толпы людей. Не познанный до сих пор.

— Мы пригласим Айрину, — сказал Ролан, — как только окажемся в таком месте, где можно будет купить для нее маленький велосипед.

Айрина в восторге громко захлопала в ладоши.

— Я миленькая подружка для вас всех, — весело сказала она.

— Ты слишком тонкая натура, Стэн, и тебе не пристало быть простым преподавателем, — убеждал его на полном серьезе Ролан. — У тебя внутри — огонь. Бьющая через край энергия.

— Он поразительно крепкий, черт бы меня побрал, — сказал Ролан, ощупывая мускулы на руке Лавджоя.

— Абсолютно уникальный тип, — подтвердил Сен Клер. — Ты сможешь оглянуться и с полным правом сказать: вся моя жизнь была просто уникальной...

Лавджой сидел, тихо уставившись в пустую бутылку из-под бургундского. Индия, древние холмы Китая. Свободен, никаких пут. Он сейчас мог вообразить себе, какое будет выражение на лице у его дяди, когда тот увидит, как он въезжает в Сан-Хосе на велосипеде.

— Хорошо, — вдруг сказал он.

Они стали восторженно хлопать его по спине, предлагать выпить еще. Айрина, сбросив с себя блузку и юбку, начала грациозно, чаруя всех, танцевать на столе в своих кружевных трусиках и лифчике.

Лавджой увидел, правда, весьма расплывчато, что из ее лифчика торчат уголки пятифунтовых купюр.

Лавджой расстегнул рубашку и из пояса, где он на своем теле хранил свои деньги, вытащил последние пятьдесят фунтов. Сен Клер с важным видом отодвинул деньги в сторону. Ролан вышел из комнаты, но вскоре вернулся, с полотенцем через плечо, с тазиком горячей воды, мылом и опасной бритвой в руках.

Лавджой наливал себе очередную чашку. Ролан подошел к нему со спины, повязал на шею полотенце.

— Послушайте, — тихо спросил Лавджой, — что это вы делаете?

Ролан начал намыливать Лавджою макушку.

— В нашем представлении, все, кроме, естественно, Айрины, должны выступать наголо бритыми. — Он все взбивал пену погуще. — Это производит куда более сильное впечатление на зрителей.

— Ты будешь выглядеть более сильным, еще более жилистым, Стэн, — искренне заверил его Сен Клер.

Лавджой колебался всего несколько мгновений.

— Ладно, — сказал он, — алле!

Лавджой медленно приступил к десятой чашке «дайкири», а Ролан, как опытный парикмахер, начал ловко и быстро сбривать его шевелюру. Первая часть работы вскоре была завершена, и левая часть его голого черепа сияла, чисто выбритая, розоватая, как попка младенца, когда дверь в их комнату резко распахнулась. Лавджой поднял глаза.

На пороге стоял директор школы Свенкер. Его лицо постепенно мрачнело, темнело, как темнеет зимой в Дакоте небо, заволакиваемое свинцовыми тучами.

Он скользнул взглядом от сияющего, словно наполовину облупленное яйцо, черепа Лавджоя к изящной стройной фигурке Айрины, которая в своем черном кружевном исподнем старательно исполняла антраша на столе, ловко лавируя между бутылками.

Лавджой тяжело вздохнул.

— Боже праведный, — не веря собственным глазам, произнес директор.

— Привет, кутила! — весело окликнул его Ролан.

— Мистер Лавджой, — сказал директор Свенкер, — я поговорю с вами утром в более формальной обстановке.

Он тщательно закрыл за собой дверь. Лавджой снова тяжело вздохнул, а Ролан принялся обрабатывать правую сторону его головы.

Утром, когда он проснулся, голова у него была тяжелой, словно увеличенная в размерах. Он с трудом, расплывчато вспоминал о том, каким веселым был этот вечерок. Лавджой помнил, что просил братьев Калониусов уехать, и как они хладнокровно восприняли его слова, — как истинные джентльмены. Но после этого, — море рома, песни, танцы. Он невольно улыбнулся из-за этих воспоминаний, хотя, конечно, голова у него трещала. Несмотря на все свои нехорошие поступки, думал он, лежа в темной комнате для гостей, нужно все же признать, что братья Калониусы подарили ему три таких восторженных, таких будоражащих душу дня. Теперь вот они уезжают, и ему, по-видимому, придется еще потратить тридцать или сорок фунтов, чтобы заплатить в последний раз за все, но ведь радость так дорого ценится в этом мире, и она достойна такой высокой цены.

Он вылез из кровати, но пришлось держаться за стенку, чтобы не упасть. Ему и в голову никогда не приходило, что он так быстро научится пить крепкие напитки. Он посмотрел на часы. «Боже, — подумал он, — я опаздываю на урок».

Он быстро, как только мог, пошел в ванную комнату. В гостиной были сдвинуты обе кровати, на них лежала вся троица — два брата Калониуса, Айрина на них, правда, поперек. Все крепко спали. Лавджой заметил, что на ней нет кружевных трусиков.

Он, испытывая острую внутреннюю боль, дошел до ванны и начал чистить зубы. Вдруг его рука с зубной щеткой замерла на полпути, когда увидел какое-то странное тусклое отражение в зеркале. Он приблизил к нему глаза, чтобы получше все рассмотреть.

— Бог мой, — прошептал он. Его зубная щетка так и не нашла пока его рта, а в нем было полным-полно зубной пасты. Лавджой был абсолютно лыс, как колено. Он смотрел на себя, не веря собственным глазам. Потом постепенно память вернулась к нему. Он, положив на место зубную щетку, горестно сел на край ванны.

Индия, Китай, Япония... Он заплатил пятьдесят фунтов за велосипед, свои последние деньги, у него больше нет ни пенни; ему побрили голову; он назанимал в городе столько денег, которые ему никогда не отдать.

Ну как можно появиться перед учениками в таком виде — с бритой головой? Придется, по крайней мере, месяца два скромно прикрывать ее чем-то.

Потом перед ним всплыло мрачное лицо директора школы Свенкера, когда тот стоял в проеме двери и смотрел, как танцевала Айрина на столе в нижнем белье.

— Боже мой, — слабым голосом произнес он и, спотыкаясь, пошел назад, в свою комнату.

В гостиной троица мирно спала, и, по-видимому, Айрина отдавала предпочтение Сен Клеру, так как забросила свою стройную ножку на его колено. Лавджой остановился перед ними и долго смотрел на них, ничего не понимая, как в тумане.

Когда-то ему было приятно думать о браке с Айриной. Теперь, после такого красноречивого предупреждения, он понял, что этого не сделает.

Он набросил простыню на их переплетенные тела и, спотыкаясь, пошел дальше, в комнату для гостей. Лежа на кушетке, он глядел в потолок, чувствуя на губах пену от зубной пасты. Она, высыхая, стала жечь ему губы, и он ее слизал. Через секунду ощутил сильнейшую изжогу.

Да, сейчас уже не оставалось никаких сомнений. Теперь ему придется сделать последний шаг. К счастью или к несчастью, но отныне его жизнь связана с братьями Калониусами. Как только они проснутся, он тихо соберет свои вещички в небольшую сумку и начнет новую, кочевую жизнь. Он думал об этом этим ясным прозрачным утром и находил, что и в такой жизни есть свои преимущества.

Вдруг он заснул.

Его разбудили глухие шаги. Он медленно открыл глаза. В его комнате по каким-то неизвестным ему причинам оказалась его домовладелица. Она стояла спиной к нему с блокнотом и карандашом в руках и то и дело помечала что-то в нем. Маленькая, низенького роста полная старушка с лицом, привычным к стонам и стенаниям. Когда она повернулась наконец к нему, Лавджой увидел, как у нее дергаются губы от приступа неописуемых сильнейших эмоций.

— Мадам, — сказал он, садясь на кушетке, чувствуя, как трудно ему сейчас изъясняться на французском, — что вы делаете в моей комнате, позвольте вас спросить.

— Ах! — только и сказала толстая дама.

Лавджой потряс головой, чтобы в ней стало яснее.

— Мадам, я, конечно, должен поблагодарить вас за...

— Ковер! — Домовладелица снова схватила со стола свой блокнот. — Ага! — громко запричитала она.

Из соседней комнаты до него донесся высокий, возбужденный голос мужчины. Этот человек говорил на смеси арабского с французским.

— Выходите, или мы начнем стрелять!

Лавджой сглотнул слюну. Ему стало не по себе. Интересно, собираются ли они пристрелить братьев Калониусов здесь, в его квартире, прямо на месте?

— Считаю до пяти, — крикнул все тот же взволнованный голос.

Он начал считать по-французски:

— Месье Лавджой, я повторяю, на счет пять...

Его поразило как молнией от этих слов. Лавджой понял наконец, что... этот человек обращается к нему, Лавджою. На счет «quatre"1 он пулей вылетел из комнаты.

Перед его дверью стояли два полицейских. У одного в руке был пистолет, а домовладелица, вся дрожа от волнения, стояла за его спиной. Айрина с двумя братьями по-прежнему крепко спали.

— Что... — начал было Лавджой.

— Не задавайте никаких вопросов, — перебил его полицейский с пистолетом.

— Пошли!

У них обоих были какие-то свирепые лица, и это довольно странно, ведь только наступило раннее утро. И это говорило о явной опасности, ожидающей его впереди.

— С вашего позволения, — сказал Лавджой, — я надену брюки.

Они вошли и, стоя у двери, наблюдали за тем, как он надевал штаны, рубашку, ботинки, и один из них не выпускал из руки своего пистолета.

— Хотелось бы узнать, — сказал Лавджой, — что такого я натворил...

— Dкpеche-toi!2 — сказал полицейский с пистолетом.

Лавджой вышел. Полицейские сопровождали его с двух сторон. Домовладелица следовала за ними на небольшом расстоянии. А Айрина с братьями Калониусами все спали. На лестнице он столкнулся с Карлтоном Свенкером. Тот бежал вверх по ступенькам.

Полиция не препроводила его далеко, всего лишь до кабинета директора школы Свенкера. Подойдя поближе к зданию, он услыхал там ворчание и гудение множества голосов. Лавджой в нерешительности остановился у двери.

— Входи! — сказал полицейский с пистолетом, ударом ноги открывая перед ним дверь.

Лавджой вошел. Его сразу ошарашили громкие вопли, перешептывания, звонкие проклятия; и если бы только не полицейские за спиной, он, несомненно, задал бы деру. Казалось, треть населения Алеппо набилась в этом помещении. Директор Свенкер стоял в углу за письменным столом, опершись о его крышку своими широко расставленными руками, призывая всех к порядку. Там в толпе он увидел датчанина, преподавателя математики, низенького англичанина, учителя истории, владельца книжного магазина, в котором работала Айрина, местного таксидермиста1, продавца крепких алкогольных напитков, двух продавцов ковров, мясника, двух девушек, обучающих желающих вязанию, шитью и умению готовить, — все были там.

К этой разноликой, говорливой толпе присоединилась и домовладелица Лавджоя. Она оглядывала комнату с гордым, злобным видом.

— Леди и джентльмены, — повторял директор, пытаясь установить тишину, — леди и джентльмены!

Но прилив возбужденной восточной беседы становился все громче, все мощнее.

— Мистер Лавджой, — громко, с явно огорченным видом, сказал директор, обращаясь к нему, — что же вы делаете, скажите нам, ради Бога!

Вдруг в комнате установилась мертвая тишина. Все глаза с одинаковым накалом в них яростного гнева устремились на Лавджоя, который стоял рядом с полицейскими у самой двери с красными от выпитого глазами, с болезненным видом.

— Я... я... я... право, не понимаю, о чем вы говорите, — выговорил, наконец, Лавджой.

— Прошу вас и не мечтать о том, что вам удастся отвертеться, молодой человек, — строго сказал директор.

— Я не думаю, — сказал Лавджой.

— Если бы не я, то вы сейчас находились бы в руках сирийского правосудия.

Лавджой только слегка пожал плечами.

— Прошу вас, пожалуйста, — прошептал он, — нельзя ли мне сесть?

— Что, черт подери, случилось с вашими волосами? — раздраженно спросил его директор.

Невольно Лавджой поднес руку к голове. Потом он вспомнил.

— Я... я... я... сбрил их, — сказал он.

— Боже Всемогущий, Лавджой, — закричал директор. — Мне придется кое-что сообщить в ваш университет в штате Вермонт!

Вдруг дверь отворилась, и полицейский втолкнул в комнату его повара, евнуха Ахмеда. Тот, бросив только один взгляд вокруг, тут же упал на пол и громко зарыдал. На лбу Лавджоя выступил пот.

— Говорите правду, молодой человек, — рявкнула на него домовладелица. — Разве вы не собирались сегодня покинуть Алеппо?

Лавджой сделал глубокий вдох.

— Да, собирался, — признался он.

Злобный шепот пронесся по рядам.

— В таком случае мы укокошили бы тебя на дороге, — заверил его полицейский. — Выстрелом в спину.

— Прошу вас, — стал умолять их Лавджой, — прошу вас, объясните все...

Наконец, постепенно, фраза за фразой, после опроса нескольких проявляющих свое нетерпение местных жителей, все стало проясняться. Все началось с того, когда владелица дома увидела «мостовую» лампу в мебельной лавке. Потом она вдруг увидела, как переплавляют ее самовар в глубине ювелирного магазинчика. Потом, лихорадочно, на грани истерики, она посетила четыре разные лавки и увидела в них выставленные на продажу шесть ковров из различных домов, которые она сдавала преподавателям миссионерской школы. Она зарыдала в унисон с плачущим на полу Ахмедом, когда рассказывала о своих прочих находках, — простынях и одеялах, подушках, маленьких столиках, серебряных вазочках, которыми она украшала внутреннее убранство своих домов, — все это она видела в лавке хлопчатобумажных тканей, у старьевщика, у мясника. Она в ужасе прибежала в полицию, которая пошла по следу, и следы привели их к Ахмеду.

— Он сказал, что мистеру Лавджою срочно понадобились одеяла и простыни для неожиданно нагрянувших гостей, — сказала одна из белошвеек и мастериц кулинарии, — и, вполне естественно, мне и в голову не пришло...

Ахмед, потрясенный, разбитый и весь мокрый от пота, не мог произнести ни одного вразумительного слова.

— Они очень приятные джентльмены, — только и повторял он неразборчиво, — они очень приятные джентльмены. Они любят хорошо поесть, выпить. Они пели для меня на кухне. Они давали мне на чай по пять пиастров каждый день. Они пели мне на кухне.

Лавджой в ужасе глядел на своего предателя-слугу, которого подкупили песней на судомойке и двадцатью центами за каждый час суток. Он устало провел рукой по глазам, услыхав, что таксидермист требует заплатить ему за то, что он сделал чучело обезьянки.

— Это чудовищный случай, скажу я вам, — возмущался он. — Эта обезьяна была повешена, я заверяю вас. Повешена за шею.

С закрытыми глазами Лавджой чувствовал, как все присутствующие содрогнулись от омерзения.

— Ради Бога, Лавджой! — снова услыхал он высокий, на библейский лад голос директора Свенкера. — Это же просто чудовищно!

Лавджой открыл глаза и в это мгновение увидел, как в комнату величаво вплывала миссис Свенкер, слезы лились ручьями по ее щекам.

— Уолтер! — рыдала она. — Уолтер! — и бросилась на грудь своего мужа.

— Что с тобой? — всполошился директор.

— Карлтон...

От этого имени у Лавджоя судорогой свело живот.

— Что с ним случилось, что? — закричал директор.

— Твой сын Карлтон, — в голосе миссис Свенкер появились драматические нотки. — Твой сын украл пятьдесят фунтов из твоего настенного сейфа!

Директор Свенкер, обхватив голову руками, медленно спустился на стул.

— О Господи, — зарычал он, теперь уже приводя цитату из Ветхого Завета, — сколько же мне еще страдать?

— Думаю, сэр, — робко сказал Лавджой, — я знаю, где можно получить назад ваши деньги.

— Бог всемогущий, Лавджой! — директор с надеждой поглядел на него. — Неужели вы тоже замешаны во всем этом?

— Если вы пойдете со мной, — сказал с достоинством Лавджой, — то, может, нам сразу удастся очень многое прояснить.

— Только один шаг, — предостерег его полицейский, — и я стреляю. На поражение.

— Куда вы хотите отвести нас? — спросил директор Свенкер. — Ах, ради Бога, ах, Корин, прекрати выть!

Миссис Свенкер выплыла из комнаты, стараясь приглушить свои громкие рыдания.

— Ко мне домой, — объяснил Лавджой. — Там в данный момент находятся два джентльмена, которые могут пролить свет на несколько интересующих вас проблем.

— Они любят хорошо поесть, выпить, — без остановки рыдал на полу Ахмед. — Они пели для меня на кухне.

— Хорошо, — коротко бросил директор. — Пошли.

Полицейский, уперев дуло пистолета в ребра Лавджоя, повел его впереди, и вся процессия последовала за ними к дому, в котором совсем недавно проходили такие шумные безобразные загулы. Когда они шли через двор к его дому, директор школы все никак не мог успокоиться и громко рычал: «Да, вам, Лавджой, все это влетит в копеечку».

Лавджой только сглотнул слюну.

— Боюсь, сэр, что у меня и ее не осталось.

— Ну придется отработать, — сказал он, — лет двадцать, никак не меньше.

Лавджой снова сухо сглотнул слюну.

— К тому же, — продолжал директор Свенкер, — вам придется купить парик.

— Что-что, сэр?

— Парик! Парик! Что это с вами? Вы оглохли? Парик! По-французски — «toupet».

— Ах, вон оно что.

— В таком виде над вами будут потешаться все ученики, и вам придется во избежание злых насмешек вообще уехать из этого города. Боже, теперь никакой дисциплины в школе в ближайшие полгода, это точно!

— Да, сэр, согласен. Только, сэр... У меня нет денег на «toupet».

— Ух! — Директор помолчал. — Я вам дам взаймы. Но отработаете, и с процентами.

— Благодарю вас, сэр.

Когда они подходили к дому Лавджоя, к лестнице, ведущей наверх в его квартиру, из-за угла выехал Карлтон Свенкер на блестящем, сверкающим никелем велосипеде, правда, слишком большом для него, не по росту.

— Карлтон! — загремел директор школы.

Карлтон остановился. Остановилась и вся процессия.

— Карлтон, — заорал директор, — где ты взял этот велосипед?

— Купил, папочка, — сказал Карлтон.

Свенкер, размахнувшись, нанес ему сокрушительный удар. Карлтон без чувств рухнул на землю.

Директор торопливо поднимался по ступенькам. Люди, следовавшие за ним в процессии, старались идти осторожно, чтобы нечаянно не наступить на распластавшегося на земле, в пыли, сынка директора.

Директор, рванув на себя дверь, большими шагами вошел. Все такими же большими шагами последовали за ним в комнату. Лавджой посмотрел на кровати. На них никого не было. В комнате царил такой невообразимый беспорядок, словно здесь состоялось несколько лихих кавалерийских атак, — повсюду валялись пустые бутылки словно после буйного пикника пивоваров. Домовладелица снова заскулила, словно от острого приступа боли, записывая в своем блокноте весь причиненный ей этими постояльцами ущерб. Но их самих нигде не было.

— Ну что, — повернулся директор Свенкер к Лавджою. — Где же эти два джентльмена?

— Не спускай с него глаз, Андре, — крикнула домовладелица полицейскому. — Все это известные трюки.

— Может, в соседней комнате, — предположил Лавджой, теряя последнюю надежду.

Молча вся компания вошла в соседнюю комнату. Там был тот же ужасный беспорядок, полный разгром, но не было следа братьев Калониусов. Вся группа вернулась назад, в гостиную. Лавджой прошел в своей кабинет в итальянском стиле.

— Они захватили с собой все мое теплое белье, — беспомощно констатировал он.

— Хорошо, — сказал директор Свенкер. — Теперь перейдем к случившемуся. Перед вами — альтернатива: либо вы предстаете перед судом, перед сирийской Фемидой, либо даете все необходимые гарантии, остаетесь в нашем городе и начинаете отрабатывать причиненный всем ущерб. Выплатите все, до последнего пенни, независимо от того, сколько лет вам придется потратить на это.

— Сколько, по-вашему, — обратился директор к полицейскому с пистолетом, — ему предстоит отсидеть за решеткой?

— Минимум тридцать лет, — не задумываясь, ответил полицейский.

— Хорошо, я заплачу, — пообещал Лавджой.

До трех тридцати дня проходила запись всех предъявляемых к нему претензий, и этот список постоянно рос, — вазы, серебряная утварь, ковры, бифштексы, вина, постельное белье, «мостовые» лампы, столики, чучело обезьянки, книги. Еще пятьдесят фунтов, которые украл Карлтон из настенного сейфа, и плюс десять фунтов, выделенных ему директором на приобретение парика. В общем, общая сумма достигла громадной для него цифры — 347 фунтов 27 шиллингов. Учитывая уровень сегодняшней зарплаты, притом если есть только два раза в день, то, как вычислил Лавджой, ему придется выплачивать свой долг лет семь. Только после этого его уволят, и он сможет вернуться в Америку.

Он подписал счет сразу за все оптом, и для его официального оформления был вызван адвокат, что увеличило сумму его долга еще на тридцать фунтов, всего — 377,27. Полицейский с пистолетом угостил его сигарой, и вскоре все ушли. Он остался один в своем разрушенном доме, глядя на обломки своей разбитой жизни.

Он выглянул в окно. Директор школы Свенкер, подняв на руки неподвижное тело Карлтона, так и не пришедшего в себя от удара, понес его домой.

Лавджой сел, тяжело вздохнул. Он зажег сигару, подаренную ему полицейским, и молча уставился на валявшиеся кругом пустые бутылки.

Месяцы шли своим чередом, сменяя друг дружку, и теперь этот чудовищный эпизод в его жизни стал казаться ему внезапно обрушившейся на него карой Господней, бессмысленной неприятностью, типа чумы, очищением через зло, и все это совершалось само собой, неподвластное воле человека. Волосы у него отросли, и он продал свой парик, потеряв на продаже полтора фунта, и за исключением непродолжительного напугавшего его переживания из-за разыгравшегося воображения Айрины, вдруг решившей, что она беременна двойней, жизнь Лавджоя шла как и прежде, хотя теперь ежедневно ему приходилось сталкиваться с горькой нищетой, и он понимал, что освобождение от ее хватки на горле придет не скоро, может, ему придется страдать до этого так же долго, как и библейскому Иакову.

К тому времени, когда Лавджой наконец стал расчесывать свои волосы, он почти совсем забыл о калифорнийцах с их велосипедами.

Но вот однажды...

Он читал «Семь столпов мудрости», ту сцену, когда Лоуренс Аравийский оказался в руках свирепых турок, когда вдруг откуда-то издалека до него донесся громкий крик.

Кто-то кричал, называя его по имени. Он отложил книгу в сторону.

— Стэнфорд, Стэнфорд, — неуверенный голос этого человека дрожал, — Стэн...

— Нет, не может быть. — Он встал, чувствуя, как его верхняя губа задирается кверху, обнажая зубы для атавистического рычания.

— Стэнфорд, — снова раздался этот голос.

Он быстро сбежал вниз по лестнице, ноги у него подкашивались. Там, на главной дороге, он увидел странный караван. Верхом на осле, покачиваясь из стороны в сторону от нестерпимой жары, голода, жажды и изнеможения, сидел Сен Клер Калониус. Его с обеих сторон поддерживали крепкие люди. Глаза у него запали, губы, без кровинки, побледнели. А сзади на таком же осле, точно в таком же состоянии сидел его брат, Ролан Калониус.

— Вот этого подобрал в пустыне, — сказал ближайший к Лавджою погонщик мулов. — Он лежал там. Почти без признаков жизни. А этого, — он ткнул большим пальцем в Ролана, — вытащил со дна колодца, он уже чуть концы не отдал.

Сен Клер окинул его диким взглядом.

— Стэнфорд, старичок... — хрипло прошептал он, еле шевеля треснутыми губами. — Я просто в восторге. Увидимся, как только мы выйдем из больницы. Старичок...

Сердце у Лавджоя упало от жалости к нему, на глазах выступили слезы. Он неуверенной походкой подошел к Ролану.

— Стэнфорд, старичок, — Ролан, протянув свою высохшую руку, взял его за плечо. — Как я рад видеть тебя. Надеюсь, увидимся, как я только выйду из больницы. — Наклонившись к нему, покачиваясь на спине мула, словно пьяный, он прошептал ему на ухо: — Прошу тебя, сделай мне одолжение...

— Ни за что, — твердо сказал Лавджой, — даже за миллион фунтов.

— Нет, все же сделай. Этот сукин сын бросил меня в колодец. Я этого ему никогда не прощу. Стэнфорд, старичок, ступай в город и купи там для меня самый большой, самый острый нож, какой только сможешь там найти, с большим, дюймов пять, лезвием. Оставь его в шкафу у себя, в твоем доме. В верхнем ящике. Как только мы выйдем из больницы... Он не успеет сделать и шага — полосну по горлу... — Он издал какой-то страшный, убийственный звук. — Я покажу этому сукину сыну, как бросать меня в колодец... Стэнфорд, старичок, нечего зря качать головой...

Неожиданно Лавджой перестал качать головой. Его глаза вдруг загорелись, словно в трансе, но вскоре блеск пропал.

— Я ничего не смогу для вас купить, — сказал он. — У меня нет ни пенни.

Ролан, словно пьяный, стал шарить в своих карманах и, вытащив оттуда целую пригоршню смятых купюр, вложил их в ладонь Лавджоя.

— Деньги — это не главное... — Он потерял сознание, и два крепыша вовремя подхватили его под руки. Лавджой аккуратно запихнул деньги в бумажник и подошел к Сен Клеру.

— Может, я чем-то могу помочь вам? — спросил он ясным, слегка дрожащим голосом.

— Ты можешь сделать для меня только одно, — сказал Сен Клер неистово, словно сумасшедший, озираясь по сторонам. — Лишь одно, старичок... Этот сукин сын Ролан думает, что я его бросил в колодец. Он хочет меня убить. Но еще никому не удавалось это сделать. — Он порылся в карманах, выудил оттуда пригоршню смятых купюр, устало огляделся. — Ступай в город, старичок, — тихо сказал он, — и купи для меня пистолет сорок пятого калибра и магазин к нему с семью патронами. Положи его в ящик, где раньше ты хранил бутылки виски «Джонни Уокер». В верхний ящик. Когда мы выйдем из больницы... этот сукин сын не успеет сделать и шага. Семь пуль вгоню в него, как одну.

Стэнфорд с серьезным видом положил и его деньги в бумажник.

— Послушай, Стэнфорд, — сказал Сен Клер, наклонившись к нему и опасно свесившись с мула. — Ты сделаешь для меня такую мелочь, сделаешь?..

— С большим удовольствием, — ответил он.

— Добрый старый Стэн... — В это мгновение он отключился, и два дюжих погонщика вовремя подхватили его. Караван направился к больнице.

Лавджой долго стоял, покуда с улицы не исчезли все мулы, и потом быстро зашагал в город. Он купил там самый лучший, самый острый нож с выскакивающим лезвием и превосходный новый с иголочки револьвер сорок пятого калибра и магазин с несколькими патронами.

У него после этих покупок осталось еще немало денег. Он купил на них три бутылки «Джонни Уокера».

Вернувшись домой, он освободил верхний ящик в шкафу, положил туда револьвер и нож рядышком. Затем намазал куском мыла как следует пазы, чтобы его можно было легко вытащить даже в большой спешке.

Потом сел и стал ждать, когда братья Калониусы выйдут из больницы. Он налил себе виски в большой стакан. Сделав внушительный глоток, он ухмыльнулся.

КРУГ СВЕТА

По земле низко стелился туман, и как только машина ныряла в выбоину, свет от фар выхватывал впереди мешанину молочного цвета. Было уже около часа ночи, и других машин на дороге не было. Они петляли по узкой дороге, поднимаясь к стоявшему на холме дому. Между главным шоссе и домом Уиллардов стояли только четыре дома, и во всех было темно.

Они сидели на переднем сиденье. Мартин и его сестра Линда с мужем. Она включила радиоприемник и тихо, под аккомпанемент оркестра напевала: «Не то время, не то место...»

Джон Уиллард, удобно устроившись на месте водителя, быстро гнал машину, улыбаясь, когда Линда, наклонившись, напевала эту песню ему на ухо, вышучивая страстную манеру исполнения, характерную для певиц в ночных клубах: «Но ваше дивное лицо...»

— Поосторожнее, — предупредил ее Уиллард. — Не забывай, ты щекочешь ухо водителя.

— Известно ли вам, — вмешался в их разговор Мартин, — что за последний год на дорогах произошло гораздо больше аварий из-за того, что пассажир щекотал ухо водителя, чем от езды в нетрезвом виде, неисправности тормозов и безрассудного поведения во время общенациональных праздников?

— Кто тебе сказал такое? — спросила Линда агрессивным тоном.

— Это всем известная статистика, — ответил Мартин.

— Плевала я на твою статистику, — сказала возмущенная Линда. — Я просто с ума схожу по ушку водителя.

Уиллард фыркнул.

— Ну-ка убери эту снисходительную улыбочку, «солдатик», — проговорила Линда.

Уиллард снова довольно фыркнул, а Линда, склонив голову на плечо Мартина, вновь вернулась к своей песенке, намереваясь непременно допеть ее до конца. На ее веселое, молодое лицо, обрамленное распущенными черными волосами, падал слабый свет от приборной доски.

«Лет через десять после того, как я женюсь, — подумал Мартин, поглядывая искоса на сестру, — хочется надеяться, и мы с женой будем испытывать то же, что и они, когда будем возвращаться домой после проведенного в городе вечера».

Мартин приехал из Калифорнии сегодня вечером. Перед этим он прислал телеграмму, сообщая в ней о том, что бросает работу и едет в Европу, и спрашивал не может ли рассчитывать во время этого транзита на постель и сносную еду. Линда встретила его в аэропорту, и она, по его мнению, нисколько не изменилась за два года их разлуки. Они заехали к Уилларду на работу, пропустили с ним по паре стаканчиков, как следует пообедали и добавили потом бутылку дорогого вина, чтобы отметить приезд Мартина. Была пятница, и Уилларду не нужно было идти на работу на следующий день, поэтому они отправились в ночной клуб, где послушали певицу в белом платье, исполнявшую французские песенки. Мартин с Уиллардом по очереди приглашали на танец Линду, а она все время только повторяла: ну разве здесь не мило? Если бы ты только предупредил меня заранее, я бы обязательно нашла для тебя девушку, и тогда мы веселились бы вчетвером, и вечер не был бы испорчен. Тебе не нравится цифра четыре?

Мартин, ее любимый брат, был на семь лет моложе Линды. Когда он учился в колледже, то обычно проводил летние каникулы в компании Линды с Уиллардом, играя роль третьего лишнего на вечеринках, сражаясь на теннисной площадке с ее мужем и постоянно подвергая опасности жизнь их двух маленьких сыновей, когда обучал их плаванию и нырянию, езде на велосипеде, демонстрировал, как нужно правильно ловить баскетбольный мяч, и без ущерба для себя падать с высокого дерева.

— Боже мой, — сказала Линда, когда автомобиль проскочил через заросшие каменные ворота, — два года — это очень большой срок, Мартин. Что же мы будем делать без тебя, когда ты уедешь в Европу?

— Ничего. Приезжайте ко мне, увидимся, — предложил Мартин.

— Вы только посмотрите на него, — вздохнула Линда.

— А что здесь особенного? Всего одна ночь на самолете.

— Может, ты знаешь такого человека, который организует тебе такой перелет бесплатно? — Она махнула рукой в сторону темного леса. — Покуда мы все выплатим за эти чудовищные акры, пройдет лет десять, никак не меньше.

— Здесь очень приятно, — сказал Мартин, пытаясь разглядеть сквозь пелену тумана темный мокрый лес. — По-настоящему чувствуешь, что ты — в деревне.

— Куда там, — сказала Линда. — Ты только представь себе — семнадцать акров непроходимого подлеска.

— Разве нельзя расчистить хотя бы часть, — спросил Мартин, — и посадить что-нибудь на этом участке?

— А налоги? — коротко бросил Уиллард, вырываясь из лесу на крутую дорожку перед большим кирпичным домом с белыми колоннами, выплывающим из туманного плена.

Внизу, на первом этаже света не было, только из зашторенного окна на верхнем пробивалось бледное свечение. Весь дом был погружен в кромешную темноту, и это не могло не производить мрачного впечатления.

— По крайней мере, Линда, можно было оставить хотя бы одну лампочку над входом, — упрекнул ее Уиллард.

— Это все новая горничная, — оправдывалась Линда. — Сколько раз я ей говорила, но все без толку, она просто какая-то дьяволица, свихнувшаяся на экономии.

Уиллард остановился, и все они вышли из машины. Мартин взял свою сумку с заднего сиденья.

— Обратите внимание на эту изысканную архитектуру, — сказала Линда, когда они, поднявшись по ступенькам крыльца между колонн, подошли к входной двери. — Отдаленное, бледное, как привидение, сходство с греческой.

— Погодите, вы еще не видели, что там внутри, — сказал Уиллард, открывая перед ними двери и включая свет. — Ради этого можно примириться со всем остальным. К тому же здесь на участке возле дома очень удобно играть детишкам.

— Но у этого дома есть еще одно достоинство, — сказала Линда, снимая пальто и бросая его на спинку стула в оклеенной обоями передней.

Они прошли в гостиную, Линда включила там все лампы, Уильям разлил всем по стаканчикам виски, — с выпивкой Мартину будет легче восхищаться их домом. Гостиная — большая, приятная для глаза, просторная комната, с беспорядочно развешанными на стенах картинами, с кучами разбросанных повсюду книг, журналов и другими едва ли полезными предметами, которые тоже лежали не на своих местах. Мартин улыбался, глядя на все это. Как ему знакома безалаберность сестры, ее беззаботное пристрастие к ярким краскам, к изобилию всевозможных ваз и вазочек, к цветам, античным безделушкам. Вся комната предстала перед ним в час ночи в своем обычном, удобном для хозяев беспорядке. Весь вечер в доме царила мертвая тишина, так как здесь до их приезда не было ни души.

Линда, сняв туфли, сидела, положив ноги на угол большой кушетки, держа обеими руками стаканчик с виски. Мужчины сидели напротив, чувствуя, как их одолевает сон, но все же они боролись с ним, так как им пока не хотелось завершать эту ночь, отмеченную дружеской встречей.

— Послушай, Мартин, — сказала Линда, — ты на самом деле не останешься с нами хотя бы на неделю?

— Мне нужно быть в понедельник в Бостоне, — ответил Мартин. — И оттуда я вылетаю в Париж через день, в среду.

— Мальчики просто не вынесут такого разочарования, — убеждала его Линда. — Может, ты на этот уик-энд подцепишь кого-нибудь и изменишь свои планы? Мы приглашены сразу на три вечеринки.

Мартин засмеялся.

— Мне повезло с поездкой в Бостон, — ответил он. — Я там смогу прийти в себя.

Линда крутила виски в стаканчике.

— Джон, — обратилась она к мужу, — как ты считаешь, можно в столь поздний час прочитать ему нотацию, а?

— Уже ужасно поздно, Линда, и ты прекрасно знаешь об этом, — отозвался Уиллард, чувствуя себя неловко.

— Какую еще нотацию? — подозрительно спросил Мартин, заранее чувствуя отведенную ему роль младшего брата.

— Видишь ли, — начал Уиллард, — после того, как мы получили от тебя телеграмму, мы с тобой поговорили по телефону и начали размышлять с Линдой, складывая все воедино. — По-моему, это твоя третья работа после окончания колледжа?

— Четвертая, — поправил его Мартин.

— Первая была в Нью-Йорке, — продолжал Уиллард, исполняя свой долг перед свояком, перед другом, долг уважающего себя солидного гражданина, который вот уже пятнадцать лет после окончания юридического колледжа работает в одной и той же фирме. — Потом работа в Чикаго. Потом в Калифорнии. И вот теперь — Европа. Ты ведь давно уже не мальчик, и определенная стабильность в жизни могла бы...

— Ладно, не слишком напирай на него, — сжалилась над братом Линда, видя, как его лицо становится все более непроницаемым. Он молча сидел, слушая их и вертя в руках свой стаканчик. — Не стоит вести себя так, словно ты обращаешься с речью по поводу начала учебного года в Массачусетском технологическом институте, или, как генерал Паттон, — с призывом к своим войскам. Мы между собой говорили только о том, — продолжала она, поворачиваясь теперь к Мартину, — что в один прекрасный день ты вдруг осознаешь, что тебе уже тридцать, и жизнь проходит мимо...

— Ну а ты, ты сама обнаружила, что тебе уже тридцать и твоя жизнь проходит мимо? — широко улыбнулся ей Мартин.

— Да, сыплется как песок между пальцами, — хихикнула она, и лицо Мартина вновь стало таким же открытым, как прежде.

— Но все же это — очень важный вопрос, — сказала Линда, на сей раз вполне серьезно, — как просто таким смазливым парням, как ты, превратиться в бродяг. Особенно там, во Франции.

— Я не слишком хорошо знаю французский, поэтому никак не смогу стать бродягой, — озорно возразил ей Мартин. Он встал, погладил сестру по волосам и подошел к низенькому столику, служившему им баром, чтобы бросить еще пару кубиков льда в свой стаканчик.

— Чего мы добиваемся, Мартин, — сказала она, — мы добиваемся только одного, — разумно предостеречь тебя, только и всего. Мы не хотим...

— Послушайте, — сказал Мартин, выглядывая в окно, — вы что, ждете гостей?

— Гостей? — недоуменно переспросил Джон. — Каких гостей? В такой поздний час?

— Вон там стоит какой-то человек и старается заглянуть к вам, — сказал Мартин. Он вытянул шею, пытаясь взглянуть за угол дома. — К тому же к балкону приставлена лестница... Ну вот, теперь он исчез...

— Лестница! — резко вскочила на ноги Линда. — Дети! — Она бросилась вон из гостиной, вверх по лестнице, за ней помчались мужчины.

В холле перед детской горела лампочка, и Мартин увидал двух малышей, которые спокойно спали в своих кроватках, у противоположных стен спальни. Через полуприкрытую дверь в соседнюю комнату до них доносился ровный храп горничной. Линда с Уиллардом убедились, что с детьми все в порядке. Мартин обследовал окна. Они были распахнуты настежь, но вход с балкона был закрыт ставнями. Никто их не потревожил, все крючки были на местах. Мартин, откинув крючки, открыл ставни, вышел на балкон, который возвышался над входом в дом, поддерживаемый двумя колоннами на крыльце. Какая темная, сырая ночь. Туман все сгущался, а свет из окон первого этажа, отражаясь во мгле, едва достигал балкона. Мартин, подойдя вплотную к перилам, посмотрел вниз. Откуда-то слева, ближе к дому, послышался неопределенный звук, и он посмотрел в этом направлении. Он увидел какое-то белое, размытое пятно, которое быстро двигалось на темном фоне деревьев. Развернувшись, Мартин вбежал в детскую и прошептал Уилларду: «Он там, внизу. С той стороны».

Они с Уиллардом кинулись вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через четыре ступеньки. Резко распахнув входную дверь, выбежали на покрытую гравием дорожку, обежали по ней вокруг дома, мимо лестницы. Уилларду удалось на ходу схватить в передней фонарик, но он оказался не таким мощным, и его слабый луч напрасно рыскал по покатой, заросшей бурьяном мокрой лужайке и темной массе кустарника с деревьями, где исчез человек, вторгшийся на их территорию.

Не рассчитывая на успех, Мартин с Уиллардом прошли немного в глубь леса, с большим трудом прокладывая себе путь через скользкие мокрые слои слежавшихся опавших листьев; луч фонарика нервно дергался из-за их неловких движений. Кустарник больно царапался. Они продирались через чащу молча, пытаясь подавить охвативший их гнев. Они знали, что если найдут этого человека, наверняка вооруженного, тот, конечно, не задумываясь, прибегнет к своему оружию, чтобы удрать от них. Но они ничего не видели и не слышали.

Через несколько минут поисков Уиллард сдался.

— Ах, — сказал он, — все бесполезно. Пошли назад.

Они молча зашагали к дому. Подойдя к краю лужайки, они увидели Линду. Она стояла в углу балкона, и ее сзади освещал вырывавшийся через открытые ставни свет из детской, и теперь ее фигурка резко выделялась на темном фоне. Она, склонившись над верхней перекладиной лестницы, толкала ее руками, и наконец ей удалось отодвинуть ее от балкона, и лестница с грохотом упала на землю.

— Ну что, вы нашли его? — крикнула она Мартину и Уилларду.

— Нет, не нашли, — крикнул Уиллард в ответ.

— В комнатах ничего не тронуто, — кричала она. — Он сюда не вошел. Это — наша лестница. Ею сегодня днем пользовался садовник и, по-видимому, забыл убрать.

— Войди в дом, — крикнул ей Уиллард, — не то замерзнешь.

Мартин с Уиллардом в последний раз внимательно посмотрели на темную лужайку, на черневшую вдали плотную стену леса. Они подождали, покуда Линда не вошла обратно в детскую и не закрыла ставни. Только после этого они вошли в дом сами. Теперь гостиная уже не казалась Мартину такой веселой и приятной на вид.

Когда Уиллард с Линдой снова спустились вниз, Мартин стоял возле окна, через которое он увидел этого человека на лужайке перед домом и приставленную к балкону лестницу.

— Какой все же я идиот, — воскликнул он. — Надо же задать такой дурацкий вопрос — не ожидаете ли вы гостей? — Он печально покачал головой. — И это в столь поздний час.

— Не забывай, — напомнила ему Линда, — ведь ты только что приехал из Калифорнии. Тебя вполне можно простить!

Они дружно рассмеялись, и теперь все почувствовали себя куда лучше, а Уиллард поторопился разлить по стаканчикам виски.

— Мне нужно было действовать иначе, — сказал Мартин, — сделать вид, что я его не вижу, а самому незаметно выскользнуть наружу через боковую дверь...

— Люди проявляют такую находчивость обычно только в кино, — сказал Уиллард. — А в реальной жизни в подобной ситуации они задают простой, невинный вопрос: «Вы что, ждете сегодня гостей?»

— Знаете, — продолжал Мартин, мучительно напрягая память. — Мне кажется, я смог бы узнать этого человека, если бы увидел его снова. В конце концов он находился всего в каких-то пяти ярдах от меня, и он был хорошо заметен при свете, падающем из окна.

— Ну и как он выглядел? — спросила Линда. — Как обычный преступник?

— В час ночи все выглядят как обычные преступники, — сказал Мартин.

— Нужно позвонить в полицию и сообщить об этом, — сказал Уиллард, поднимаясь со своего места и направляясь к телефону в холле.

— Ах, Джонни, — воскликнула Линда, пытаясь преградить ему путь. — Неужели нельзя подождать до завтра? Если ты позвонишь, они явятся сюда и не дадут нам спать всю ночь, это точно.

— Но нельзя же позволять злоумышленникам проникать в наше жилище, залезать на балкон по лестнице, ничего не предпринимая против этого, — упрекнул ее Уиллард.

— Это ничего не даст. Они никогда не найдут того, кто оказался сегодня ночью возле нашего дома, — упорствовала Линда.

— Да, она права, — поддержал Мартин.

— Они захотят подняться наверх, на второй этаж, в детскую, разбудят детей, перепугают их до смерти... — пыталась убедить Линда. Она говорила нервно, торопливо, чуть не захлебываясь. Она была до этого случая довольно спокойной, но реакция на это происшествие давала о себе знать, и теперь она не могла молча сидеть или говорить нормально, с обычной скоростью. — Ну, какой в этом смысл? Не будь глупцом!

— Это почему же я глупец? — искренне удивился Уиллард. — Я только сказал, что нужно позвонить в полицию. Послушай, Мартин, я похож на недоумка?

— Ну, — начал увиливать Мартин, стараясь оправдать сестру. — Мне лично кажется...

Но Линда не дала ему договорить.

— Он же ничего не сделал. Просто заглянул в окно. Ради чего же не спать всю ночь, если какой-то человек к вам просто заглянул в окно? Могу поспорить, это не грабитель, никакой не...

— Что ты имеешь в виду? — резко спросил ее Уиллард.

— Ну посуди сам. Что у нас здесь красть? У нас нет драгоценностей, и моей единственной шубе уже семь лет, и любой грабитель, если только он в здравом уме...

— В таком случае для чего ему понадобилась эта лестница, не скажешь? — спросил Уиллард.

— Может, он просто большой любитель подглядывать в замочные скважины, — объяснила Линда.

— Вот в этом-то все и дело! — торжествующе воскликнул Уиллард. — Все потому, что ты любишь разгуливать при свете в чем мать родила с открытыми ставнями... — Уиллард, опрокинув стаканчик одним глотком, смачно чмокнул губами.

— Ах, — обиделась Линда, — не будь ханжой. Кто видит меня нагишом в этом доме? Может, бурундучки?

— Не только в этом доме, — поправил ее Уиллард. — Везде, где только мы жили. Ах, эти современные женщины, с ума можно от них сойти.

Он с горестным видом повернулся к Мартину.

— Вот когда ты женишься, Мартин, тебе придется тратить массу своего времени, чтобы закрывать ставни и тем самым оберегать широкую американскую общественность от любования твоей женой, когда она то одевается, то раздевается у всех на виду.

— Джон, не будь старомодным пуританином, — сказала Линда. — Кто бы мог подумать? Здесь, посреди густых лесов...

— Представь себе, что я, — сказал Уиллард. — И так же думал, очевидно, тот парень, который притащил сюда эту лестницу.

— Ну, кто может точно сказать, о чем этот парень думал? — спросила Линда. — Ну да ладно, убедил. С сегодняшнего дня, вернее ночи, я буду плотно закрывать все ставни в доме. Но ведь это все просто ужасно. Жить в таком доме будет невыносимо. Все заперто, закрыто, как в тюрьме.

— Не нужно ничего запирать, достаточно только набросить на себя купальный халатик — вот и все, — сказал Уиллард.

— Джон, — резким тоном возразила Линда. — У тебя ужасная тенденция превращаться в мрачного консерватора в критической ситуации.

— Ребята, ребята, хватит, — запротестовал Мартин. — Не забывайте, я все же в отпуске, отдыхаю.

— Прости нас, — извинился за обоих Уиллард, а Линда натужно засмеялась.

— Вам нужно приобрести собаку, — предложил Мартин.

— Он не любит собак, — сказала Линда, начиная по очереди выключать лампы. — Он предпочитает жить в склепе.

На том их ссора закончилась, и все пошли наверх спать, оставив еще одну включенную лампочку в холле для большей безопасности, хотя было ясно, что этот злоумышленник, кем бы он ни был, не вернется, по крайней мере, сегодня ночью.

Утром Уиллард все же вызвал полицию, и они пообещали скоро приехать. Линде пришлось придумать какой-то приемлемый предлог, чтобы увезти детей из дома до ланча, ей не хотелось, чтобы они видели полицейских в форме, чтобы те задавали им вопросы, чтобы они не чувствовали себя в полной безопасности в собственном доме. Сколько усилий ей пришлось приложить, чтобы выпроводить их из дому, — им так хотелось провести все это утро с дядей Мартином. Они никак не могли понять, почему дядя Мартин не может поехать вместе с ними, а как Мартину объяснить им, что ему нужно остаться для дачи показаний полиции, описания примет того человека, который рыскал возле их дома, когда они спали.

Детей не было, когда приехала полицейская машина, и они никому не мешали. Два полицейских не спеша походили по лужайке возле дома, как настоящие профессионалы, внимательно осмотрели лестницу, балкон, сходили в лес. Все записали.

Когда они спросили у Мартина, как выглядел этот человек, он привел им свое описание, но и сам был поражен расплывчатостью своих показаний. Он не мог не почувствовать, что полицейские остались им очень недовольны.

— Я уверен, что смог бы его узнать, если бы снова увидел, — пытался убедить их Мартин, — но в его внешности не было ничего особенного, такого, за что можно было бы зацепиться. Я хочу сказать, что у него не было большого шрама на лице, или синяка под глазом, перебитого носа, или чего-то другого в этом роде.

— Сколько ему, по-вашему, лет? — спросил его старший по званию полицейский Мэдден.

— Средних лет, по-моему, сержант, — ответил Мартин. — От тридцати, полагаю, до сорока пяти...

Уиллард улыбнулся, и Мартин заметил, как Мэдден с трудом сдерживает улыбку.

— Вы же понимаете, что я имею в виду. Где-то между, — подтвердил Мартин.

— Не заметили ли вы, какой у него цвет лица, мистер Брэкет? — спросил Мэдден.

— Ну, знаете, при таком свете, да еще в тумане... — Мартин колебался, пытаясь поглубже покопаться в своей памяти. — У него было бледное лицо.

— Он был лысый, — Мэдден делал записи в своей книжке, — или у него на голове была копна волос?

Снова Мартин колебался, не зная, как ответить.

— Мне кажется, у него на голове была какая-то шляпа, — сказал он.

— Какая именно?

Мартин пожал плечами.

— Просто шляпа.

— Может, кепка или картуз, — что скажете? — подсказывал Мэдден.

— Нет, думаю, что нет. Просто шляпа.

— Какого он был телосложения, не скажете? — методично продолжал свой допрос Мэдден, все старательно записывая в книжку. — Высокий, толстый, какой?

Мартин сконфуженно вертел головой.

— Думаю, что не смогу быть вам очень полезным. Он стоял под окном, свет освещал его голову и я... я на самом деле не могу ничего сказать. Он выглядел... ну, если как следует подумать... он выглядел достаточно солидным.

— У вас, сержант, есть какие-то представления о том, кто бы это мог быть? — спросил Уиллард.

Полицейские переглянулись, стараясь оставаться беспристрастными.

— Видите ли, мистер Уиллард, — сказал Мэдден. — Всегда можно встретить одного-двух полуночников, шатающихся в позднее время, в любом городе. Мы проверим. Возле банка сейчас строят новый торговый центр, и там множество строительных рабочих, приехавших из Нью-Хейвена. Всякие встречаются люди, — сказал он, подчеркивая свое недружелюбное отношение к разным чужакам из Нью-Хейвена. Он закрыл записную книжку, засунул ее в карман. — Мы дадим вам знать, если удастся что-то выяснить.

— Я уверен, что смог бы узнать его, если бы увидел снова, — повторил Мартин, пытаясь восстановить свою, как ему показалось, подмоченную репутацию в глазах этих полицейских.

— Если у нас возникнут какие-то идеи, — сказал Мэдден, — то может быть, мы пригласим вас, чтобы вы посмотрели на одного-двух подозрительных лиц.

— Завтра вечером я уезжаю, — сказал Мартин. — Еду во Францию.

Оба полицейских снова многозначительно переглянулись. По их красноречивому виду можно было понять, что они осуждают такое отношение американцев к своему гражданскому долгу. Вначале они становятся свидетелями преступлений, а потом спешно убегают во Францию.

— Ну, — протянул низким тоном Мэдден, и в его голосе что-то не чувствовалось особого оптимизма. — Посмотрим, что можно сделать.

Мартин и Уиллард наблюдали, как полицейская машина, тронувшись с места, поехала назад, к их участку.

— Как просто полицейскому заставить тебя почувствовать собственную вину, — сказал Уиллард. — Просто смешно!

Они вернулись в дом. Уиллард поднял трубку телефона и сообщил Линде, что она может приезжать с детьми, полиция уехала.

Вечером их пригласил к себе на коктейль приятель, потом другой — на обед. Вначале Линда наотрез отказалась — разве может она пойти на вечеринку или на обед, оставив детей одних после того, что случилось накануне? Тогда Уиллард поинтересовался, что она намерена делать, — торчать дома каждый вечер, покуда ее детишкам не исполнится по двадцать лет?

— В любом случае, — утверждал Уиллард, — этот злоумышленник натерпелся такого страха, что теперь будет держаться подальше от их дома и не осмелится снова сунуться сюда, к ним.

Тогда Линда уступила, сказав, что муж прав, но все равно нужно предупредить горничную обо всем.

— Как-то неэтично, — сказала она, — уходить из дома, оставляя горничную в полном неведении. Но, — предупредила Линда, — вполне вероятно, та сразу же соберет свои вещички и уедет. — Она работала у них всего шесть недель, была довольно старенькая и не отличалась особой уравновешенностью. Линда пошла на кухню к горничной, а Уиллард, нервно шагая взад и вперед по гостиной, говорил Мартину:

— Я просто не выношу заниматься поисками новой горничной. У нас с тех пор, как мы сюда переехали, сменилось их пятеро.

Но с кухни Линда вернулась улыбаясь. Она сообщила, что горничная спокойно восприняла эту весть. По-видимому, она не такая беспокойная, как это сначала показалось.

— Она слишком стара, чтобы ее изнасиловали, — сказала Линда, — к тому же она любит детей, по крайней мере, она так говорит.

Уиллард отнес лестницу в гараж и запер его на большой замок. Они убедились, что все ставни тщательно закрыты на крючки изнутри, — в детской, в спальне Линды, в спальне Уилларда, в ванной комнате, расположенной между ними, так как ко всем этим комнатам был открыт доступ с балкона, к которому какой-то злоумышленник ночью приставил лестницу.

На вечеринке с коктейлем, которая как две капли воды была похожа на любую подобную вечеринку с коктейлем в этот субботний вечер повсюду в радиусе ста миль от Нью-Йорка, Уиллард с Линдой все время рассказывали гостям о злоумышленнике, а Мартин давал его описание, снова чувствуя себя неуютно, как и тогда, когда он предстал перед полицейским, — ему казалось, что, будучи неспособным дать точный портрет возможного преступника, он тем самым демонстрирует всем свой низкий интеллектуальный уровень.

«Он надвинул шляпу на глаза, и на его лице не было никакого особенного выражения, и он, по-моему, был бледен, и я обо всем рассказал сержанту, что если внимательно к нему присмотреться...» Когда он так говорил, то чувствовал, что добавляет лишнего к портрету человека, стоявшего за окном этой туманной ночью, что напряженность в его лице — это его новое открытие, выуженное откуда-то из глубин памяти, что, когда он пытался получше вспомнить, какое же на самом деле было у него лицо, оно становилось то простым, расслабленным, то сосредоточенным, то сошедшим с семейного герба, то символическим, превращалось в опасное лицо привидения, глазеющего из темноты мокрого от дождя леса на хрупкую безопасность их пристанища, ограниченного кругом света.

Рассказ Уиллардов о своем ночном непрошенном госте, казалось, встряхнул приглашенных, и из них посыпались разные страшные истории, как из рога изобилия, — о взломщиках, ворах, похитителях детишек.

«...Так вот этот парень вдруг начал в упор глядеть на них из слухового окошка, было лето, оно было открыто, это произошло на Западной Тридцать второй улице, и тогда мой друг быстро забрался по лестнице на крышу и начал гоняться за ним по крышам, а когда мой отважный знакомый загнал его в угол, тот выхватил острый нож, и... пострадавшему пришлось сделать пятикратное переливание крови, прежде чем жизнь его была в безопасности. Само собой разумеется, полиция так и не нашла преступника»

«...Заряженный пистолет сорок пятого калибра. Постоянно рядом со мной под подушкой. В эти дни, когда полно этих чокнутых пацанов. Любого, кто осмелится проникнуть в мой дом, ждет горячий прием, уверяю вас. И думаю, я буду вести огонь только на поражение. Нечего с ними цацкаться...»

«...Дверь — на цепочку и все содержимое из всех ящиков, из всех шкафов вываливается на ковер посередине комнаты. Не знаю, что они сотворили еще, эта компания цветных, но вы можете себе вообразить. Полиция объяснила им, что это довольно распространенная картина, тем более, если они разочарованы в своем улове. Пострадавшие требовали найти виновных. Каково им жить в окружении этих пуэрториканцев?..»

«...Это было давным-давно, когда у него была большая датская псарня, но на следующий день после похищения ребенка Линдберга он продал всех своих собак до единой втридорога...»

Держа в руке стакан, Мартин вежливо прислушивался, с некоторым удивлением осознавая, что все эти солидные, привыкшие к комфорту люди, в их уютной и благопристойной компании, разделяли общий страх, чувствовали все усиливающуюся неловкость, что появившееся внезапно лицо человека за окном Уилларда заставило их всех вспомнить о существовании темных непредсказуемых сил, которые всегда готовы проникнуть откуда-то сверху в их теплые дома, и, несмотря на все их запертые на замок двери, на усилия полиции и на заряженный пистолет сорок пятого калибра под подушкой, они были бессильны перед угрозой, уязвимы перед любым преступным нападением.

— От твоих слов у каждого здесь забегали приятно возбуждающие мурашки по спине, — поздравляю, — ехидно заметила Линда, подойдя к Мартину.

— И мне приятно, — ответил Мартин, задумчиво глядя на серьезные лица владельцев домов и квартир. Он, конечно, понимал, что сейчас Линда, после всего пережитого, после ударивших ей по нервам этого происшествия и разбирательства с полицией, намерена ко всему относиться довольно легко, по крайней мере, на людях. Он, конечно, был благодарен ей за это, восхищался ее смелостью, но все же беспокоился за нее, и ему совсем не нравилось, что она часто остается одна в этом просторном большом доме с колоннами, где разносится звонкое эхо, окруженном десятками акров безмолвного безлюдного пространства, тем более что Уилларду приходилось по нескольку раз в неделю работать допоздна в городе, и он возвращался домой не раньше полуночи... В любом случае, этот злоумышленник пока не пойман и, соответственно, не вызывает никаких подозрений, а значит, ничто не могло остановить его в преступных замыслах вернуться к ее дому через неделю, через месяц, два.

...Другой дождливой ночью, когда не будет ярко светить луна.

— Нам пора, — сказала Линда. — Нас ожидают к обеду в восемь тридцать. — Она огляделась по сторонам. — Ну, ты никого не облюбовал для себя? Никого не хочешь пригласить с собой? Правда, Чарльзы сказали, что если ты приведешь с собой кого-нибудь, то имей в виду, что у них будет простой фуршет, больше ничего.

— Нет, благодарю тебя, — сказал, улыбнувшись, Мартин. — Они очень любезны, но... — Он осекся. В комнату вошла высокая красивая блондинка в голубом платье, принося хозяйке дома свои извинения за опоздание. Ее волосы были собраны на затылке в тугой низкий пучок, что хотя и добавляло ей достоинства, все же делало ее слишком старомодной. Но голос ее, когда она объясняла причины своего опоздания хозяйке дома, был таким мелодичным, таким завораживающе шуршащим, к тому же она явно была самой красивой среди всех присутствовавших здесь женщин. — И, — нерешительно улыбаясь сказал Мартин Линде, — может, вот эта. Дай мне минут десять.

Линда энергично закачала головой.

— Нет, нет, братец, оставь эту мысль. Это — Энн Баумэн, она замужем. Да вон и ее муж у двери.

Линда зажатым в руке стаканчиком указала на дверь, там Мартин увидел высокого мужчину в элегантном, отлично сшитом костюме. Он стоял спиной к Мартину, разговаривая с Уиллардом и хозяином.

— В таком случае, ничего не поделаешь, — согласился с ней Мартин, с трудом отрывая взор от прекрасной миссис Баумэн. — Можно немедленно ехать.

— Увидишь ее завтра, — сказала Линда, когда они пошли к двери. — Кажется, Уиллард собирался завтра утром поиграть у них дома в теннис.

Они, стараясь не привлекать к себе особого внимания, подошли к Уилларду, чтобы позвать его с собой. Он все еще оживленно беседовал с хозяином. Мистер Баумэн, сделав несколько шагов в сторону, присоединился к стоявшей рядом группе, включился в их беседу.

— Так что, мы уходим? — спросил Уиллард, увидев перед собою Линду с Мартином. — Хорошо, на самом деле пора. — Он, вытянув руку, похлопал Баумэна по плечу. — Послушай, Гарри, хочу представить тебе своего шурина. Он придет завтра вместе со мной поиграть в теннис, не возражаешь?

Но Баумэн повернулся к ним не сразу. Он, все еще стоя к ним спиной, досказывал свою историю. Он повернулся к ним в то мгновение, когда его слушатели покатились со смеху. На его ухоженном, бледном лице блуждала улыбка. Он протянул Мартину руку.

— Как приятно познакомиться, — сказал он. — Я столько слышал о вас. Ваша сестра все мне рассказывает. Она утверждает, что однажды вы чуть не выиграли сет у Херба Флэма. Это правда?

— Нам тогда обоим было по двенадцать лет, — сказал Мартин, пытаясь ничем, ни одним мускулом на лице себя не выдать, вести себя вполне естественно, как и полагается человеку, покидающему вечеринку с коктейлем, и отвечая, как положено, на обычное, случайное представление незнакомцу. Это не так просто было сделать, потому что стоило ему внимательно, в течение всего десяти секунд, посмотреть на это пышущее здоровьем, удачливое, открытое лицо перед ним, как он тут же смекнул, что Баумэн и есть тот самый злоумышленник, которого он видел через окно сегодня ночью.

— Постарайтесь хорошенько выспаться, — посоветовал Баумэн Уилларду. — У нас завтра развернется изнуряющая борьба парами. — Наклонившись, он на правах старого знакомого поцеловал Линду в щечку.

— Можете привезти с собой и детишек, — предложил он ей. — Они поиграют с моими и не будут нам мешать. — Помахав рукой на прощание, он снова повернулся к группе своих слушателей, такой манерный, элегантно одетый мужчина, в кругу своих друзей, — таких крепко сбитых мужчин, которым едва за сорок, можно увидеть на встречах в престижном колледже, или на месте вице-президента компании, где непременно царит изысканная вежливость, а у каждого из них в кабинете на полу — дорогой ковер, и о деньгах они говорят чуть слышно, на низких тонах, и только за плотно прикрытыми дверями.

Мартин молча вышел из дома вслед за Уиллардом с сестрой и ничего не ответил, когда тот ему сказал: «Он отлично играет в теннис, особенно в парах. Но, кажется, ему уже не нравится слишком много бегать». Молчал он и в машине, в которой они ехали на обед. Ему нужно было все сопоставить, соединить, а для этого требовалось одиночество и вдумчивые размышления, он то и дело вспоминал открытую, непринужденную улыбку Баумэна, когда он пожимал ему руку, его твердую, с сухой кожей руку игрока в теннис, его привычную манеру на правах давнего знакомого целовать на прощание Линду в щечку, желая ей «спокойной ночи».

— Линда, — сказал Уиллард, обращаясь к своей жене, когда они тряслись в машине по ухабам по узкой сельской дороге к дому, где их ожидал обед, — ты должна мне постоянно напоминать об одной вещи.

— О чем же?

— Ты должна твердо пообещать мне, что будешь мне напоминать каждый раз, когда мы будем выезжать на вечеринку с коктейлем, что я уже слишком стар для крепкого джина.

За обедом Мартину пришлось по просьбе гостей, которые не были на вечеринке с коктейлем у Слокумсов, повторить свое описание того человека, которого увидел за окном. На сей раз он намеренно описал его как можно более расплывчато. Но это оказалось не так просто сделать. Фигура Баумэна, его лицо (около сорока, голубоглазый, волосы песочного цвета с короткой стрижкой, широкий, улыбчивый рот, ровные зубы, рост почти шесть футов, вес, вероятно, сто семьдесят пять фунтов, приятный цвет лица, широкоплечий, общее впечатление — хороший гражданин, отец семейства, ответственный бизнесмен) постоянно вторгались в его сознание, его истинные черты, его истинный облик, легко узнаваемые со стороны, весьма для него опасные, теперь постоянно вертелись на кончике языка, что сильно затрудняло все его усилия вспомнить те слишком туманные общие характеристики, которые он давал прежде этому человеку. «Однако, какой смысл, — подумал Мартин, — осуждать человека так быстро, на раннем этапе, это лишь могло привести к неприятностям, если у него вырвалось бы даже случайное слово, бросающее подозрение на Баумэна еще до того, как он абсолютно не убедится в том, что Баумэн и есть тот самый человек, которого он видел».

По дороге домой и за стаканчиком перед сном он решил ничего не сообщать ни Линде, ни Уилларду. Глядя в упор на сестру, он вспоминал, с какой тревогой она просила не звонить в полицию, как она упрашивала, умоляла Уилларда и в конце концов добилась своего, как она подставила свою щеку для поцелуя Баумэну у двери, когда они уезжали на обед в другой дом. «Они с Уиллардом спят в разных спальнях, — напрягал он свою память, — и двери обеих выходят на балкон, а Уиллард обычно задерживается в городе допоздна два или даже три раза в неделю...» Мартин стыдил себя за эти подозрения, но он ничего не мог поделать с собой. Линда — его сестра, он любил ее, но как хорошо он ее знает, ведь прошло столько лет? Он вспоминал свою чувственность, сколько достойных сожаления поступков совершил, повинуясь ее непреодолимым позывам? Она — его сестра, какой бы невинной женщиной и верной, великолепной женой она ни казалась, и в ее жилах текла та же кровь. «Нет, — подумал он, — торопиться нельзя, нужно только ждать».

Утром в одиннадцать все они уже были на корте. Уиллард с Мартином играли против Баумэна с его напарником по имени Спенсер, который обладал очень сильной подачей, но больше ничем особым не блистал. Баумэн оказался расторопным, ловким, способным игроком, он искренне наслаждался игрой, не теряя хорошего настроения, независимо от того, выигрывал он или проигрывал.

Мартин с Уиллардом привезли своих двух пацанов, и теперь они играли у края корта с тремя детишками Баумэна, — два мальчика и девочка, — вся троица была какой-то подавленной, бледной, слишком вежливой и сдержанной, — подумал Мартин, — что совсем несвойственно детям их возраста.

После второго сета из дома вышла миссис Баумэн. Она несла поднос с кувшином оранжада и стаканы. Она казалась такой удивительно строго официальной в своем темном хлопчатобумажном платье с белым воротничком под тяжелыми, собранными в пучок на затылке пышными белокурыми с темным отливом волосами. Она немного понаблюдала за игрой, и в ее присутствии Мартин вдруг сделал гораздо больше ошибок, чем прежде, и это было вполне понятно, — он постоянно поглядывал на нее через плечо, внимательно изучал ее, стараясь, почти бессознательно, перехватить взгляды, которыми она обменивалась с мужем, заметить какой-то признак, какой-то симптом... Но она сидела тихо, набрав в рот воды, не аплодировала удачным ударам и не комментировала никудышные. Она, казалось, не обращала абсолютно никакого внимания на пятерых игравших возле нее детишек. Посидев немного, она встала, когда шла игра, и не спеша побрела к дому — такая высокая, вызывающая любопытство, элегантная равнодушная, безмолвная фигура для декора на большой зеленой лужайке, перед большим, белым, ласкающим глаз домом.

Когда начался третий сет, поднялся ветер, и теперь трудно было подавать свечи и играть с воздуха, и они решили закончить. Пожав друг другу руки, игроки подошли к боковой стороне корта, выпили по стакану оранжада. Мальчишки Уилларда бесцеременно цеплялись за отца, пытались вскарабкаться ему на спину, требовали апельсинового сока, а детишки Баумэна, стоя поодаль, скромно, молча наблюдали за отцом и подошли только после того, как он, налив каждому по стакану, позвал их. Они тихо сказали «спасибо» и вновь отошли в сторонку, со стаканом в руках.

— Как жаль, что вы не проведете здесь у нас все лето, — сказал Баумэн, обращаясь к Мартину. Они сидели на краю корта, медленно потягивая из стаканов сок. — Вы бы значительно подняли уровень тенниса в округе. Вам, наверное, даже удалось бы время от времени заставлять вашего несчастного старика шурина подбегать поближе к сетке. — Он добродушно фыркнул, подмигивая Мартину и вытирая полотенцем пот со лба.

— В конце недели мне нужно быть в Париже, — сказал Мартин, внимательно глядя на его лицо, ожидая быстрой смены выражения на нем из-за чувства облегчения.

Но ничего не заметил. Баумэн легко растирал лицо полотенцем, был спокоен и мило ему улыбался.

— Нам будет вас не хватать, — сказал он, — особенно на уик-энды. Во всяком случае, вы сегодня придете к нам на обед, не так ли?

— Он хочет успеть на шестичасовой поезд в Нью-Йорк, — объяснил ему Уиллард.

— Но это же глупо, — сказал Баумэн. — У нас в саду будет барбекью1. Если, конечно, не пойдет дождь. — Он говорил дружески, радушным, гостеприимным тоном.

— Ну, — вдруг решил про себя Мартин, — может, я приду.

— Вот и молодец, — без всякого притворства воскликнул Баумэн. Уиллард искоса бросил на Мартина удивленный взгляд.

— Не пожалеете, уверяю вас. Я прикажу этим ленивым сельчанам постараться, сделать все так, как надо. Ну ладно. Дети! — крикнул он. — Пора завтракать.

По пути домой Уиллард оторвал свой взгляд от дороги и посмотрел на Мартина.

— Почему ты вдруг передумал, Мартин? — спросил он. — Все из-за миссис Баумэн, разве не так?

— Но она очень красива, как ты считаешь? — ответил Мартин.

— Все местные донжуаны не раз пытались, не повезет ли им. — Сказал, широко улыбаясь, Уиллард. — Ничего не вышло. Напрасный труд.

— Папочка, — спросил мальчик постарше с заднего сиденья, — а что такое донжуан?

— Это был один человек. Он жил очень, очень давно, — тут же ответил Уиллард сыну.

Весь день Мартин, осмелев, задавал кучу вопросов по поводу четы Баумэнов. Ему стало известно, что они женаты уже четырнадцать лет, что богаты (семья миссис Баумэн владела заводами по переработке хлопка, а у Баумэна в Нью-Йорке была своя контора), часто устраивают у себя вечеринки, их любят все в округе, Уилларды навещают их два-три раза в неделю, и этот Баумэн, нужно сказать, в отличие от других мужей-ловеласов в их общине, никогда, пожалуй, не заглядывался на других женщин.

Одеваясь к вечернему столу, Мартин все больше мучился сомнениями. Когда он впервые увидел Баумэна на вечеринке, то был уверен, что именно этот человек глядел на него, когда он стоял у окна в гостиной и когда он встретил его во второй раз сегодня утром на теннисном корте, такая уверенность только окрепла. Но их дом, жена, дети, все то, что ему рассказали Уиллард с Линдой о чете Баумэн, прежде всего та радушная, раскованная манера, с которой он приветствовал его перед игрой, настойчивое приглашение на обед, его искреннее расположение без тени притворства, — все эти обстоятельства, словно объединившись в заговоре против него, Мартина, поколебали его прежнюю твердую уверенность. Если там, за окном, на самом деле стоял Баумэн, то он не мог не узнать Мартина и не мог не понять, что и Мартин его узнал. В конце концов они глядели друг на друга при ярком свете секунд десять, никак не меньше, на расстоянии пяти футов друг от друга. Если бы это был Баумэн, то чего проще для него, — отменить теннисную игру, позвонить, сказать, что у него похмелье, или что сегодня поднялся сильный ветер, или еще бог весть сколько привести других оправданий.

— Черт подери! — выругался Мартин про себя, завязывая перед зеркалом галстук. Он знал, что сегодня вечером ему нужно что-то предпринять, предпринять обязательно, но он чувствовал, что сбит с толку, что торопится, что ему приходится действовать в одиночестве, и поэтому он не был до конца уверен в самом себе, и это накануне тех его действий, которые могут иметь либо трагические, либо причудливо-комические последствия. Когда он сошел вниз, Уиллард сидел один в гостиной, читая воскресные газеты. Как хотелось Мартину рассказать ему обо всем, пусть возьмет часть груза такой ответственности и на свои плечи. Ему будет легче. Но как только собрался заговорить, в комнату вошла Линда, готовая к отъезду, и он промолчал. Вместе с ними он пошел к автомобилю, все с той же тяжкой ношей на плечах, чувствуя, как ему не хватает еще двух недель, месяца, чтобы организовать тщательное наблюдение, чтобы двигаться вперед осторожно, действовать, соблюдая приличия, но действовать решительно и бесповоротно. Однако у него не было этих двух лишних недель. У него в распоряжении была всего одна ночь. Впервые с того момента, как бросил свою работу в Калифорнии, он пожалел о своем желании уехать во Францию.

Баумэны устроили большой прием, на который приехало более двадцати гостей. Был теплый вечер, и все они собрались на лужайке, на которой стояли столы с фонарями «молния» с горевшими в них свечами, бросающими мягкий щедрый свет на сидевших за ними гостей. Два нанятых Баумэном по такому случаю официанта носились взад и вперед от длинного вертела в конце сада к приглашенным, а там, в глубине, сам Баумэн в фартуке шеф-повара и с раскрасневшимся от жары лицом жарил на открытом огне сочные бифштексы.

Мартин сидел за одним столом с миссис Баумэн, между ней и какой-то красивой молодой женщиной по фамилии Уинтерс. Она отчаянно флиртовала с каким-то мужчиной за соседним столом. Какое же было удивление Мартина, когда он узнал, что миссис Уинтерс кокетничает со своим собственным мужем! Миссис Баумэн рассказывала Мартину о Франции, где она побывала, правда, еще совсем девочкой, до войны, и еще раз, пять лет назад. Как выяснилось, она проявляла особый интерес к гобеленам и посоветовала Мартину съездить в Байо, чтобы полюбоваться там в местном соборе самыми большими их образцами, а также посетить Музей современного искусства в Париже, где можно было ознакомиться с работами современных художников, работающих в этой области декоративного искусства.

Голос у нее был мягкий, нежный, ровный, без модуляций, и у него складывалось впечатление, что она говорит и о более интимных вещах все тем же мелодичным, бесстрастным, неизменным, завораживающим тоном, словно исполняет песню в миноре, по собственной прихоти опустив ее на октаву ниже.

— Не собираетесь ли вы в скором времени снова во Францию? — поинтересовался Мартин.

— Нет, — сказала она. — Я теперь не путешествую.

Она тут же повернулась к соседу справа, и Мартин так и не успел спросить ее, почему она больше не путешествует, и его удивила эта ее фраза, резкая, окончательная, словно твердое заявление о проводимой отныне политике. До конца трапезы беседа за столом носила общий характер, Мартин время от времени подключался к ней, но порой посматривал в сторону Баумэна, который с раскрасневшимся лицом играл роль тамады за столом в своем белом фартуке шеф-повара. Он говорил довольно громко, суетился с бутылкой вина, тут же весело смеялся любой шутке гостей, но ни разу не посмотрел на столик, за которым сидела его жена рядом с Мартином.

Уже было близко к полуночи, некоторые из гостей разъехались по домам, и тут, наконец, Мартину представилась возможность поговорить с Баумэном наедине. Тот стоял у стола, придвинутого к стене дома, который служил им чем-то вроде бара, и наливал себе в стакан бренди. Он снял свой примелькавшийся фартук и, наливая бренди, внимательно глядел вниз, на струю, — лицо у него было бледным, оно вдруг показалось Мартину каким-то отстраненным, уставшим, как будто в эту минуту он забыл о вечеринке, о своей роли хозяина, об отъезжающих гостях. Мартин подошел к нему, намереваясь воспользоваться паузой, которую ожидал вот уже полчаса.

— Мистер Баумэн, — сказал он.

Секунду или две, казалось, Баумэн его не слышал. Потом, почти незаметно встряхнувшись, поднял голову, и на его губах вновь появилась воздушная, дружеская улыбка, которая не сходила с его лица весь вечер.

— Гарри, мальчик, — воскликнул Баумэн. — Гарри!

— Да, Гарри, — повторил за него Мартин.

— Но у вас пустой стакан, — сказал Баумэн, протягивая руку за бутылкой.

— Нет, благодарю вас, — сказал Мартин. — Мне достаточно.

— Вы правы, — сказал Баумэн, — выпивка лишает вас сна по ночам.

— Знаете, — сказал Мартин, — я думал над вашей проблемой.

— Гм... какой такой проблемой? — Баумэн скосил на него глаза.

— Ну, ваш теннисный корт, — торопливо начал Мартин. — Я имею в виду, что он расположен на возвышенности, и когда начинает дуть сильный ветер, ну, как сегодня утром, например...

— Ах, да, — спохватился Баумэн. — Какая досада, не правда ли? Думаю, что мы выбрали для площадки не то место, слишком открытое для северных ветров, но главный строитель настоял на своем. Не знаю, право, там что-то с дренажем, — небрежно махнув рукой, он поцеживал бренди из стакана.

— Знаете, — продолжал Мартин, — я могу показать вам, как нужно все устроить.

— На самом деле? Отлично! Вы очень любезны, — проговорил Баумэн заплетающимся языком. — Приходите как-нибудь ко мне и мы...

— Видите ли, — сказал Мартин, — я завтра утром уезжаю и...

— Ах, да, конечно, — Баумэн затряс головой, словно ужасно недовольный своим провалом в памяти, — Франция! Ярко освещенный город. Я совсем забыл. Какой вы счастливчик. В вашем возрасте...

— Знаете, — продолжал осуществлять свой замысел Мартин, — если мы сейчас сходим туда вдвоем, это займет немного времени, всего пару минут...

Баумэн с озадаченным видом поставил стакан на стол и, заморгав, уставился в лицо Мартина.

— Да, конечно, — сказал он. — Как любезно с вашей стороны.

Они пошли через сад, между столами, к теннисному корту. Его забор, переплетение остроконечных железных жердей с проволокой, маячил на фоне звездного неба в нескольких сотнях ярдов.

— Мартин, — позвала его Линда. — Куда это вы оба направились? Пора домой.

— Мы вернемся через минуту, — крикнул ей Мартин.

Они с Баумэном взбирались по покатому склону, и в густой влажной от ночной росы траве не было слышно их шагов.

— Хочу надеяться, что вам не было скучно на вечеринке, — сказал Баумэн. — Кажется, у нас было мало молодежи. Молодых людей всегда недостает...

— Я ничуть не скучал, — ответил Мартин. — Вечеринка была просто замечательной.

— На самом деле? — пожал плечами Баумэн. — Нужно же что-то уметь делать, — загадочно сказал он.

Они подошли к теннисному корту, и серп луны освещал ее разметку. Ветра не было, и на площадке было очень тихо. Сюда за сотню ярдов от дома доносились звуки заканчивающейся вечеринки со свечами. Их было немного, но они их отчетливо слышали.

— У одного моего приятеля возникла точно такая проблема, — сказал Мартин, не спуская пристального взгляда с Баумэна. — На теннисном корте, построенном на окраине Санта-Барбары, он высадил живую ограду с северной подветренной стороны. Через пару лет изгородь достигла высоты восьми футов, и теперь можно было на площадке делать все, кроме свечей, то есть играть нормально, даже если поднимался ураганный ветер. Ее нужно высаживать в двух футах от забора, чтобы она с ним не срасталась и чтобы в ней не пропадали мячи. Как раз вот на этом месте, — указал рукой Мартин.

— Да, да. Отличная идея, — сказал Баумэн. — Я поговорю об этом со своим садовником на этой же неделе.

Он стал теребить «молнию» на брюках.

— Не присоединитесь? — спросил он. — Думаю, что мочеиспускание — это одно из самых острых удовольствий. Добавим же еще немного росы при лунном свете в этот излишне механизированный век.

Мартин терпеливо ждал, когда Баумэн снова застегнет «молнию». Жикнув ее язычком, он, довольный, сказал:

— Ну вот и все! — словно ребенок, совершивший какой-то достойный похвалы поступок. — Ну а теперь, думаю, пора возвращаться к гостям.

Мартин положил свою руку на локоть Баумэна.

— Баумэн, — строго сказал он.

— Ну! — Баумэн остановился, в голосе его слышались нотки удивления.

— Что вы делали под окном дома моей сестры в пятницу ночью?

Баумэн чуть отстранился от него и, повернувшись к нему, посмотрел прямо в лицо Мартина.

— Что такое? — Он засмеялся. — Ах, это шутка, не правда ли? Ваша сестра не говорила мне, что вы большой шутник. По правде говоря, у меня сложилось впечатление, что вы серьезный, но слишком молодой человек. Это ее несколько беспокоит, призналась однажды она мне, теперь я это ясно помню...

— Что вы делали под окном? — повторил свой вопрос Мартин.

— Боюсь, мальчик, вам лучше поехать домой, — предложил Баумэн.

— Обо мне не беспокойтесь, — парировал Мартин. — Я поеду домой. Но я расскажу сестре с Уиллардом, что за окном в ту ночь стояли вы, вызову полицию и им тоже все расскажу.

— Мальчик, вы уже начинаете мне надоедать, — тихо сказал Баумэн, улыбаясь на светящийся серп луны. — Вы всем надоедаете и, прежде всего, самому себе. Никто вам не поверит, чтоб вы знали.

— Моя сестра мне поверит. Поверит и Уиллард. — Мартин зашагал к саду, освещенному зажженными в фонарях свечами. — Ну а потом увидим. — Он услыхал за спиной шаги Баумэна. Тот его нагонял.

— Подождите, минутку, — сказал он.

Мартин остановился, и теперь снова они пристально глядели в лицо друг друга.

Баумэн фыркнул. Раздался сухой звук.

— Вот почему вы, мой мальчик, решили остаться здесь еще на одну ночь.

— Да, поэтому.

— Я так и думал, — кивнул Баумэн.

Он растирал лицо тыльной стороной ладони и от его щетины до Мартина доносились скрипящие звуки.

— Ну, предположим, это был я. Чего вы хотите?

— Я хочу знать, что вы там делали, — твердо сказал Мартин.

— Какая вам разница? — возразил Баумэн. Теперь он был похож на упрямого, безрассудного ребенка, и голос у него повышался, становился плаксивым, хныкающим. — Что-нибудь украдено? Что-то разбито? Скажем так, — я наносил визит.

— С лестницей? — спросил Мартин. — Ничего себе визит, черт бы вас побрал!

— Нельзя разбрасывать повсюду лестницы, это должны знать все, — устало сказал Баумэн. — Почему вы не оставите меня в покое? Почему не катитесь в свою Францию, пристаете ко мне? Оставьте меня в покое!

— Что вы там делали? — упрямо повторял Мартин.

Баумэн в отчаянии неловко взмахнул руками.

— Я там гулял, — сказал он.

— Спрашиваю в последний раз, — продолжал Мартин, — или вы мне признаетесь, или я иду в полицию.

Баумэн тяжело вздохнул.

— Я всегда занимаюсь только одним, я наблюдаю, — сказал он, переходя на шепот. — Я никогда никому не причинял вреда. Почему бы вам, мой мальчик, не оставить меня в покое?

— Что значит, — наблюдаю?

Баумэн почти беззвучно фыркнул.

— Я наблюдаю за счастливыми людьми, — сказал он. Теперь в голосе его чувствовалось кокетство, словно у молодой девушки, и Мартин впервые стал сомневаться в здравом уме этого человека, стоявшего перед ним на покрытой росой траве, слабо освещенной лунным светом. — Вас это удивляет, — но скажите, сколько счастливых людей живут здесь в нашей округе? Всех возрастов, любой конфигурации, всех религий.

...Все они ходят с широкими, добрыми улыбками на лицах, все они радушно пожимают друг другу руки, они уходят по утрам на работу и целуют на станции своих жен, возвращаются с работы домой, они поют на вечеринках, бросают монеты в церковную кружку, произносят речи на встречах ассоциации родителей и учителей, они приглашают к себе друзей, хвастаются друг перед другом достигнутыми успехами, они занимаются любовью, кладут деньги в банк на свой счет и покупают страховые полисы, они заключают сделки, привечают родственников со стороны мужа или жены, крестят их детей, покупают новые дома, каждый год проходят медицинское освидетельствование по поводу возможного заболевания раком, и, кажется, все они знают, что делают, чего хотят, куда идут... Точно как я. — Он снова чуть слышно фыркнул, и послышался все тот же скрипучий звук. — Главный вопрос заключается вот в чем, — кого они пытаются одурачить? Кого я пытаюсь одурачить? Посмотрите на меня.

Он подошел поближе к Мартину, дыхнув на него скопившейся в нем смесью джина, вина и бренди, и его дыхание обожгло алкогольными парами лицо Мартина.

— Ну, чего мне не хватает? Самый большой дом во всей округе, самая красивая жена. Я с гордостью могу сказать, что все мужчины пытаются к ней приставать, но она и глазом не ведет. Трое воспитанных детишек, которые всегда говорят: «Да, сэр, нет, сэр» и перед сном читают молитвы: «если я умру, не проснувшись» и «почитай мамочку и папочку». Все это, скажу я вам, — показуха! Не верьте этому ни на одну минуту. Иногда я занимаюсь любовью со своей женой, но это абсолютно ничего не доказывает. Все равно, что какой-то зверь-самец в джунглях покрыл такого же зверя-самку. Один напирает, другой сдается, — так бы я выразился. Больше ничего. Когда я встаю с кровати, когда снова ложусь по ночам, мне стыдно за себя, я не чувствую себя разумным человеческим существом. Вы можете это понять? Я пьян, конечно, пьян, но если бы я был с собой честен, когда трезвый, то сказал бы себе точно такие же слова. Но волнуют ли все мои переживания мою жену? Нет, она куда сильнее озабочена тем, купит ли она зеленые шторы на следующий год для столовой, чем тем, — жив я или уже умер. Когда я утром ухожу на работу, мне кажется, что она трижды в день замирает на месте, пытаясь вспомнить, как же меня зовут. А мои дети? Да они — подданные совершенно другого, отдельного государства, живущие за границей, ожидающие только удобного момента, чтобы объявить мне войну. Готовят мне сюрприз. Бросил бомбу, и нет дорогого папочки. Все это вполне нормально. Дети убивают своих отцов ежедневно. Уж не говоря о том, что они бросают их, обрекая на гибель. Пусть себе умирают. Вы только посмотрите на те дома, где живут престарелые. Это поистине больничные палаты для неизлечимо больных. Я целый день сижу в своем офисе, я нанимаю людей, я их увольняю, я занимаюсь важным делом, что-то предпринимаю, но позади меня, за спиной все время, постоянно, я чувствую этот вакуум, ничего, кроме этого большого, безграничного вакуума.

Мартин чуть отошел назад, чтобы не задохнуться от его перегара, чтобы не поддаться этому стремительно прорвавшемуся бурному потоку слов из этого человека, который до последнего момента говорил более или менее так, как и все остальные, как те, кого Мартин встретил за этот уик-энд.

— Но все же, — сказал он, пытаясь выяснить, не хочет ли этот хитрец Баумэн отвлечь его от главного вопроса своей несвязной, трескучей, жалкой исповедью, — какое все это имеет отношение к подглядыванию в окна и использованию лестницы, чтобы взобраться на балкон?

— Я и сам ищу ответа на этот вопрос, — сказал Баумэн, с хитрецой, широко улыбнувшись. — Ведь я исследователь, я ищу оазис посередине великой американской пустыни. Мне кажется, на этот вопрос есть ответ. Я верю, что некоторые люди не пытаются никого одурачить. Они кажутся такими счастливыми, и они на самом деле счастливы. Только их нужно заставать врасплох, мой мальчик, так, чтобы они не знали, что за ними наблюдают, если только вы хотите раскрыть этот секрет. Если кто-то знает, что за ним наблюдают, то на его лице непременно появляется улыбка, точно так как улыбаетесь вы, когда вас фотографируют у памятника во время каникул. Зверь в своей обычной среде обитания. Лучше всего застать его в самый важный момент, как говорят фотографы, когда его секрет выходит наружу. Например, когда поздно вечером он сидит за чашкой кофе на кухне и говорит жене о своей жизни. Что в эту минуту отражается на его лице? Ненависть, любовь, скука? Может, он думает, чтобы удрать во Флориду с другой женщиной? Может, он помогает своему десятилетнему сынишке справиться с домашним заданием? Что на самом деле можно увидеть на его лице? Не расстался ли он пока с последней надеждой? Или когда они занимаются любовью. Что они демонстрируют? Нежность, свойственную человеческим существам? Прикасаются ли они друг к другу доброжелательно, сердечно, с благодарностью, или они терзают друг друга, как двое совокупляющихся животных, так как это получается у меня с женой?

— Вы хотите сказать, — спросил Мартин, не веря собственным ушам, — что наблюдаете за людьми и в такие интимные моменты в их жизни?

— Ну, это само собой разумеется, — спокойно ответил Баумэн.

— Вы сошли с ума, — сказал Мартин.

— Ну, если вы будете разговаривать со мной в такой... — Баумэн недоуменно пожал плечами, по-видимому, сильно огорчившись от того, что его неверно поняли. — В таком случае, какой смысл пытаться вам все это объяснить? Что же, на ваш взгляд, безумнее, — жить так, как живу я, ничего не чувствуя, думая только о том, что у кого-то есть свой секрет, и пытаться открыть его, этот секрет, но для этого, вполне естественно, нужно что-то предпринять. Или же отказаться от всей затеи, сдаться... Что же это такое? Неужели все вокруг — это лишь пустой номер? Для всех и для каждого? Вам это известно? Может, и вам следовало бы понаблюдать за жизнью за парами окон, — с презрением бросил Баумэн. — У вас такое честное, лишенное всякого притворства, пытливое лицо истинного калифорнийца. Я возьму вас с собой на свои прогулки. И вы тоже получите свою дозу наркотика, глядя вон на тех людей, которые сейчас сидят у меня в саду, — он жестом руки указал в сторону своего дома, сада, освещенного зажженными свечами. — Скажем, на ту красотку, которая сидела по вашу правую руку за столом во время обеда. Я имею в виду миссис Уинтерс. Она постоянно толчется возле своего мужа, все время смеется его глупым шуткам, как будто он зарабатывает не меньше миллиона долларов в год на телевидении, а на вечеринках они ходят, взяв друг друга за руку, как будто поженились всего три дня назад. Я бывал у их дома, бывал... Знаете, чем они там занимаются по вечерам?

— Не желаю даже слышать, — сказал Мартин. Ему очень понравилась миссис Уинтерс.

— Да ладно вам, — насмешливо сказал Баумэн, — не ломайте комедию. Мой рассказ не оскорбит вашей целомудренной скромности. Они не разговаривают, не произносят ни слова. Она поднимается к себе, проглатывает пригоршню пилюль, натирает мазью себе лицо, делает себе ночную «маску» и ложится в постель, а он сидит внизу один, с только одной-единственной зажженной лампочкой и глушит неразбавленное виски. После того как «уговорит» половину бутылки, он ложится на кушетку, не раздеваясь, в туфлях или домашних тапочках. Я был возле них четыре раза, и все четыре раза — одна и та же картина. Пилюли, виски, молчание. А на глазах — они просто влюбленные птички. Боже, просто смешно. Ну а другие... даже когда они одни. Вы знаете нашего священника, преподобного праведного отца Фенуика?

— Нет, — сказал Мартин, — не знаю.

— Конечно, не знаете, откуда вам его знать? Вы ведь сегодня утром играли в теннис, забыв о почитании Бога, — Баумэн снова насмешливо фыркнул. — Несколько недель назад, в воскресенье, я нанес визит дому этого божьего человека. Его спальня находится на первом этаже. Этот холеный седовласый джентльмен выглядит просто чудесно. Если бы вам понадобился актер, способный сыграть в кино роль Папы римского, то он справился бы со своей задачей за каких-то пять минут. На его губах всегда блуждает смиренная, мягкая улыбка, и, кажется, божественное всепрощение, исходящее от него, передается на всем пространстве штата Коннектикут. Ну и чем он занимался, когда я стал подглядывать за ним? Как вы думаете? Он стоял перед большим, чуть ли не до потолка, зеркалом в одних шортах, втянув в себя живот, критически оглядывая себя анфас и одобрительно — в профиль. Вы бы поразились, в какой хорошей форме он находится — для этого ему нужно делать ежедневно, по крайней мере, по пятьдесят отжиманий. Стоя перед зеркалом, он легкими прикосновениями пальцев взбивал себе волосы, как это обычно делают женщины, чтобы с помощью особой прически достичь эффекта той потусторонней небрежности во внешнем виде, которой он повсюду славится. Он всегда, кажется, слишком поглощен постоянным общением с Господом, и, вполне естественно, никогда не обращает внимания на такие мирские пустяки, как расчесывание волос. Он кривлялся перед зеркалом, строил рожицы, воздевал руки в священном благословении, тренируясь к своему следующему воскресному представлению, почти голый, в одних шортах, а ноги у него под стать опытному футбольному защитнику. Старый притворщик, кривляка. Я не знал, на что рассчитывал, о светлейший, что застану его стоящим на коленях, за молитвой, в полном слиянии с Господом, со счастливым выражением на лице, которое не всегда встретишь в церкви.

В отношении плотских удовольствий, — продолжал Баумэн, резко, неожиданно переключаясь на другую тему, переходя на доверительный шепот и сильнее наклоняясь к Мартину в темноте, — я решил испытать наших африканских родственников...

— Что вы несете? — спросил, озадаченный, Мартин.

— Я имею в виду наше цветное население, — сказал Баумэн. — Они ведь ближе нас к первозданным позывам. Короче говоря, я почитал их менее заторможенными. У Слокумсов есть одна парочка цветных. Вы видели их вчера вечером, они разносили коктейли. Обоим около тридцати пяти. Мужчина громадных размеров, глядя на него, можно подумать, что он способен свернуть горы голыми руками. И его жена, такая красавица. Слишком высокого роста, чернокожая, с большими роскошными грудями и просто фантастической задницей. Однажды я сидел за ними в кинотеатре. Когда они начинали смеяться, то мне казалось, что это грохочут пушки, отдавая воинский салют из двадцати одного залпа. Я думал, что если хоть раз увижу их вместе в одной постели, то я просто сгорю от стыда за свои скучные, безжизненные, бесстрастные, избегающие греха, пуританские любовные объятия белого человека. Так вот, однажды я их увидел. В доме Слокумсов сразу за кухней у них небольшая комнатка, и там можно беспрепятственно подойти к окну довольно близко. Я увидел их, они оба лежали в одной кровати, и чем, как вы думаете они занимались? Любовью? Ничуть не бывало. Они читали. И знаете, какую книгу она читала? «Слабый пол». Это французская книжка о том, как плохо всегда обращались с женщинами, начиная с эпохи плейстоцена1. А он, представьте себе, читал Библию. Открыл ее на первой странице. «Вначале было Слово», — Баумэн снова засмеялся, — по-видимому эта история приводила его в восторг. — Я ходил к их окну еще пару раз, но они задернули шторы, и поэтому я так и не узнал, что они тогда читали, лежа в кровати...

— Гарри! Гарри! — Это кричала миссис Баумэн. Она стояла неподалеку, всего в каких-то тридцати ярдах от них, словно расплывшееся белое пятно в лунном свете. — Что это вы здесь делаете? Гости уезжают по домам.

— Да, дорогая, — крикнул Баумэн. — Сейчас идем. Мы просто отошли с мистером Мартином подальше, чтобы переброситься парочкой соленых шуточек. Я иду.

— Поторапливайся, уже поздно. — Миссис Баумэн, повернувшись, пошла назад к дому через освещенное лунным светом пространство. Баумэн молча следил за ней, по его глазам было видно, что он, озадаченный, над чем-то мрачно размышляет.

— Что вам было нужно от моей сестры и от Уилларда? — спросил Мартин, потрясенный до глубины души тем, что услыхал от него, но сейчас он был ничуть не больше уверен в том, что ему следует предпринять, чем тогда, когда он приехал к ним сегодня вечером.

— Они были моей последней надеждой, — сказал Баумэн низким голосом. — Однако пойдемте лучше к дому. — Он пошел по лужайке, Мартин шел рядом.

— Если двое кажутся так тесно связанными друг с другом, такими дорогими друг для друга, доставляющими друг другу большое удовольствие... Я приезжал домой по вечерам на том же поезде, что и Уиллард, и наши жены нас ждали, хотя ваша сестра казалась немного не такой, она готовилась к этой встрече, и как только она видела его, что-то отражалось на ее лице. Они, конечно, не похожи на Уинтерсов, и время от времени прикасаются друг к дружке кончиками пальцев. Но вот при общении со своими детьми... Им что-то известно, что-то особенное, они что-то обнаружили, то, чего я пока не знаю и чего мне лично обнаружить не удалось. Когда я вижу их вместе, мне кажется, что я подошел к самому краю, еще шаг — и я обо всем узнаю. Я уже рядом, у цели, вот она — рядом. Вот почему вы чуть не поймали меня в ту ночь. Боже, я занимаюсь этим многие годы, и никто никогда и близко ко мне не подходил. Я ведь осторожен, как кот. Но той ночью, когда я наблюдал за вами тремя, я вдруг забылся, утратил представление о том, где я нахожусь. И вот когда вы подошли к окну... я... я хотел улыбнуться... сказать... да... да, сказать вам что-то хорошее... Ах, может, я ошибаюсь и в отношении этой пары.

— Нет, — задумчиво ответил Мартин, — вы не ошибаетесь.

Они уже подходили к столам в саду, когда кто-то включил в доме радиоприемник, и из громкоговорителя на террасе полилась музыка, а несколько пар начали танцевать. Уиллард танцевал с Линдой, он вел ее легко, почти не прикасаясь к ней, едва удерживая в своих объятиях. Мартин резко остановился, схватил Баумэна за руку, чтобы остановить его. Баумэн дрожал, и Мартин хорошо чувствовал эту мелкую дрожь даже через рукав пиджака, словно этот человек замерзал.

— Послушайте, — сказал Мартин, глядя на танцующую пару — свою сестру с мужем. — Я обязан рассказать им об этом. Обязан сообщить и в полиции. Даже если никто ничего не сможет доказать, вы прекрасно знаете, что полагается вот за такие ночные прогулки с подглядыванием, особенно здесь, где вы живете?

— Да, конечно, — сказал Баумэн, не спуская взгляда с Уилларда; глаза у него были какими-то тоскующими, в них сквозило отчаяние, недоумение. — Ах, да делайте, что хотите, — резко бросил он. — Какая мне разница?

— Но я ничего не скажу сейчас, — продолжал Мартин, чувствуя, что голос у него становится куда грубее, чем он этого хотел, потому что он хотел подавить в себе всякую жалость к этому человеку. — Но не забывайте, моя сестра пишет мне письма каждую неделю. Если мне станет через нее известно, что какой-то человек бродит под окнами... пусть это случится только раз, один-единственный раз...

Баумэн пожал плечами, все еще следя за танцующей парой.

— Вам ничего не станет известно, — сказал он. — Я намерен теперь по ночам торчать дома. Я знаю, что мне никогда так и не удастся что-нибудь понять. Для чего это ребячество? Для чего обманывать себя?

Он отошел от Мартина, крепкий, тронувшийся человек, этот шпион в ночной мгле, карманы которого были набиты сбивающей с толку развединформацией, которую нельзя было расшифровать. Он медленно шел между танцующими парами, и через мгновение Мартин услыхал его смех, — громкий, добродушный, он доносился до него от стола, который служил им баром. Вокруг него стояли трое или четверо гостей, включая мистера и миссис Уинтерс, которые обнимали друг друга за талию.

Мартин перевел взгляд с этого стола на сестру, танцующую с мужем на выложенной каменными плитами террасе под нежную, полуночную музыку, которая звучала в саду приглушенно и ненавязчиво. Глядя на них, теперь все понимая иначе, по-новому, он думал, что Уилларду не было никакой нужды вести жену, а Линде покорно повиноваться партнеру, — они просто мягко скользили вместе, словно слились каким-то таинственным, непреодолимым образом, и теперь им не грозила никакая опасность.

«Бедняга Гарри», — подумал он, не отрывая взора от Линды, чтобы, улучив мгновение, крикнуть ей, что он готов идти домой. Но даже сейчас, когда он все понял, Мартин решил, что завтра же утром пойдет и купит им сторожевого пса.

МЕЧТАТЕЛЬНАЯ, НЕЖНАЯ, ВЕСЕЛАЯ...

Зазвонил телефон, и мисс Дрейк подняла трубку. Мисс Дрейк — мой секретарь. Мне ее официально представили на Рождество, когда я стал младшим партнером в компании «Рональдсон, Рональдсон, Джонс и Мюллер». У нее — свой стол в моем кабинете. Он крохотный, всего девять на восемь футов, и в нем нет окна, но мой секретарь — это вполне осязаемый, вещественный знак того, что я продвигаюсь в карьере, не стою на месте. Я частенько поглядываю на своего секретаря с тем же торжествующим чувством владельца яхты и спортсмена, который стремится к великим достижениям, к выигрышу первого своего кубка в парусной регате.

— Мистер Ройял, — сказала мисс Дрейк, — это вас. Какая-то мисс Хант. — Голос у нее был явно провокационным, она всегда так говорит, то ли обиженно, то ли снисходительно, то ли и то и другое вместе, когда меня просит к телефону женщина, пусть даже жена.

«Какая-то мисс Хант».

Я колебался, не зная, как поступить, тщательно взвешивая ожидающие меня подводные камни.

Мисс Дрейк ждала. Она была новой сотрудницей в нашей фирме, и Кэрол Хант для нее на телефонной линии была лишь «какой-то мисс Хант». Она еще не нашла своей ниши в сложной служебной иерархии и поэтому не слышала еще всех сплетен. Или, быть может, эта сплетня настолько устарела, обзавелась «большой бородой», что даже самые злобные, самые болтливые секретарши считали ее настолько затасканной и надоевшей, что к ней можно было снова прибегнуть лишь в крайнем случае, когда все остальные будут исчерпаны до дна. В конце концов это произошло два года назад...

У любой душевной боли есть свои правила, и те люди, которые утверждают, что человечество делает все, чтобы ее избежать, по сути дела, не знают, о чем говорят.

— Может, сказать ей, что вы заняты? — спросила мисс Дрейк, прикрыв ладошкой трубку. Она принадлежала к разряду тех девушек, которые рано или поздно будут уволены, так как позволяют себе слишком часто думать и принимать решения за своих работодателей.

— Нет, — сказал я, рассчитывая, что мое лицо не изменилось, оставаясь таким же деловым, как и в обычный рабочий день. — Я с ней поговорю.

Мисс Дрейк переключила рычажок, и я снял трубку. Вот он ее голос, наконец я услыхал Кэрол через два года.

— Питер, — сказала она, — думаю, ты не рассердишься на меня из-за этого звонка.

— Конечно, нет, — подтвердил я. Но что бы я ни испытывал в эту минуту, слово «рассердишься» никак не отражало моих истинных чувств. Не то слово.

— Сколько мне приходилось спорить с самой собой, горячо убеждать, неделями, — сказала она, — и я все откладывала, откладывала, и вот сегодня, по-моему, наступил последний день. Мне просто необходимо поговорить с тобой. — Голос у нее был такой, как всегда, — низкий, натренированный, мелодичный, чувственный.

Я повернулся на стуле, чтобы мисс Дрейк не видела моего лица. Закрыв глаза, я слушал ее, слушал, и эти два года, казалось, скользили мимо меня, давно утраченные, болезненные до сих пор, они с опаской отдалялись от меня, а Кэрол Хант звонила, чтобы сказать, что хочет встретиться со мной в баре возле своего дома на Второй авеню, звонила, чтобы напомнить мне, что нас ждут к ланчу в воскресенье в Уэстпорте, звонила, чтобы сказать мне, что она любила меня...

— Я уезжаю сегодня днем, Питер, — звучал ее голос, серьезный, текучий, с солнечными нотками далекого детства, который когда-то доставлял мне столько удовольствия, — и если тебя не затруднит, мне хотелось бы повидаться с тобой. Очень. Всего на несколько минут. Я должна тебе кое-что сказать...

— Ты уезжаешь? — Как мне хотелось, чтобы в эту минуту мисс Дрейк вышла из кабинета. — Куда же ты едешь?

— Домой, Питер, — сказала Кэрол.

— Домой? — глупо переспросил я. Почему-то я всегда ассоциировал дом Кэрол с Нью-Йорком.

— В Сан-Франциско, — пояснила она. — Мой поезд отходит в три тридцать.

Я посмотрел на часы. Было одиннадцать пятьдесят.

— Послушай, — сказал я. — Может, я приглашу тебя на ланч? — Я сразу решил ничего не говорить об этом Дорис. В конце концов после шести с половиной месяцев брака муж имеет право на одну маленькую ложь.

— Я не смогу пойти с тобой на ланч, — сказала Кэрол.

Спорить с ней не имело смысла. Может, за эти два года в ней произошли какие-то перемены, но в этом она явно не изменилась ни на йоту.

— Когда? — спросил я. — Когда ты хочешь встретиться со мной?

— Ну, мой поезд уходит с Пенсильванского вокзала, — сказала она. — Скажем, давай встретимся напротив, в баре Статлера, идет?

Она замолчала, по-видимому, репетируя в уме, что собирается сказать мне, точно рассчитывая при этом время, как это делает директор радиопрограмм с секундомером в руках.

— Ну, скажем, в два тридцать?

— Два тридцать, — повторил за ней я. Потом отколол одну из тех шуток, которые заставляют тебя просыпаться по ночам и ворочаться в постели: — Что на тебе будет? — спросил я. — На всякий случай, если я тебя не узнаю. — По-видимому, я хотел доказать ей, что два прошедших года особенно не сказались на мне, хотя, конечно, это была неправда. Сказались, и еще как. Или мне хотелось показаться ей беспечным, «крутым», потому что такая была мода; все те, кого мы знали, всегда старались казаться беспечными, «крутыми», видавшими виды людьми.

В трубке молчали, и я вдруг забеспокоился, уж не намерена ли она повесить ее и прервать наш разговор.

Но она все же заговорила. Голос у нее был ровный, повинующийся ее воле, и в нем не чувствовалось никакой особенной любви.

— На мне будет улыбка, — сострила она в свою очередь, — широкая, девичья, все отрицающая улыбка. Итак, встречаемся в два тридцать.

Я положил трубку на рычаг и попытался поработать еще с полчасика, но, само собой, у меня ничего не получалось. Наконец, прекратив бесплодные попытки, я встал из-за стола, надел шляпу, пальто и сказал мисс Дрейк, что меня не следует ожидать раньше четырех часов. Одно из преимуществ, получаемых от моего положения младшего партнера компании «Рональдсон, Рональдсон, Джонс и Мюллер», заключалось в том, что я имел право время от времени брать себе выходной либо на весь день, либо на часть его, чтобы как следует подготовиться к встрече личной трагедии или какого-то торжества, только если трагедии и торжества не следуют беспрерывно чередой, с частотой, мешающей нормальной работе.

Я бесцельно бродил по городу, ожидая, когда же наступит условленное время, — два часа тридцать минут. Был холодный, ясный солнечный день, и Нью-Йорк сверкал в своем зимнем наряде, к его яркому блеску добавлялся свет из миллионов окон, смешанный с плотными тенями, отбрасываемыми его северной частью, и вся эта мешанина делала город еще более оживленным, еще более самоуверенным, еще более привлекательным и забавным. Интересно, как себя чувствует сейчас Кэрол, — ведь ей через три часа уезжать из этого города.

Я впервые встретился с ней на театральной вечеринке с коктейлем на одной квартире на Пятьдесят четвертой улице. Я еще был новичком в Нью-Йорке, и поэтому ходил на все вечеринки, куда меня приглашали. У Гарольда Синклера, работавшего со мной вместе в одной конторе, был брат, Чарли-актер, и он время от времени брал нас с собой, когда его куда-нибудь приглашали. Мне нравились такие вечеринки с театральным людом. Девушки, как правило, там бывали очень красивые, полно выпивки, и все гости такие яркие, щедрые личности, такие забавные и привлекательные, особенно после целого дня, проведенного в среде скучных адвокатов.

Она стояла у стены, разговаривая с какой-то пожилой женщиной с голубоватыми волосами, вдовой одного продюсера, как я узнал позже. Я никогда прежде не видел Кэролин Хант ни на сцене, ни за пределами театра, и она пока еще не сыграла ни одной значительной роли, чтобы ее запомнили зрители и показывали на нее на улице рукой. Стоило мне только раз посмотреть на нее, как я понял, что она — самая красивая из всех девушек, которых мне приходилось встречать в жизни. Возможно, я в этом убежден и по сей день.

Она не поражала воображения, но, кажется, вся сияла, стоя в углу прокуренной, забитой гостями комнаты, такая вся ухоженная, пышущая здоровьем, свежая, как дыхание весны. Невысокого роста; блондинка с аккуратной прической, с выразительными голубыми глазами, простыми, без малейшей аффектации движениями. Когда она разговаривала с вдовой продюсера, то не стреляла похотливо глазками по сторонам, как большинство других сексуально озабоченных женщин. Нежная тонкая шея над высоким воротником платья, губы почти без помады, почти детские, подвижные, мягкие и веселые. Она производила впечатление очень хрупкий, абсолютно невинной и очень молодой девушки, и хотя мы с ней оказались в таком месте, где все приглашенные в той или иной мере связаны друг с другом через театр, мне показалось, что она, как и я, здесь — чужаки. Мне также казалось, что из-за ее такой хрупкости, равнодушного отношения к макияжу на нее мало обращали внимание, и я был единственным из гостей, который сразу понял, как она красива, но, как оказалось, я, конечно, сильно заблуждался на этот счет.

Через три месяца я сделал ей предложение.

За эти три месяца мы с ней виделись почти ежедневно, по вечерам я поджидал ее у служебного входа после окончания спектакля и уводил, проявляя обычную мудрость скупердяя, ужинать в дешевые, маленькие, тихие ресторанчики. Я видел ее на сцене шесть или семь раз, и хотя ей доставались только небольшие, ничем не примечательные роли, в которых не блеснешь, я уходил из театра всякий раз с непреоборимым чувством, что она — поразительно талантливая актриса.

Любовники обычно становятся хорошими биографами, и за эти три месяца таких тихих, таких спокойных ночей я рылся в ее прошлом, отдавая себе отчет в том, как я полагал, что если мне удастся обнаружить самые скромные подробности ее детства и юности и определить точный уровень снедающих ее амбиций, я тем самым сильнее привяжу ее к себе, заставлю принадлежать только мне одному и никому больше.

Чем больше я узнавал о ней, тем сильнее убеждался, что она не только очень красивая девушка, но и необычная, просто экстраординарная девушка, такая ценная находка для меня.

Со времени окончания войны я постоянно испытывал какое-то неловкое чувство, что очень много моих друзей, как мужчин, так и женщин, позволили себя размягчиться, расслабиться, плыть по течению, ограничивая все свои желания. Хотя было легко придумать тысячу оправданий для этого в неспокойной атмосфере нашего времени, я ловил себя на мысли, что очень многие люди, которых я больше всех любил и к которым был так сильно привязан, становятся, по существу, людьми абсолютно бесполезными и недостойными. Поэтому, когда я неотвратимо влюбился в Кэрол Хант, то, к своему великому облегчению, обнаружил в ней девушку с массой достоинств.

Она приехала в Нью-Йорк пять лет назад, наряду с четырьмя или пятью тысячами других девушек-провинциалок. Она только что закончила колледж и твердо сказала одному молодому спортсмену, бегавшему на восемьдесят восемь ярдов быстрее любого другого на всем Тихоокеанском побережье страны, что она не выйдет за него замуж. Его звали Дин, и он был скорее похож на кинозвезду, чем на спринтера, рассказывала о нем Кэрол, а его родители были владельцами целой сети отелей на Западном побережье. Насколько она могла судить, учитывая ее молодость, неопытность и природную гордость от того, что получила предложение от молодого человека, за которым гонялись все ее знакомые девушки, она была влюблена в него. У нее на счету лежало всего пятьсот долларов, отец ее умер, а мать вышла снова замуж за какого-то инженера, но все равно она не приняла его предложения.

Она ответила ему отказом потому, что хотела поехать в Нью-Йорк и стать там актрисой. Она, конечно, отлично понимала, насколько банальны подобные девичьи амбиции, знала и о четырех тысячах других кандидаток на такую профессию, которые, вместе с неудачниками и победителями предыдущих лет, включатся в конкурентную борьбу на этой постоянно уменьшающейся арене за несколько призов театрального сезона. Она прекрасно знала, насколько серьезную азартную игру ей придется вести, какой высокой ставкой она рисковала (своей молодостью, своим любимым, быстроногим молодым человеком, сетью отелей и всем, что становилось ее неотъемлемой частью); она знала, что такое случай, везение в ее профессии, знала, как понапрасну многие растрачивают свой талант, знала высокую вероятность и горечь провала.

Она все заранее рассчитала, рассчитала логически и всем сердцем, потому что была интеллектуальной и умевшей логически мыслить девушкой, и такое особое качество, насколько она знала, возвышало ее над остальными четырьмя тысячами претенденток, которые, вполне естественно, принимая во внимание саму природу театра, никогда добровольно не уступят ей дорогу. После таких зрелых размышлений она сняла со своего банковского счета пятьсот долларов, поцеловала на прощание своего бегуна и, промаявшись три дня и четыре ночи в душном вагоне, приехала в Нью-Йорк.

Она сделала все это только потому, что сходила с ума по сцене или имела ложные представления о веселой сценической жизни, или потому что она была авантюристкой по натуре, готовой жить только в этом странном громадном городе и встречаться с такими мужчинами, которых не встретить никогда в ее родном Сан-Франциско. Она пошла на это только потому, что знала, что у нее большой талант, и потому, что больше ничем на свете она не желала так страстно заниматься. Она шла на это только из-за непреодолимой навязчивой идеи артистки, преданной искусству.

Скромный успех пришел к ней почти сразу. Она получала маленькие роли и играла их вполне приемлемо, или даже лучше, чем от нее ожидали, а иногда и совсем хорошо. Но она не получала от них никакого удовлетворения, и это причиняло ей непереносимые муки, заставляя чувствовать свою неполноценность. Необходимость сдерживать свои силы, подавлять свой талант, который, как ей было отлично известно, никак не мог с этим смириться и рвался наружу, играть только эпизодические роли, заставляла ее переживать, ей казалось, что она только зря растрачивает свое время, теряет одну возможность за другой, напрасно расходует свою внутреннюю энергию.

Три или даже четыре раза ее приглашали на прослушивание, одно за другим, чтобы посмотреть, как она справляется с ведущими ролями, в таких пьесах, в которых другие девушки добились больших успехов. Но всякий раз случалось что-то непредвиденное, — то звонила из Голливуда какая-то «звезда», предлагая свои услуги на весь сезон; то находили девушку, которая, в глазах директора театра, больше подходила к артисту, играющему главную роль; то актриса, которую едва прежде замечали критики, вдруг вырывалась на оперативный простор и путала ей все ее карты.

Всякий раз после такого случая она старалась обуздать свое разочарование, не дать ему целиком овладеть ею, она терпеливо соглашалась на маленькие, эпизодические роли и играла их с затаенной яростью, пополам, как выражалась она, с очарованием инженю. Она старалась, как могла, не наживать себе врагов, ни на кого не имела зуба. И когда, наконец, она ухватила свой шанс, когда путаница событий в конечном счете прояснилась и все они соединились на трамплине, с которого она устремилась вверх, по лестнице удачи, она не оставляла за своей спиной ни обиженного на нее директора, ни слегка рассерженного, чувствующего перед ней свою вину продюсера; ни одной завистливой актрисы, желающей вставить ей палки в колеса.

Тем временем она пробовалась на телевидении и после участия в трех разных программах решила отказаться от всех подобных предложений. Конечно, ей были нужны деньги, но эти три телепрограммы лишний раз заставили убедиться ее в том, что она, работая на телевидении, причиняла себе, своему таланту гораздо больше вреда, и любые деньги этого не стоили. Она разработала точную концепцию, как ей лучше всего работать, она знала, что она — одна из тех актрис, которые должны прежде всего как следует прочувствовать порученную роль, которым нужны продолжительные репетиции и недели размышлений, чтобы полностью вжиться в роль. Речь, конечно, шла не о ее скромности, а скорее о гордости, о ее доверии своему критическому взгляду, что позволяло ей осознавать одно, — несколько коротких репетиций на телевидении, которые могли себе позволить телевизионщики, не давали ей возможности играть так, как это требовалось, даже если такое требование выдвигала перед собой только она сама.

Когда ей, как и множеству других красивых девушек, в театре предлагали тест с помощью записи, она упорно над ним работала, и когда видела результаты предпринятых усилий на экране, то оставалась ими вполне довольна. Человек, отвечавший за проведение такого теста, который обычно сидел в проекционной вместе с ней, когда ее запись демонстрировалась на экране, тоже находился под большим впечатлением от ее игры. Он был человеком старым, долгие годы работал в театральном бизнесе и повидал на своем веку немало красивых и талантливых девушек.

— Очень хорошо, мисс Хант, на самом деле, — говорил он. У него был мягкий, вежливый голос и весьма обходительные манеры, и он имел обычно привычку осаживать излишне прытких, жадных до успеха молодых людей, хотя и старался это сделать убедительно, без нажима. — Но на побережье будут явно недовольны формой вашего носа.

— Что такое? — переспросила его Кэрол, задетая за живое. Она так гордилась своим носом, и ей казалось порой, что это самая красивая часть ее привлекательного лица. Он был у нее довольно длинный, чуть изогнутый, с нервно подрагивающими, напряженными ноздрями, и один одаренный молодой человек, который был приставлен к ней в качестве партнера, однажды сказал ей, что у нее точно такой нос, как у великих английских красоток на портретах восемнадцатого века. Он, правда, на какой-то миллиметр был сдвинут в сторону, но для того чтобы заметить такой ее дефект, нужно было долго пристально вглядываться в ее лицо, к тому же такое незначительное, легкое отклонение от эталона красоты, по ее мнению, лишь придавало большую привлекательность ее облику. — А что плохого в моем носе? — спросила она.

— Для фильма он слишком длинный, дорогая моя, — мягко объяснил ей старик, — и как вы сами, так и я, мы оба знаем, что он не абсолютно прямой, как струна. У вас очень милый носик, и такой, которым вы вправе гордиться до конца своей жизни, — продолжал старик, улыбаясь, пытаясь подсластить горькую пилюлю, говоря ей как официальное лицо правду в глаза без всякого пристрастия, и от такого теплого отношения его правда для нее становилась куда приятнее и ценнее, — но американская публика не привыкла видеть на киноэкране молодых девушек с таким длинным носом.

— Я могла бы назвать полдюжины актрис, — упрямо возразила Кэрол, — у которых носы куда смешнее моего.

Старик, улыбнувшись, пожал плечами.

— Но ведь они «звезды». Они все — личности. А публика принимает личность безоговорочно, проглатывает сразу. Если бы вы были «звездой», то мы заставили бы изготовителей рекламы слагать поэму в честь вашего носа. И тогда, если к нам в контору пришла бы неизвестная никому девушка, все стали бы говорить: «Вы только посмотрите, у нее нос точно такой, как у Хант. Немедленно берем ее!»

Он снова ей улыбнулся, и она не могла сдержать своей улыбки в ответ, хотя и была сейчас разочарована его абсурдными, пусть и вежливыми, претензиями.

— Ну, ладно, — сказала она, вставая со своего места, — вы были очень любезны.

Но старик оставался сидеть. Он сидел на большом кожаном стуле, рассеянно прикасаясь рукой к рычажкам пульта, связанного с будкой киномеханика, молча уставившись на нее, выполняя порученную ему работу.

— Конечно, — сказал он, — кое-что можно сделать.

— Что вы имеете в виду? — спросила Кэрол.

— Носы, — продолжал старик, — тоже творения Господни, и они тоже могут подвергаться вмешательству со стороны человека.

Теперь Кэрол ясно видела, что он смущен тем, что ему навязывают сверху, и поэтому и разговаривает с ней столь напыщенно и красноречиво, словно оратор, чтобы она не догадалась, насколько он всем этим смущен. Она была уверена, что найдется не так много актеров или актрис, способных привести в замешательство этого старика, ветерана экрана, и ей это явно льстило.

— Пластическая операция, — продолжал старик, — тут убрать кусочек, тут немного поцарапать косточку, и через три недели вам почти гарантирован такой нос, который получит всеобщее одобрение повсюду.

— То есть, вы хотите сказать, что через три недели у меня будет настоящий, стандартный, совершенный нос маленькой «звезды», так?

Старик печально улыбнулся.

— Ну, более или менее так.

— И что вы потом сделаете?

— Я добьюсь для вас контракта, — сказал старик, — и предскажу для вас вполне многообещающее будущее на побережье.

«Вполне, — повторила про себя Кэрол. — Вполне многообещающее. Он не лжет даже в своих предсказаниях». Теперь ей казалось, что она ясно видела те образы, которые сейчас родились у него в голове. Даже если он молчал, ничего ей не говорил.

Красивая девушка, подписавшая контракт, с ее приемлемым подделанным носом, которую используют для рекламы купальников в неподвижных кадрах, для небольших ролей, а потом, может, и в не столь увлекательных главных ролях и не столь увлекательных картинах в течение двух, трех, четырех лет, а после этого ей придется уйти, уступить место другим девушкам, помоложе, таким, которые в данный момент кажутся более привлекательными.

— Нет, благодарю вас, — сказала Кэрол. — Я так привязана к своему длинному кривому носу.

Теперь старик встал, кивая головой, как будто он и сам лично был без оглядки за компанию доволен принятым ею твердым решением.

— Но для театральной сцены он у вас совершенен, — сказал он, — абсолютно совершенен. Даже больше.

— Я хочу сказать вам кое-что по секрету, — с привычной искренностью ответила Кэрол, чувствуя, что может открыться перед этим человеком куда больше, чем перед любым другим в этом громадном городе. — Знаете, я здесь только потому, что если сделаешь себе имя в кино, то будет куда легче устроиться в любом театре. Я всегда мечтала только о театральной сцене.

Старик внимательно в упор смотрел на нее, воздавая ей за ее искренность вначале своим удивлением, а потом горячим одобрением.

— Тем лучше для театра, для театральной сцены, — галантно, по-старинному сказал он. — Я вас снова позову.

— Когда же? — спросила Кэрол.

— Когда станете великой театральной «звездой», — тихо сказал он. — И тогда я предложу вам все деньги мира, только чтобы вы работали у нас.

Он протянул ей руку. Кэрол ее пожала. Он держал ее руку в своих, а его лицо мрачнело, она заметила на нем сожаление, легкую скорбь, вызванную его воспоминаниями о всех тех красивых, пригожих, тщеславных и смелых девушках, которых ему пришлось увидеть за последние тридцать лет своей жизни.

— Ну разве у вас не захватывает дух? — спросил он, широко улыбаясь и похлопывая ее по руке своими розоватыми старческими руками.

\*

— Я тоже, — сказал я, когда она рассказала мне об этом, — очень привязан к твоему носу, такому, какой он есть. И к твоим волосам, таким, какие они есть. И к твоим губам. И к твоей...

— Ну-ка поосторожнее, — оборвала она. — Не забывай, что одна из причин, почему ты мне нравишься, заключается в том, что ты человек сдержанный и не выходишь за рамки.

Так что мне пришлось после этого еще немного потерпеть и не выходить за рамки.

Преданно храня свой талант, Кэрол всегда старалась не растрачивать его зря, беречь только для себя одной. Одержимость, — как-то вечером она объяснила ему, — собственными способностями и неизбежным триумфом в будущем очень легко может создать для любой женщины репутацию грубой эгоистки и вызвать отвращение со стороны тех людей, от которых мог зависеть ее хороший шанс на успех. Но главными ее достоинствами, о которых она всегда судила хладнокровно, обманывая себя понапрасну, были ее легкость, мечтательность, одушевление, юность, романтический настрой. Это — весьма достойные качества, и их, конечно, неплохо иметь, и в театре с применением такого оружия удачно складывалась не одна великая карьера, но она никогда не смогла бы их продемонстрировать на сцене, если бы, сойдя с подмостков, начала разглагольствовать с самоуверенностью генерала, командующего своими победоносными войсками, или священника-евангелиста, проповедующего реальность преисподней.

Поэтому она тащила за собой свои амбиции, как незадекларированный багаж на таможне, обращалась с ними как со своим магическим, скрытым источником, придававшим ей силы только тогда, когда никто и не подозревал о его существовании. По сути дела, чтобы скрыть свой живой источник, многого не требовалось. Так как ее тщеславие знало, подталкивало ее только к самому полному самовыражению на сцене, она не разменивалась на временные, бессмысленные успехи в светской жизни. На приемах и вечеринках она никогда не стремилась стать центром всеобщего внимания, воздерживалась от резких критических замечаний, даже не пыталась увести у своих соперниц драматургов и директоров театров, с которыми те обычно появлялись на людях, то есть тех деятелей, от которых во многом зависело получение хороших ролей. Она всегда была осмотрительной и разборчивой с мужчинами и всегда старалась быть в мужской компании нежной, мечтательной, одухотворенной, учтивой, в меру веселой, юной, романтически настроенной девушкой... И только отчасти, слегка циничной.

Постоянно делая за три месяца открытия, одно за другим, я преследовал двойную цель. По своей природной склонности и по воспитанию, я человек методичный, и чувствовал, что мне удается многое узнать о той девушке, которой, когда придет время, мог бы сделать предложение. Кроме того, все, что я узнавал о ней, казалось мне все более и более ценным приобретением. Трезвость ее суждений, поставленная перед собой альтруистическая цель возвышали ее над теми молодыми, ничего не имевшими за душой женщинами, с которыми мне приходилось общаться, а ее отвага, смелость, ее ум, позволявшие ей быть такой, как она была, мне казались весьма солидным основанием для нашего будущего брака. К тому же сочетание таких довольно строгих добродетелей с ее мягкостью и молодостью казалось мне особенно очаровательным и трогательным.

Ну а сделанное ею самой открытие, что после пяти лет нарочитой сдержанности она вдруг заводит себе конфидента1, который не будет соперничать с ней и не станет предавать, который восхищался как раз теми ее качествами, которые она старалась скрыть от других, кажется, ослабило туго натянутые струны ее нервов, сняло тяжкий груз с ее плеч. Вначале мое любопытство вызывало в ней только одно подозрение, но в конечном счете именно оно, наравне со многим другим, подвело ее к той черте, когда она призналась мне в любви.

Мы сидели с ней в моем автомобиле перед ее домом на Восточной Пятьдесят восьмой улице, когда я сделал ей предложение. Это был воскресный вечер, и я заехал за ней в театр, где она репетировала пьесу, которой открывается театральный сезон в Бостоне ровно через двадцать дней. Чарли Синклер играл в той же пьесе, и мы все вместе остановились, чтобы выпить, после чего я должен был отвезти ее домой через весь город. Уже было поздно, кажется, половина двенадцатого, ведь уже стояла осень, и на улице было темно и безлюдно. «Почему бы не сделать этого сейчас, — подумал я. — Вполне подходящее время, нисколько не хуже любого другого».

Я спросил ее, не хочет ли она выйти за меня замуж, но она промолчала. Она сидела так же собранно в своем широком шерстяном пальто рядом со мной, на переднем сиденье, и смотрела прямо перед собой, на темную улицу, на выстроившиеся в ряд уличные фонари.

Впервые я предложил девушке выйти за меня замуж, и я, можно сказать, не был знаком со всеми тонкостями такой процедуры, а судя по всему, от Кэрол никакой помощи в этом деле ожидать не приходилось.

— Я делаю такое предложение только из-за соображений здоровья, — сказал я, шаловливо улыбаясь, чтобы покончить с ненужной церемонностью такого момента, чтобы ей было легче сказать, что она на самом деле думает об этом. — Мне приходится вставать очень рано, в семь утра, чтобы вовремя добраться до работы, и если мне придется каждый день возить тебя на ужин и задерживаться в твоей компании до половины двенадцатого, то через пару месяцев буду похож на жалкий старенький «форд» 1925 года выпуска. Я долго так не выдержу, я не могу долго быть страдающим от безнадежной любви молодым адвокатом, который отнимает так много времени у страдающей от безнадежной любви актрисы.

Кэрол все молчала, глядя через ветровое стекло, и ее профиль отчетливо вырисовывался на фоне лунного света уличных фонарей.

— Погоди минуточку, — наконец, вымолвила она. — Я должна сказать тебе кое-что очень важное.

— Можешь располагать целым часом, — сказал я. — Целой благословенной прекрасной ночью.

— Я ждала, что ты это скажешь, — сказала Кэрол. — И я хотела чтобы ты это сказал.

— Что именно? — спросил я. — Что я подрываю свое здоровье ночной работой?

— Нет, что ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж.

— Послушай, у меня в голове возникла блестящая идея, — сказал я, придвигаясь к ней. — Давай поженимся на следующей неделе, прежде чем ты все разузнаешь о моем прошлом, или о моих прежних похождениях времен войны, и поедем куда-нибудь, где тепло и не так много адвокатов. Проведем там наш медовый месяц. Я могу отправиться в такое путешествие недель на шесть, учитывая, что это — мой первый медовый месяц.

— Я не могу уехать на шесть недель, — сказала Кэрол. — Это только часть того, что я хотела тебе сообщить.

— Ах, да, — вздохнул я. — Театр. Я совсем запамятовал, но, может, в Бостоне вас ожидает провал, все быстро кончится, и мы сможем улететь на Сицилию уже на следующий день после начала гастролей...

— Никакого провала не будет, — возразила она. — Будет успех. Но даже если его не будет, я не могу оставить Нью-Йорк на целых шесть недель в разгар театрального сезона.

— Отлично, — сказал я, — в таком случае проведем наш медовый месяц на Сорок четвертой улице.

— Выслушай меня, — сказала Кэрол, — я хочу нарисовать тебе картину нашей совместной жизни, если мы на самом деле поженимся.

— Ну я-то знаю, как это будет, когда мы поженимся, — уверенно продолжал я. — Просто сногсшибательно!

— Я хочу, чтобы ты имел в виду одно. Я хочу стать великой актрисой.

— Черт, я не собираюсь из-за этого переживать. Я — человек современный. Если бы на то была моя воля, я бы раскрыл настежь все двери гаремов.

Я, конечно, не имел понятия, как нужно вести себя, когда делаешь впервые предложение девушке, но я никогда не ожидал, что при этом стану откалывать одну сомнительную шуточку за другой, от которой бросало в дрожь.

— Я вот что хочу тебе сказать, — упрямо продолжала Кэрол. — Если я выйду за тебя замуж, то только на определенных условиях. В общем, я беру на себя роль мужчины...

— Послушай, дорогая, — сказал я. — Никто ведь не возражает против избирательного права женщин...

— То есть, я хочу сказать, — продолжала Кэрол, — что я не намерена быть одной из тех околотеатральных девушек, которые потопчут годика два сцену, потом выскакивают замуж, рожают детей и переезжают из города в пригород, и после этого лишь вспоминают до конца жизни, какими актрисами они когда-то были в Нью-Йорке...

— Послушай, дорогая, погоди минуточку, — сказал я. — Никто не собирается переезжать в предместье...

— Главным в моей жизни — сказала Кэрол, — муж никогда не будет. Главным будет моя работа, то есть то, что является главным для любого мужчины в его жизни — его работа. Ну как ты посмотришь на это? Положительно? — хрипло спросила она.

— Класс! — воскликнул я. — Я просто в восторге!

— Пока он еще не появлялся, — сказала Кэрол. — Но обязательно появится. Мой шанс. И когда он появится в непосредственной близости от меня, то будь спокоен, я уж не пропущу его. Я не собираюсь ездить в отпуска, нянчить детишек или организовывать дома игру в бридж. И если мне придется уехать на гастроли с какой-то пьесой на целый год, потому что так нужно, то...

— Ах, моя дорогая леди, — застонал я, — только не сегодня вечером...

Она наконец засмеялась, и мы поцеловались. Потом мы просто сидели с ней, прижавшись друг к дружке, в полузабытьи, и я уже толком не помнил, о чем она мне говорила. Я сказал: «О'кей, все равно все устроится». Она кивнула, поцеловала меня снова, и мы тут же пошли в бар, чтобы отметить такое событие. Мы решили пожениться где-то в июне, к этому времени в любом случае ее спектакль снимут с репертуара.

Когда я прощался с ней у двери, я поцеловал ее, пожелал спокойной ночи, и потом, крепко сжимая ее в своих объятиях, очень серьезно сказал:

— Один вопрос, Кэрол...

— Да, слушаю тебя.

— А что будет, — сказал я, — если ничего не произойдет? Если твой шанс так никогда и не появится?

Она колебалась несколько мгновений. Потом медленно, здраво сказала: «Я буду испытывать горькое разочарование всю оставшуюся жизнь».

Но шанс все же появился, причем всего три недели спустя после нашего разговора, но появился так, как никто не мог предсказать, и он прикончил нас.

Мы с ней говорили по телефону почти каждый вечер, и в предпоследний раз, когда я позвонил ей, было уже около часу ночи и она была в своем номере в отеле. Премьера состоялась за два дня до этого, и она сообщила, что в одной из вечерних газет появилась небольшая приятная рецензия на ее игру, что Эйлен Мансинг, «звезда», вернувшаяся из кино на сцену, чтобы сыграть главную роль в спектакле, тоже получила очень хорошую прессу, и теперь уже не закатывала истерик во время репетиций. Она также сказала, что любит меня, что с нетерпением ждет воскресенья, когда я приеду утренним поездом повидаться с ней на уик-энд.

Двенадцать часов спустя после этого звонка, когда я ушел с работы на ланч, то по дороге купил газету, и там, на первой полосе, увидел фотографию Кэрол. Рядом с ней была помещена фотография человека по имени Самуэль Боренсен, и обе фотографии появились рядом по весьма странному случаю, — этой ночью в четыре часа тридцать минут Самуэль Боренсен был обнаружен мертвым в номере Кэрол Хант в отеле в Бостоне, на ее кровати.

Фотография Самуэля Боренсена часто мелькала в газетах на протяжении всей его жизни, — вот он, улыбающийся, стоит на трапе самолета перед вылетом в Европу на очередную конференцию; вот он, как истинный патриот, выступает с речью на банкете лидеров американской индустрии; вот он с торжественным видом получает ученую степень на церемонии по случаю начала учебного года. Он был одним из тех людей, которые постоянно перемещаются с места на место в рекламных целях, произносят речи, делают всевозможные заявления, в общем чем-то руководят. Я никогда его не встречал прежде и не знал, что они знакомы с Кэрол.

Я внимательно изучил фотографию. Красивый, полный, крепко сбитый мужчина, который явно знает себе цену. Я прочитал статью под фото и узнал, что ему было пятьдесят лет, что он женат и у него почти взрослые дети, которые живут в Палм-бич. По мнению корреспондента, Кэрол — привлекательная молодая блондинка, которая в настоящее время играет в спектакле «Миссис Ховард», премьера которого должна состояться в Нью-Йорке через две недели.

Я выбросил газету в урну, вернулся домой и позвонил в Бостон.

Я был удивлен, как быстро меня соединили с номером отеля Кэрол. Я считал, что сейчас, когда ее фотографии появились на первых полосах многих газет, до нее будет невозможно дозвониться.

— Да, слушаю, — ответила она своим спокойным, мелодичным голосом.

— Кэрол, это я, Питер.

— Ах, ты.

— Не приехать ли мне к тебе? — спросил я, стараясь, чтобы в моем голосе не проскальзывали нотки осуждения или какого-то вывода вообще.

— Нет, — ответила она, — не стоит.

— Ну, — сказал я, — в таком случае, прощай!

— До свидания, Питер.

Я положил трубку. Я выпил, позвонил на работу и сказал, что меня не будет десять дней. Я уезжаю из города.

Я ведь рассказал на работе о своей помолвке, и они все читали газеты, поэтому никто из начальства не возражал. «Давай поезжай», — напутствовали меня.

Я сел в машину и поехал в штат Коннектикут, в небольшой городок, где был очень приятный отель, в котором я останавливался прежде, летом, и где завтракал. Я там оказался единственным постояльцем и проводил все свое время за чтением, совершал прогулки, разглядывал голые ветки деревьев на фоне зимнего, неживого пейзажа.

Я все время думал о Кэрол. Подробно анализировал эти три месяца, когда мы были вместе, пытаясь отыскать какой-то ключ, который не заметил то ли из-за своей глупости, то ли из-за страстного увлечения ею — но сколько ни искал, так ничего не нашел, ни одной зацепки. Имя Боренсена никогда не всплывало в наших разговорах, к тому же я был уверен, что даже если у нее были какие-то привязанности прежде, если у нее были какие-то мужчины, то она наверняка порвала с ними со всеми после того, как мы с ней встретились, и я не мог вспомнить, сколько ни старался, ни одного случая, когда она отказывала мне, когда я звонил ей и просил о свидании.

Как это ни странно, я не рассердился на нее. Мне, конечно, было больно, я был потрясен, и одно время даже хотел уехать навсегда из Нью-Йорка, начать все сызнова где-нибудь в другом месте, но, увы, я беспокоился гораздо больше из-за нее, чем из-за самого себя. Я постоянно видел перед собой Кэрол, — такую хрупкую, чистенькую, совсем еще девочку, в окружении докторов, полицейских, репортеров, к тому же ей приходилось выходить на сцену перед пожиравшими ее глазами, жадной до сплетен, все новой и новой публикой, и такая картина не давала мне спать по ночам. Ну а что касается ее карьеры, то с ней все покончено, — так считал я. После пяти дней вынужденного одиночества в пустом отеле, когда почти постоянно думал только об одной Кэрол, я начал лихорадочно размышлять, чем же могу ей помочь.

«Любовь, — начинал открывать я для себя, — не прекращается, когда это для кого-то очень удобно, только потому, что в один прекрасный день ты разворачиваешь за ланчем газету и видишь фотографию своей девушки на первой полосе».

Я уже хотел сесть в машину и рвануть в Бостон, чтобы на месте определить, чем я мог бы помочь Кэролин, когда вдруг вспомнил, что Чарли Синклер играет с ней в одном спектакле. Вначале я позвонил Гарольду Синклеру на работу, чтобы получить от него номер телефона его брата и потом вызвал по телефону лично Чарли в Бостоне. Перед тем, как приехать в этот город, нужно узнать, что там с Кэрол и можно ли ей чем-то помочь. У меня в голове теперь и мысли не было о женитьбе. Я отправлялся туда по другой причине: меня ждала миссия спасителя, — мрачно убедил я себя, и я не собирался приносить никакой жертвы.

— Привет, Питер, — услышал я голос Чарли, когда наконец-то нас соединили. — Что скажешь хорошего? — Казалось, он страшно удивлен моим звонком.

— У меня все хорошо, — сказал я. — Ну а как там дела в Бостоне?

— Впервые за последние две ночи оказался в своем номере, — сказал Чарли.

— Меня это не интересует, — нетерпеливо сказал я. Чарли Синклер человек легкомысленный и всегда мог ляпнуть что-нибудь не к месту. Может, именно поэтому он стал актером. — Как там Кэрол?

— Цветет и пахнет, — сказал Чарли. — Она такая молодчина, совсем не сломлена, может позировать для статуи, которая не льет слез, а держит в руке стаканчик с джином.

Я всегда считал, что ему нравилась Кэрол. Вдруг я понял, почему Кэрол всегда была такой немногословной по поводу окружающих ее театральных людей.

— Как там к ней относятся? — спросил я его, стараясь не терять терпения в разговоре с ним. — Я имею в виду партнеров по спектаклю.

— Все ужасно предупредительны с ней, — сказал Чарли, — можно подумать, что умер ее родной папочка, черт подери!

— Ее попросили написать заявление об уходе?

— Ты что, спятил? — удивился Чарли. — Они рвут на себе волосы за то, что не выложили ее имени лампочками на рекламном щите. Как ты думаешь, почему это у нас каждый вечер — аншлаг?

— Ты шутишь? — Я все еще ему не верил. — Знаю, что порой творится в театре, но это уже слишком.

— Шучу? — протянул он. — Да ты что! Когда она выходит на сцену, публика издает какой-то булькающий звук, потом наступает гробовая тишина, можно подумать, что их всех там передушили в их креслах. И тут просто кожей чувствуешь, как все они внимательно следят за ее малейшим движением, малейшим жестом, как будто кроме нее никого на сцене нет, и эта рампа горит для нее одной весь вечер. И когда она уходит, то весь зал просто взрывается. Несчастная Эйлен Мансинг готова просто лопнуть от злости.

— Мне все это неинтересно, — сказал я ему. — Как она сама все это воспринимает?

— Кто знает, — холодно ответил Чарли. — Как девушка вообще все это воспринимает? Могу тебе только сказать, если тебе это интересно, что, по словам директора театра, сейчас она играет раз в двадцать лучше, чем прежде.

— Ну, — чувствуя неловкость, протянул я, — тогда просто замечательно.

— Это почему же? — спросил он.

— Еще один вопрос, — сказал я, проигнорировав его «почему». — Как ты думаешь, ей после этого будут предлагать контракты?

— Да они все с ног сбились, — ответил Чарльз. — Уже два театральных агента приехали из Нью-Йорка. А ты приедешь?

— Нет, вряд ли, — ответил я.

— Люди умирают каждый день, — сказал Чарльз. — Одни завещают свои трупы науке, другие — искусству. Не нужно ли что передать ей от тебя?

— Нет, не нужно, — ответил я. — Спасибо тебе.

— Хороший же ты приятель, — с упреком проговорил Чарльз. — Ты даже ни разу не поинтересовался, какие успехи у меня.

— Ну, какие у тебя успехи, Чарли?

— Вшивые, — сказал он и невесело фыркнул. Трудно даже себе представить, что он с братом — выходцы из одной семьи.

— Ладно, увидимся в Нью-Йорке.

Он повесил трубку.

«В конце концов какой смысл слоняться из угла в угол в пустом отеле в Коннектикуте в разгар зимы», — подумал я и уехал назад в город, вернулся на работу. Первые несколько дней мне было тяжело, — каждый раз, когда я входил в комнату, мне казалось, что сотрудники только что говорили обо мне. Даже теперь, два года спустя после того, как это случилось, когда я подхожу к той или иной компании и люди сразу прекращают беседу, у меня возникает болезненное подозрение. Я ловлю себя на том, что начинаю выискивать у них на лицах признаки их отношения ко мне, — потешаются ли они надо мной или искренне жалеют?

Хотя я и не собирался снова увидеть Кэрол, но, увы, в день премьеры ее спектакля я сидел на балконе, один, весь съежившись, чтобы меня никто не узнал. Я не обращал особого внимания на пьесу, а с нетерпением ждал первого выхода на сцену Кэрол, и когда она вышла из-за кулис, то сразу понял, что Чарли Синклер мне не лгал. По рядам пронесся шорох, приглушенный шепот, и воцарилась благоговейная тишина. Теперь я понял, почему Чарли образно сказал, что «для нее одной горит рампа весь вечер». Каждое ее движение, каждый шаг по сцене немедленно приковывали к себе внимание публики, и даже самые банальные ее реплики, самые обычные перемещения наполнялись каким-то особым, скрытым значением, придавая такую важность ее роли, которой та в общем-то не заслуживала.

На самом деле она играла гораздо лучше, чем прежде. Она была такой же красивой, но играла с какой-то неведомой прежде уверенностью в себе, играла спокойно и безмятежно, словно повышенное внимание к ней публики глубже раскрывало ее природный талант.

Когда упал занавес, то ей аплодировали так же неистово, как и «звезде» Эйлен Мансинг, и когда я выходил вместе с толпой зрителей из театра, то имя ее было у всех на устах.

Наутро я купил все газеты и убедился, что она получила немало критических откликов, гораздо больше, чем заслуживала ее роль. Театральные критики — это вам не падкие на сплетни журналисты, и они ничего не говорили о том, что произошло в Бостоне, а двое из них пошли так далеко, что даже предсказали ей скорое присоединение к клану «звезд». А один, которого, насколько мне известно, Кэрол считала самым прозорливым критиком в Нью-Йорке, в своей рецензии на ее игру использовал такие слова, как мечтательная, нежная, веселая и романтичная.

Что до моей собственной реакции, то я не испытывал ни горечи, ни особого удовольствия. Я просто, онемев, старался удовлетворить свое любопытство и, кажется, искал, как в самом театре, так и в газетах на следующий день, ключ к этой загадке, мне хотелось узнать, где же я совершил ошибку.

После этого я не встречался с Кэрол, но внимательно следил за ней по театральным полосам газет и был ужасно удивлен, когда прочитал, что она выходит из состава актеров в спектакле «Миссис Ховард» и теперь берется за главную роль в другой пьесе. Я пошел на премьеру и этого спектакля, и, когда увидел имя Кэрол, написанное аршинными буквами на афишах, не только удивился, но еще и испытал чувство удовлетворения. Хотя мы с ней окончательно расстались, на меня, несомненно, все еще действовала моя вера в ее талант, и я был очень доволен, что все мои предсказания так быстро сбылись.

Продюсеры, проявив свою тонкую проницательность, умело использовали ее в своих целях. Они поручили ей роль молодой девушки, такой милой и такой трогательной на протяжении двух с половиной актов, но в конце становящейся настоящей стервой. Они учли не только ее способности, но и ее новую репутацию, и никто не мог бы представить Кэрол в более выгодном свете, чем теперь.

Самое интересное заключалось в том, что она не совсем удачно справилась с ролью. Не знаю почему, но хотя она все делала на сцене так как надо, играла уверенно, с полным самообладанием, которое редко встретишь в характере молодой девушки, но конечный результат многих разочаровал. Однако публика оказалась достаточно вежливой, и рецензии, появившиеся в газетах, были вполне приемлемыми, но критики гораздо больше внимания уделили ее партнеру и одной актрисе, игравшей пожилую женщину, гораздо больше, чем Кэрол.

Я считал, что такое довольно прохладное отношение ей не повредит и что в следующей своей пьесе, или в какой-то другой, после этой, она в конце концов добьется своего и вновь станет самой собой. Но Чарли Синклер сказал, что здесь я заблуждаюсь.

— У нее был свой шанс, — сказал он, — но она его проворонила.

— Я совсем не считаю, что она плохо играла, — возразил я.

— Она играла неплохо, — убеждал меня Чарли, — но не так хорошо, чтобы тащить весь спектакль. И теперь все это поняли. Гуд-бай!

— Ну и что будет с ней? — спросил я.

— Пьеса провалится недели через три, — сказал он, — и тогда, если она вовремя сообразит, то быстро возвратится на второстепенные или эпизодические роли. Но она не проявит своего чутья и не пойдет на это, как и любая другая актриса. Она будет слоняться по театру в ожидании другой главной роли, и наверняка найдется какой-нибудь дурак, который эту роль ей даст, и все они с удовольствием сорвут с нее маску, выставят на всеобщее обозрение такой, какая она есть, и тогда ей ничего другого не останется, как научиться печатать на машинке, или овладеть стенографией, или же найти подходящего мужика и выйти за него замуж.

Все и произошло точно так, как предсказал Чарли, что заставило меня дать более высокую оценку его уму, хотя в результате он не стал мне больше нравиться. Кэрол получила на следующий сезон роль в другой пьесе, и ее игра подверглась беспощадной, уничтожающей критике. Я не пошел смотреть ее в этой роли, потому что к тому времени я уже познакомился с Дорис и подумал, — для чего тебе все эти неприятности?

После этого я ее ни разу не видел, никогда не замечал ее имени в театральных новостях и даже прекратил видеться с Чарли Синклером. Поэтому когда Кэрол вдруг позвонила мне на работу в то утро, я и не знал, чем она сейчас занимается.

Когда я думал о ней, то не мог не признать, что в моей памяти сохранился для нее болезненный, и опасный, по-моему, для меня уголок, и я в таких случаях заставлял себя думать о чем-нибудь другом.

\*

Я пришел в бар Статлера чуть раньше, заказал себе выпить и сидел, не спуская глаз с двери. Она вошла ровно в два тридцать. На ней — бобровая шуба, которой у нее не было, когда мы с ней встречались чуть ли не ежедневно по вечерам, и ладно скроенный довольно дорогой синий костюм. Она была такой же красивой, такой, какой сохранилась в моей памяти, и я заметил, как все мужчины похотливо оглядывали ее, когда она направилась прямо к моему столику.

Я не поцеловал ее, даже не пожал руки. Кажется, только улыбнулся и сказал «хэлло», и, насколько помню, я все время думал о том, что она ни капли не изменилась, и помог ей снять шубу.

Мы сидели рядом, лицом к стойке, и она заказала себе чашечку кофе. Она никогда много не пила, и что бы ни произошло с ней за последние два года, мне казалось, что все эти ее несчастья не заставили ее пристраститься к алкоголю. Я, повернувшись на банкетке, посмотрел на нее. Она слегка мне улыбнулась, понимая, что меня сейчас в ней интересует, — я искал на ее лице признаки ее провала и горьких сожалений.

— Ну, — спросила она, — как ты меня находишь?

— Такой, как всегда, — сказал я.

— Такой, как всегда, — она беззвучно засмеялась. — Бедный Питер!

Мне совсем не хотелось начинать с этого беседу.

— Что ты собираешься делать в Сан-Франциско?

Она безразлично пожала плечами. Прежде я не замечал у нее этого жеста, — что-то новенькое.

— Не знаю, — ответила она. — Попытаюсь найти работу. Буду искать мужа. Размышлять над своими ошибками.

— Мне очень жаль, что все так произошло, — сказал я.

Она снова пожала плечами, будто ей было все равно.

— Ну, риск, связанный с нашей профессией, что поделаешь, — сказала она. Она посмотрела на часы, и оба мы подумали, что сейчас у перрона стоит поезд, и он скоро увезет ее из города, в котором она прожила семь лет. — Знаешь, я пришла сюда не затем, чтобы поплакаться на твоем плече, — сказала она. — Мне нужно рассказать тебе о том, что произошло в ту ночь в Бостоне, чтобы все стало ясно, без утаек, и у меня для этого не так много времени.

Я сидел, потягивая свою выпивку, стараясь не глядеть на нее. Она говорила. Говорила быстро, бесстрастно, без всяких эмоций, без колебаний, без пауз, словно все, что произошло в ту ночь, еще было свежо в ее памяти, она ясно видела каждую мелочь, каждую деталь, и эта ночь навсегда останется в ее памяти, на всю жизнь.

— Когда я позвонил ей, — начала она свой рассказ, — она была в номере одна. После нашего разговора по телефону просмотрела некоторые изменения, внесенные в текст ее роли. Потом легла спать.

Стук в дверь заставил ее проснуться, и она несколько секунд лежала тихо, думая, что это ей приснилось, а потом, когда поняла, что не спит, решила, что кто-то ошибся дверью и сейчас уйдет.

Но стук повторился, легкий, осторожный, но настойчивый, и теперь не было никакой ошибки.

Она включила лампу на ночном столике и села на край кровати.

— Кто там? — крикнула она.

— Открой, пожалуйста, Кэрол, — послышался за дверью женский голос, низкий, торопливый, приглушенный дверью. — Это я, Эйлен.

«Эйлен, Эйлен», — лихорадочно стала вспоминать она. Она не знает никакой Эйлен.

— Кто-кто? — сонно спросила она снова.

— Эйлен Мансинг, — долетел до нее шепот через дверь.

— Ах, — воскликнула Кэрол, — мисс Мансинг. — Она резво выпрыгнула из постели и, босая, в ночной рубашке, с бигуди на голове, подошла к двери, отворила ее. Эйлен Мансинг быстро прошла мимо, нечаянно задев ее в спешке.

Кэрол, закрыв дверь, повернулась к Эйлен. Она стояла в маленьком гостиничном номере рядом с кроватью со скомканным одеялом и простынями, и лица ее не было видно из-за яркого света единственной ночной лампы и отбрасываемых ею теней. Красивая женщина, лет тридцати пяти на сцене, и лет сорока, когда спускалась с подмостков. Молодящие ее пять лет, когда она играла на сцене, объяснялись ее смелыми экспериментами со своим лицом и головой и прямо-таки бросающимся в глаза большим запасом внутренней энергии.

Старящие ее пять лет, когда она сходила с подмостков, объяснялись ее пристрастием к выпивке, язвящей ее амбицией и, по слухам, злоупотреблением мужчинами.

На ней была черная юбка «джерси» и свитер, — их Кэрол видела на ней, когда они вместе поднимались на лифте после спектакля и попрощались в коридоре, пожелали друг другу «спокойной ночи». Дверь номера Эйлен Мансинг находилась в тридцати футах, через коридор, от двери номера Кэрол, и окна ее выходили на улицу со стороны фасада здания. Почти машинально, Кэрол заметила, что Эйлен Мансинг не пьяна, но ее чулки были слегка перекручены, а на плече не было рубиновой булавки. К тому же губы у нее были обильно намазаны губной помадой, причем не очень аккуратно, а ее большой рот, почти черный в этом слепящем свете, казалось, съехал на сторону на ее привлекательном лице.

— Что случилось? — спросила Кэрол, стараясь, чтобы ее голос звучал успокаивающе. — В чем дело, мисс Мансинг?

— Я попала в беду, — прошептала она. Голос у нее охрип, и она явно была чем-то напугана. — Серьезную, очень серьезную беду... Кто живет в соседнем номере? — Она подозрительно повернула голову к противоположной от кровати стене.

— Не знаю, — ответила Кэрол.

— Кто-нибудь из наших?

— Нет, мисс Мансинг, — сказала Кэрол. — Из всей труппы на этом этаже живем только мы с вами.

— Прекрати называть меня мисс Мансинг, — потребовала она. — Я ведь не твоя бабушка.

— Эйлен... — сказала Кэрол.

— Ну так-то оно лучше, — заметила Эйлен Мансинг. Она стояла перед ней, слегка покачивая бедрами и глядя в упор на Кэрол, словно в голове у нее вызревало какое-то решение в отношении ее, Кэрол. Кэрол стояла возле двери, нащупывая рукой за спиной кругляш ручки.

— Мне нужен друг, — сказала Эйлен. — Мне нужна помощь.

— Ну, все что я могу...

— Не будь такой добренькой, — сказала Эйлен. — Мне нужна реальная помощь.

Кэрол вдруг стало холодно, — она стояла, босая, в легкой ночной рубашке на холодном полу, вся дрожала. Ей ужасно хотелось, чтобы эта женщина поскорее ушла.

— Надень что-нибудь, — сказала Эйлен Мансинг, словно она приняла наконец свое решение. — И прошу тебя, пойдем со мной в мой номер.

— Но ведь уже так поздно, мисс Мансинг...

— Я же тебе сказала — Эйлен.

— Эйлен, — повторила Кэрол. — И мне завтра рано утром вставать...

— Что тебя так напугало? — хрипло спросила ее Эйлен Мансинг.

— Откуда вы взяли? Вовсе я не напугана, — отважно солгала Кэрол. — Просто мне кажется, что нет никакой особой причины...

— Нет есть, — оборвала ее Эйлен Мансинг. — Очень веская причина. В моей кровати — мертвец.

Этот мужчина лежал на широкой кровати, на одеяле, голова чуть повернута на подушке к двери, глаза открыты, и на его лице застыла, как это ни странно, улыбка. Его рубашка, пиджак и плотный темно-синий галстук висели на спинке стула, одна нога — голая. Носок на второй съехал на лодыжку, и с него свисала резинка. Пара черных туфель была аккуратно наполовину задвинута под кровать. Это был человек громадного роста, с большим, раздувшимся животом и мягкой нежной кожей, и, казалось, что ему мала даже вот эта большая двуспальная кровать.

Ему было около пятидесяти, на голове жесткие волосы с сединой, и даже сейчас, когда он лежал мертвый, полуодетый, он был похож на преуспевающего, занимающего важный пост человека, привыкшего командовать людьми.

Кэрол, наконец, узнала его. Самуэль Боренсен. Она видела его фотографию в газетах, и ей кто-то показал на него в холле отеля пару дней назад.

— Он начал раздеваться, — стала объяснять Эйлен Мансинг, горестно глядя на кровать. — Cказал: «Мне что-то не по себе. Мне нужно прилечь на минуту». И потом он умер.

Кэрол повернулась спиной к кровати. Ей совсем не хотелось смотреть на это дряблое мертвое тело. Она надела широкое платье на свою ночную рубашку, надела шлепанцы с отделкой из овчины, но ей стало еще холоднее. Ей так хотелось в эту минуту поскорее выйти из этого номера, к себе, лечь снова в кровать, зарыться с головой в теплое одеяло с простыней и забыть навсегда об этом ночном стуке в ее дверь. Но Эйлен загораживала ей дорогу. Она стояла перед распахнутой дверью, ведущей в другую ярко освещенную комнату ее двухкомнатного «люкса», где было полно цветов, бутылок, корзин с горой фруктов, куча телеграмм на столике, — потому что она была «звездой» этой премьеры, и все считали, что пьеса станет «хитом».

— Я знакома с ним уже десять лет, — сказала Эйлен Мансинг, глядя мимо Кэрол на кровать. — Мы были все эти десять лет друзьями, и вот он приходит и начинает вытворять такое.

— Может, он не умер? — робко спросила Кэрол. — Вы вызывали врача?

— Врача! — хрипло засмеялась Эйлен. — Только этого нам не хватало. Как ты думаешь, что произойдет, если я в три часа ночи вызову врача и он увидит в спальне Эйлен Мансинг мертвого Сэма Боренсена? Ну, что по этому поводу напишут завтрашние газеты? Как ты думаешь?

— Простите меня, — сказала Кэрол, решительно отводя глаза в сторону, подальше от трупа. — Но мне лучше вернуться в свой номер. Я ничего никому не скажу и...

— Как ты можешь в такую минуту оставлять меня одну? — возмутилась Эйлен Мансинг. — Если ты уйдешь, оставишь меня одну, я тут же выброшусь из окна.

— Я хотела бы вам помочь, если бы только смогла, — сказала Кэрол, с трудом преодолевая сухость во рту и легкие спазмы в горле, мешавшие ей говорить. — Но, право, не знаю, что я могу сделать...

— Ты можешь помочь мне одеть его, — тихо сказала Эйлен Мансинг, — и отнести в его номер.

— Что вы сказали, мисс Мансинг?

— Он ужасно здоровый, — сказала она, — и я не могу с ним справиться. Мне не удалось даже надеть на него рубашку. Он, по-видимому, весит никак не меньше двухсот фунтов. Он слишком много ел, — зло упрекнула она неподвижно лежащую на кровати фигуру за его непомерный аппетит, из-за которого он пришел к столь печальному концу и оказался в этом номере, и теперь вот лежал на кровати, неподъемный, как глыба. — Но если мы его поднимем вдвоем...

— Где его номер? — спросила Кэрол, чувствуя, что спазмы в горле не утихают.

— На девятом этаже.

— Мисс Мансинг, — сказала Кэрол, тяжело задышав. — Мы с вами — на пятом. То есть до его номера — четыре этажа. Даже если бы я помогла, что мы сможем с вами сделать? Лифт не работает...

— Я и не думала о лифте, — сказала мисс Мансинг. — Мы могли бы отнести его по пожарной лестнице.

Кэрол заставила себя повернуться к трупу. Он все еще возвышался горой на одеяле, такой большой, неподвижный, продавливая своей тяжестью кровать посередине. Если ей охота развлекаться с мужчинами, то почему бы не подобрать мужчину нормальных габаритов?

— Нет, ничего не выйдет, — сказала Кэрол, чувствуя, как у нее сдавило горло. — Пожарная лестница находится на противоположной стороне здания, и нам с вами его не унести, придется волочь по полу. — Она удивлялась себе, как это она так здорово, вполне естественно, рассуждает о такой проблеме, принимая на себя, пусть частично, ответственность за присоединение к заговору. — Нам придется миновать дверей двадцать, когда мы потащим его волоком, и кто-нибудь из постояльцев может услышать шум, или мы столкнемся с ночным дежурным. И даже если мы дотащим его до лестницы, то нам не затащить его вверх даже на один пролет...

— Можно бросить его на лестнице, — предложила Эйлен Мансинг. — Они не обнаружат его там до утра.

— Как вы можете так спокойно говорить об этом?

— Ну, ладно. И что ты предлагаешь? — резко спросила ее Эйлен, закипая. — Нечего стоять там и ухмыляться, учить меня чего нельзя делать.

Кэрол, удивившись ее словам, инстинктивно поднесла пальцы к лицу, чтобы убедиться, какое же у нее выражение. Она старалась говорить, преодолевая страх, и спазмы в горле искривили ей губы, а мисс Мансинг в ее нынешнем состоянии вполне могла принять это за улыбку.

— Живет ли на этом этаже кто-нибудь еще из труппы? — спросила Эйлен. — Кто-нибудь из мужчин?

— Нет, — ответила Кэрол. Их продюсер Сьюуорд уехал на пару дней в Нью-Йорк, а все остальные мужчины жили в другом отеле. — Да, мистер Мосс, — спохватилась, вдруг вспомнив, Кэрол, — живет здесь. — Мистер Мосс был партнером мисс Мансинг на сцене.

— Да он ненавидит меня, — призналась Эйлен Мансинг. — И живет он на десятом этаже. Причем в одном номере с женой.

Кэрол посмотрела на будильник, стоявший на ночном столике рядом с кроватью, совсем близко от этого побледневшего искаженного лица с полуулыбкой.

— Вот что я вам скажу, — продолжала она срывающимся голосом, начиная бочком продвигаться к двери. — Я вернусь в свой номер, там подумаю, что предпринять, и если что-то придумаю, то я...

Она, вдруг резко бросившись вперед, проскочила в гостиную мимо Эйлен Мансинг, которую ее хитроумный маневр застал врасплох, и стала поворачивать ручку на входной двери, но Эйлен, быстро оценив ситуацию, кинулась за ней и впилась своими острыми ногтями в запястье Кэрол.

— Минуточку, прошу тебя, — сказала умоляющим тоном она. — Нельзя же бросать меня вот так, одну.

— Но я не знаю, мисс Мансинг, чем могу вам помочь, — сказала Кэрол, так тяжело дыша, словно преодолела бегом длинную дистанцию, хотя в этой ярко освещенной комнате, уставленной вазами с цветами и корзинами с фруктами, ей было легче справиться с самой собою. — Я на самом деле очень хотела бы вам помочь, если бы только смогла. Но я...

— Послушай, — прошептала Эйлен Мансинг, не выпуская ее руки. — Не нужно истерик. Мы можем многое сделать. — Пошли со мной, сказала она, подводя Кэрол к кушетке. — Сядь, — стараясь ее успокоить, сказала она. — Не теряй рассудка. У нас куча времени. Для чего терять голову?

Кэрол, уступив Эйлен Мансинг, села на кушетку. Ей хотелось сказать, что она весьма сожалеет по поводу того, что случилось, но ведь это не ее, по существу, дело, не она пригласила к себе в номер знаменитого человека с больным сердцем в три часа ночи, не она десять лет водила дружбу с этой знаменитостью, у которой жена и дети жили в Палм-бич. Она испугалась, но все же ей было жаль Эйлен Мансинг, она не могла заставить себя уйти, бросить, оставить ее одну, в этой неразберихе цветов, фруктов, поздравительных телеграмм, один на один с неминуемым скандалом, рухнувшей карьерой.

— Может, выпьешь? — предложила Эйлен Мансинг. — Думаю, нам обеим нужно выпить, это придаст сил.

— Да, пожалуй.

Актриса налила в стаканчики неразбавленного виски, протянула один Кэрол. «Я очень хорошая подруга Эйлен Мансинг, — размышляла Кэрол довольно глупо, — мы часто сидим в ее комнате часами после спектакля, пьем, разговариваем, обсуждаем театральные проблемы, и я ей многим обязана, своим нынешним успехом, так как внимательно прислушивалась к ее советам...»

— Послушай, Кэрол, — сказала Эйлен Мансинг, усаживаясь рядом. — Нужно обязательно сделать одно, — его не должны обнаружить здесь, в моем номере.

— Нет, конечно, — согласилась с ней Кэрол, на какое-то сбивчивое мгновение почувствовав себя на месте Эйлен Мансинг. Конечно, никак нельзя допустить, чтобы обнаружили труп в ее номере. — Но...

— Нет, я этого не вынесу, — сказала Эйлен Мансинг. — Это означает, что мне конец. Уже было так много шума по поводу моего второго развода.

Кэрол не очень отчетливо вспоминала статьи в газетах о сыщиках, о каком-то дневнике, о фото, сделанных с помощью телеобъектива и продемонстрированных в суде, автомобильной аварии за несколько лет до этого, произошедшей на автотрассе в Мексике, о задавленном на грязной дороге дорожном рабочем. Полиция пришла к выводу, что за рулем был какой-то пьяный водитель, но не муж Эйлен Мансинг (который по счету, первый, второй или третий?), хотя они провели три дня в отеле в Энсенаде, записавшись в книге постояльцев под вымышленными именами.

— Они не выпускали на экран мои картины больше года, — рассказывала Эйлен Мансинг, большими глотками отпивая из стакана, на котором вздрагивали ее тонкие пальцы, — и, казалось, что они уже больше никогда не пригласят меня на съемочную площадку. Если об этом случае станет известно, — говорила она с горечью в голосе, — то все женские клубы на территории страны единогласно проголосуют, чтобы меня сожгли живьем на костре. Господи! — вздохнула она, полная жалости к себе самой. — Я постоянно наступаю на те же грабли. По-моему, я уже исчерпала свой лимит, — сказала она, — лимит всепрощения. Все со мной происходит шиворот-навыворот, не так как у людей. — Она жадно пила, словно испытывая жажду. — Если бы что-то вроде этого произошло раньше, на заре моей карьеры, то все обошлось бы. Было бы даже лучше. Мне такое было бы только на руку, помогло бы моей карьере. Если бы я была молодой девушкой, только начинающей свои выступления на театральной сцене, — продолжала с горечью своим хриплым голосом Эйлен Мансинг в этой просторной обитой плюшем комнате, — все говорили бы: «Нельзя так строго осуждать ее за это, ведь она молодая девушка, которая сама прокладывает себе дорогу в жизни. Вполне естественно, такой человек мог ее заговорить, заставить сделать, что угодно». Все проявляли бы ко мне повышенный интерес, все сгорали бы от любопытства, все только бы и говорили обо мне, все хотели бы видеть на сцене только меня, меня одну. Господи, — сказала она, чувствуя свою экстравагантность, — у меня было бы кое-что получше чемодана, набитого хвалебными рецензиями.

Кэрол встала. Ей уже не было холодно, и спазмы в горле прекратились. Она смотрела сверху вниз на сидящую перед ней Эйлен Мансинг с симпатией, словно родная сестра, с пониманием и сожалением.

— Эйлен, — назвала она ее по имени, и оно впервые как-то вполне естественно сорвалось с ее губ. Вот он, этот момент. Вот он ее шанс! Кто мог подумать, что он подберется к ней с такой стороны? — Эйлен, — сказала она, отставляя стаканчик с виски, взяв эту пожилую женщину за руку, жалея ее, жалея искренне, как родная сестра. — Не волнуйся. Думаю, можно что-то сделать в этой ситуации.

Эйлен Мансинг подняла на нее глаза, с подозрительным, ничего не понимающим видом.

— Что же? — спросила она, и Кэрол почувствовала, как дрожат ее холодные руки.

— Думаю, — сказала она, уже более уверенно, более ровным голосом, — нам нужно поторапливаться, если мы хотим перетащить его в мой номер до рассвета.

Ее тихий, мелодичный голосок замолчал. Снова мы с ней сидели в баре Статлера, после двух лет, прошедших с этой памятной ночи. Мы сидели молча, потому что я был слишком потрясен тем, что услыхал от нее, а Кэрол больше нечего было добавить — она рассказала мне все.

— Все дело в том, — начала она снова после продолжительной паузы, — что все произошло потом точно так, как мы предполагали. Но вся беда в том, что я просчиталась. Я думала, что я талантливее, чем была на самом деле. Ну, кто из нас не совершает рано или поздно ошибок? — Она, поглядев на часы, встала. — Мне пора.

Я помог ей надеть шубу и проводил ее до двери.

— Хочу спросить тебя, — сказал я. — Почему ты в конце концов все мне рассказала?

Она бесхитростно поглядела на меня, такая милая, стоя в проеме открытой двери, а за ее спиной тек поток автомобилей.

— Потому что, вероятно, мы больше никогда не увидимся, — сказала она, — и мне хотелось только сказать тебе, что я всегда тебе была верна и не изменяла. Мне хотелось, чтобы у тебя осталось обо мне хорошее воспоминание.

Наклонившись, она нежно меня поцеловала в щеку и пошла через улицу, — такая молодая, красивая, мечтательная, чуть возвышенная, — и в этой своей блестящей шубе, в своем красивом, ладно сшитом костюмчике, с ее пышными, густыми белокурыми волосами, казалось, она отправляется на завоевание города.

«НАСТРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ НА КАЖДЫЙ ГОЛОС...»

— Ну, как дела? — спросил Уэбел, подходя к стойке.

— Ночь — она и есть ночь, — печально ответил Эдди, наливая Уэбелу чашку кофе.

Шел уже третий час ночи, но посетителей в баре было никак не меньше дюжины. Несколько парочек в кабинках, у стойки напротив пивных кранов, — высокий моложавый мужчина о чем-то негромко беседовал со стриженой под мальчика брюнеткой в зеленых шерстяных чулках, двое-трое прилежных пьяниц нахохлились над мокрой стойкой из красного дерева, сутулясь в своих пальто и внимательным взглядом изучая содержимое своих стаканчиков; пьяный Джон Маккул в мятом вельветовом пиджаке и рубашке в красно-черную клетку, как у лесорубов, сидел за отдельным маленьким столиком возле входа, разрисовывая меню. Когда Уэбел вошел в бар, то поприветствовал Маккула, посмотрел на его пачкотню. Джон нарисовал футболиста с тремя ногами, с семью или даже восемью руками, словно у статуи из индийского храма.

— Самые лучшие человеческие качества как на Востоке, так и на Западе, — хрипло сказал Маккул, — это честолюбие, скорость, грубость и честная игра, плюс неограниченные возможности вкупе с отказом от постоянно деградирующего материального мира.

Уэбел вернул Маккулу его рисунок, не вдаваясь больше в его детали. Маккул был хорошим театральным художником, но плохим живописцем, и стоило ему опрокинуть несколько стаканчиков, как он мрачнел, говор его становился весьма расплывчатым, туманным, и его толком нельзя было понять.

— В этом городе, судя по всему, никто не намерен спать, — сказал Эдди, с отвращением оглядывая посетителей. Двери бара должны были оставаться открытыми до четырех утра, — хочешь ты этого или не хочешь, — но он в глубине души всегда надеялся, что как-нибудь, ночью, все разойдутся часам к двум, и он сможет закрыть свое заведение пораньше и с чистой совестью отправиться домой спать. Казалось, у него на лице было написано, что сон его волнует куда больше, чем все эти русские, атомная бомба, демократическая партия, любовь и смерть. Его бар находился на Сорок шестой улице и служил обычным пристанищем для актеров и прочего театрального люда, которым не нужно было появляться на работе раньше восьми вечера, если только у них вообще появилось желание поработать, и все вместе они разделяли свое чисто профессиональное неприятие дневного света.

— Сколько чашек кофе вы поглощаете каждый день, мистер Уэбел? — поинтересовался Эдди.

— Когда двадцать, когда тридцать, — ответил Уэбел.

— Почему так много?

— Мне не нравится вкус алкоголя.

— Но нравится вкус кофе, так?

— Не очень, — сказал Уэбел, поднимая свою чашку.

— Ну вот пожалуйста, — Эдди со скорбным видом провел тряпкой по стойке сбоку от Уэбела. — Все бессмысленно в наши дни!

— Эдди, — позвал бармена клиент, сидевший на высоком стуле рядом с девушкой в зеленых шерстяных чулках. — Сделай нам два «джибсона», если не трудно.

— Трудно, — буркнул в ответ Эдди, продолжая вытирать стойку. — Улавливаете иронию? Ну кто заказывает «джибсоны» в два часа тридцать минут ночи? Кто, скажите на милость, пьет «джибсоны» после полуночи? Только педики, алкаши и эксгибиционисты. Могу сказать им всем это прямо в лицо. — Не глядя в сторону посетителя, заказавшего этот коктейль, он налил в стакан джина, смешал его с вермутом, бросил в него несколько кубиков льда и принялся неистово все размешивать.

— Только чтобы были ледяными, если ты не против, Эдди, — сказал клиент. У него был высокомерный выговор, распространенный в школах на Восточном побережье, но Уэбел порой с трудом его выносил, особенно поздно ночью.

Костюм этого человека, узкий и чистенький, был под стать его выговору, и Уэбел, который был одет так, как водитель грузовика или старший сержант морской пехоты в увольнительной, независимо от того, какой бы искусный портной ни старался над его костюмом, понял, что одежда этого типа тоже его раздражает.

— Эдди, — бормотал бармен, разгоняя по стакану коктейль. — Каждый здесь считает себя вправе называть меня по-дружески, — Эдди.

— Кто он такой? — тихо спросил его Уэбел.

— Какой-то сопляк с телевидения, — сказал Эдди, плюхнув в стаканы по луковице. — С Мэдисон-авеню. Теперь они принялись за Уэст-сайд. Теперь их здесь — целые полчища. Теперь это — высший шик, после того, как какая-то дамочка написала об этом коктейле в журнале «Вог». Или все объясняется взрывом рождаемости. От этого бума новорожденных представители высшего класса скоро начнут бросаться вниз головой с моста в Гудзон. — С мрачным видом он пошел вдоль стойки и поставил стаканы с коктейлем «джибсон» перед парочкой.

— Просто превосходно, Эдди, — похвалил его клиент, пробуя напиток.

Эдди недовольно заворчал, не принимая панибратства. Он пробил в кассе чек и бросил белую бумажку в небольшую лужицу под локтем девушки в зеленых чулках.

— Теренс, — говорила она, — тебе нужно было обязательно посмотреть выступление Домингина в Сантандере. Великий тореадор. Он отрубил быкам две пары ушей. А его «работа» со вторым быком была просто леденящей душу. И он убил его, принимая на себя его атаку.

«Боже, всемилостивый Господи, — подумал Уэбел, — и здесь нет покоя. Некуда деваться». Он одним залпом выпил кофе и из-за спешки обжег себе язык.

— Мистер Хольштейн, — крикнул Эдди Джон Маккул от своего столика, — еще одно виски, пожалуйста, и два меню.

Эдди принес выпивку Маккулу и два меню и теперь бросал гневные взгляды на парочку, сидевшую в кабинке номер три, — они там сидели, сцепив руки, с двумя бутылками пива на столике уже с часа ночи. Эдди подошел к Уэбелу с другой чашкой горячего кофе, от которого шел пар. Он внимательно наблюдал за тем, как тот осторожно поцеживает кофе, и на его лице постоянно меняется выражение, — какая-то смесь очарования, неверия и отвращения.

— Вы хотите сказать, — обратился к нему Эдди, — что после всего этого кофе вы идете домой и спокойно засыпаете, так?

— Да, — ответил Уэбел, — именно так.

— Без таблеток снотворного?

— Без таблеток.

Эдди недоверчиво покачал головой.

— Должно быть, у вас организм младенца, — сказал он с завистью. — Правда, у вас на Сорок четвертой улице идет «хит», и после такого представления любой может заснуть как убитый.

— Да, это способствует, — сказал Уэбел. Он был менеджером труппы, поставившей две недели назад мюзикл, который, судя по всему, будет еще идти года три подряд.

— Знаете, — сказал Эдди, — Эдгар Уоллес довел себя до гибели простым чаем. Я имею в виду писателя Эдгара Уоллеса. Доктор говорил ему: «Вы, мистер Уоллес, выпивая так много чая, покрываете слоем танина1 тонкий кишечник, и это может привести к смерти», но он его не слушал и продолжал в том же духе, как вы со своим кофе, если вы позволите мне быть с вами откровенным.

— Я ничего не имею против, Эдди, — сказал Уэбел.

— Может, вам лучше жениться, мистер Уэбел? — посоветовал Эдди. — Человек, который поглощает столько кофе...

— Я был женат, — признался Уэбел.

— Я тоже, — отозвался Эдди, — три раза. Что это я разговорился? В такой поздний час человек склонен нести всякий вздор. Простите меня, беру свои слова обратно.

— Эй, Эдди! — снова позвал его Узкоплечий, тот клиент с девушкой, которая называла его Теренсом. Он поднял свою тонкую белую руку. — У тебя есть пара бутылок «шабли», которое можно пить? Я хочу взять с собой.

Уэбел с интересом следил за выражением лица Эдди. Зеленоватая полуночная бледность вдруг исчезла с его лица, и ей на смену пришла здоровая пунцовость, полыхающая, как пламя, и теперь его лицо стало похоже на раскрасневшееся лицо английского фермера, который регулярно, три раза в неделю, отправляется со сворой гончих на охоту.

Еще никогда Уэбел не видел Эдди таким, просто пышущим здоровьем.

— Что вы сказали, мистер? — переспросил Эдди, с трудом сдерживаясь, не повышая голоса.

— Я хотел узнать, есть ли у тебя пара бутылок белого вина, я хотел бы захватить их с собой домой, — сказал Теренс. — Завтра я еду в Нью-Хейвен на игру, и мы собираемся устроить пикник в честь Кубка, и мне не хочется рыскать поутру в поисках винного магазина.

— У меня есть белое, «Братья-христиане», — ответил Эдди. — Но я не могу поручиться, можно его пить или нет. Я его не пробовал.

Уэбел снова обжег язык, хлебнув раскаленного кофе. Он не спускал глаз с Эдди, который, мрачно нахмурившись, нырнул в глубину холодильника и, порывшись в нем, извлек из него пару бутылок. Запихнув их в пакет из плотной коричневой бумаги, он поставил его перед клиентом с девушкой в зеленых чулках.

— Между прочим, Эдди, как ты думаешь, кто выиграет завтра?

— А что по этому поводу думаете вы? — спросил раздраженным, скрипучим тоном Эдди.

— Принстон, конечно, — сказал этот человек. Он радостно засмеялся. — Конечно, я пристрастен, дорогая, — повернулся он к девушке, легонько прикасаясь к ее руке. — Ведь я сам из Принстона...

«Какой сюрприз!» — подумал Уэбел.

— А мне кажется — Йель, — сказал Эдди.

— «Lux et Veritas"1, — сказал Маккул со своего столика у входа, но никто не обратил внимания на его реплику.

— Значит, ты считаешь, победит Йель, — сказал этот человек из Принстона, язвительно копируя пролетарский выговор Эдди, свойственный Третьей авеню, и это вдруг заставило Уэбела на какое-то мгновение с одобрением подумать о революции, о низвержении любого социального порядка.

— Ладно, я скажу, как я поступлю с тобой, Эдди, если ты болеешь за Йель. Я готов побиться об заклад. Спорим, вот на эти две бутылки вина, что выиграет Принстон.

— Я не играю на свои напитки, — твердо возразил Эдди. — Я сам их покупаю и, следовательно, продаю.

— То есть ты хочешь сказать, что не желаешь отстаивать свое мнение, так? — спросил этот джентльмен из Принстона.

— Я имею в виду то, что сказал, — Эдди повернулся спиной к нему, поправляя бутылки с шотландским виски на полке за стойкой бара.

— Если вам так не терпится, так хочется с кем-нибудь поспорить, то извольте, я готов, — сказал Уэбел.

Он вообще-то и не думал об игре и никогда не следил внимательно за футболом, к тому же он не был азартной натурой, и сейчас, в эту минуту, был готов поставить на республиканцев, если этот тип из Принстона сказал бы, что он — демократ, на Паттерсона, если бы тот сказал, что предпочитает Линстона, на Перу против русских, если бы он остановил свой выбор на Красной армии.

— Ах, вон оно что, — спокойно протянул этот человек. — Значит, вы готовы меня уважить. Очень интересно. И на какую сумму, позвольте вас спросить?

— На любую, какую хотите, — сказал Уэбел, мысленно благодаря свой мюзикл на Сорок второй улице, позволявший ему делать такие широкие жесты.

— Думаю, что сотня долларов вам не по карману, — сказал Теренс, мило улыбаясь.

— Отчего же, вовсе нет, — ответил Уэбел. — Пустяковая сумма. — Хит его мюзикл или не хит, но вообще-то ему не хотелось просто так терять сотню долларов, однако этот такой самодовольный, такой самоуверенный, такой поразительно надменный голос заставил его броситься, закрыв глаза, в эту экстравагантную авантюру. — Я-то рассчитывал на что-то более существенное...

— Ну, ладно, — сказал Теренс. — Решим все по-дружески, по-семейному. Скажем, сотня долларов. Какие дополнительные условия выдвигаете?

— Условия? — удивился Уэбел. — Никаких дополнительных условий, пари на равных.

— Ах, мой дорогой друг, — сказал человек из Принстона, притворяясь, что его ужасно забавляет их разговор. — Я, конечно, храню верность старой школе, но не до такой же степени. Я выставляю свои условия, — две с половиной ставки к одной.

— Во всех газетах можно прочитать, что на эту игру действуют только равные ставки, — сказал Уэбел.

— Я такие газеты не читаю, — возразил человек из Принстона, давая своим пренебрежительным тоном понять Уэбелу, что тот, несомненно, читает только такие газетенки, где всякого рода мошенники дают свои советы по поводу ставок, журнальчики, в которых полно всевозможных личных исповедей, да порнографические таблоиды. Теренс, вытащив бумажник, порылся в нем и выудил оттуда две двадцатидолларовые купюры. Положил их на стойку. — Вот мои деньги, — сказал он. — Я ставлю свои сорок на ваши сто.

— Эдди, — обратился к бармену Уэбел, — нет ли у тебя какого-нибудь знакомого букмекера, который в столь поздний час может сообщить нам, какие дополнительные условия пари?

— Конечно, есть, — сказал Эдди. — Но это пустая трата времени. Ставки всю неделю держались приблизительно на том же уровне. Шесть к пяти, так что делайте свой выбор. Это — равные деньги, мистер.

— Я никогда не связывался с букмекерами, — сказал Теренс. Он запихивал деньги назад в бумажник. — Если вы не хотите держать пари, — говорил он ледяным тоном Уэбелу, — то, по крайней мере, могли бы помолчать. — Он повернулся спиной к Уэбелу. — Не хочешь ли еще выпить, дорогая?

В этот момент Маккул, который до этого, склонившись над меню, что-то чертил на нем, не обращая никакого внимания на беседу, поднял голову и громко сказал своим четким, сдержанным голосом:

— Послушай, братец Тигр, я и сам из Принстона, и, должен сказать, ни один уважающий себя джентльмен на вашем месте никогда бы не потребовал две с половиной против одной. Никаких дополнительных условий, равные ставки, равная сумма.

В баре установилась чуткая, почти осязаемая напряженная тишина. Теренс, нарочито медленно засовывая бумажник в карман, так же медленно повернулся к Маккулу, бросил долгий взгляд на этого сидевшего за своим столиком у входа человека. Маккул снова опустил голову и снова что-то рисовал на своем меню. На лице Теренса появилось какое-то странное выражение, даже смесь выражений, — легкого шока, неуверенности в том, что он услышал, забавной озадаченности и терпимости, — все одновременно. Такое сложное по составляющим выражение можно, по-видимому, было увидеть на лице священника, которого группа прихожан пригласила на обед, а когда тот вошел в столовую, то, к своему великому изумлению, увидел, что посередине комнаты — в самом разгаре сеанс стриптиза.

— Прошу простить меня, дорогая, — извинился Теренс перед девушкой.

Медленно, не теряя своего достоинства, он подошел к Маккулу. Он остановился на расстоянии добрых четырех футов от столика Маккула, словно его неожиданная остановка — это профилактическая мера, удерживающая его в полной безопасности за пределами невидимой ауры, которую только он, с его тонкой натурой, мог почувствовать, когда она излучалась из того пространства, которое в данную минуту занимал сидевший за своим отдельным столиком Маккул.

Маккул с удовольствием продолжал что-то рисовать на меню, склонив голову. Верхняя часть головы у него была абсолютно лысой, а на удлиненной, агрессивно выдававшейся вперед нижней челюсти росла рыжеватая щетина. Глядя на него, Уэбел вдруг осознал, что Маккул очень похож на одного из рабочих-ирландцев на картине, которых доставили в Америку в 1860 году для строительства железной дороги «Пэсифик юнион». Уэбел теперь понимал, почему так удивился Теренс, и не винил его в этом. Требовалось недюжинное воображение, чтобы представить себе, что Маккул — выпускник Принстонского университета.

— Я не ослышался, сэр? — спросил Теренс.

— Не знаю, — ответил Маккул, не поднимая головы.

— Так вы сказали, что вы из Принстона, или вы этого не говорили?

— Да, я это сказал, — теперь Маккул глядел на Теренса отважно и воинственно, как и полагалось пьяному человеку. — Я также сказал, что ни один уважающий себя джентльмен на вашем месте никогда не потребовал бы две с половиной против одной. Повторяю, еще раз, на случай, если вы что-то не расслышали.

Теренс медленно описал полукруг перед Маккулом, изучая его явно с научным интересом.

— Ах, вон оно что, — протянул он, и в его голосе послышались нотки аристократического скепсиса. — Значит, вы сказали, что вы из Принстона, так?

— Да, сказал, — ответил Маккул.

Теренс повернулся к своей девушке у стойки.

— Ты слышала это, дорогая? — Не ожидая от нее ответа, он вновь подкатился к Маккулу. Он стоял прямо перед ним. В голосе его чувствовалось открытое презрение принца крови по отношению к этому самозванцу — плебею, пойманному на месте преступления, когда тот пытался взломать королевский загон в Аскоте.

— Послушайте, сэр, — продолжал он, — вы похожи на человека из Принстона не больше, чем... чем... — Он беспомощно оглядывался по сторонам, пытаясь отыскать самое крайнее, самое язвительное, самое обидное, просто невозможное сравнение. — Вы не больше похожи на выпускника Пристона, чем... чем вот этот Эдди.

— Эй, ну-ка послушай, — воскликнул за стойкой недовольный его сравнением Эдди. — Не нужно наживать себе больше врагов, чем это необходимо, — предостерег он его.

Теренс проигнорировал предостережение Эдди и снова сконцентрировал все свое внимание на Маккуле.

— Меня очень заинтересовал ваш случай, мистер... мистер... Боюсь, я не расслышал ваше имя.

— Маккул, — сказал Маккул.

— Маккул, — повторил Теренс. — В его устах эта фамилия прозвучала как название только что открытого нового кожного заболевания. — Боюсь, я не знаю ни одной семьи под такой фамилией.

— Мой отец был странствующим лудильщиком, — сказал Маккул. — Он ходил по дорогам, от одного болота к другому, и всегда пел, и эта песня вырывалась у него из глубины его сердца. Таким был наш семейный бизнес. Он позволял нам жить в роскоши с одиннадцатого столетия. Я просто искренне удивлен, что вы ничего о нас не слышали. — Он вдруг запел: «Арфа, которая когда-то звучала в залах Тара», — правда, фальшиво, не попадая в верную тональность.

Уэбел с удовольствием следил за ним. «Как все же хорошо, — подумал он, — что он зашел в бар к Эдди, а не в какой-то другой».

— Вы все еще настаиваете, — сказал Теренс, перебивая музыкальное кваканье Маккула, — что вы учились в Принстоне?

— Ну как вам это доказать? Что я должен сделать? — раздраженно спросил его Маккул. — Раздеться здесь перед вами и показать вам свою черно-оранжевую татуировку?

— Позвольте задать вам вопрос, мистер Маккул, — спокойно сказал Теренс, демонстрируя свое притворное дружеское к нему расположение. — К какому клубу вы принадлежали?

— Я не принадлежал ни к какому клубу, — ответил Маккул.

— Ну вот, — сказал Теренс. — Что и требовалось доказать.

— Я так никогда и не оправился от такого удара, — сказал Маккул. Он снова затянул свою «Арфа, которая когда-то звучала в залах Тара».

— Я, конечно, могу понять, что вы не принадлежали ни к какому клубу, — добродушно сказал Теренс. — Но даже в этом случае вы могли бы сказать мне, где находится Айви, Кэннон1, разве не так, мистер Маккул? — Он наклонился поближе к столику Маккула, направив на него испытующий взгляд.

— Погодите... погодите... минуточку, — мычал Маккул. Он глядел на стол, почесывая лысину.

— Вам что-нибудь говорит библиотека Пайна, — продолжал допытываться Теренс, — или Холдер Холл?

— Черт подери! — воскликнул Маккул. — Я все забыл. Я закончил его еще до войны.

Теперь уже Уэбел начал злиться на Маккула. Драматический клуб Принстонского университета почти ежегодно приглашал Маккула прочитать лекцию перед студентами, и он мог бы, даже напившись, как сейчас, вспомнить, где находится Проспект-стрит.

Теренс теперь надменно улыбался, довольный своим блестяще проведенным перекрестным допросом.

— Ладно, давайте забудем об этом на минутку, — сказал он великодушно. — Попробуем кое-что еще. Давайте-ка затянем «Старый Нассау», например. Надеюсь, вы слышали о «Старом Нассау»?

— Конечно, я слышал «Старый Нассау», — упрямо сказал Маккул. Ему явно было стыдно за проваленный экзамен по поводу университетских клубов.

— Это песня, которая начинается так: «Настрой свое сердце на каждый голос, пусть минут заботы...» Ну, вспоминаете, мистер Маккул?

— Я знаю эту песню, — неожиданно заявил Маккул.

— Очень интересно послушать, — сказал Теренс. — Ну-ка спойте ее.

— Ну, пожалуйста, если только другие клиенты в баре не возражают. — Он, повернувшись к стойке, улыбнулся, так манерно, как дворецкий.

— Только потише, прошу вас, — сказал Эдди. — У меня нет лицензии на развлечения.

— Ну, давайте, давайте, мистер Маккул, — добродушно уговаривал его Теренс. — Мы все ждем. — Он, решив помочь ему, промычал несколько тактов.

«Настрой свое сердце на каждый голос, пусть минут заботы...» — загудел Маккул без всякого мотива, — ух... пусть... что-то... ух... пусть с чем-то... ух... — Он с отвращением покачал головой. — Нет, ничего не выходит. Я не пел ее двадцать лет.

— То есть вы хотите сказать, что не знаете этой песни, так? — спросил Теренс с притворным удивлением.

— Я забыл ее, — признался Маккул. — Я сильно нагрузился. Ну и что из того?

Теренс широко улыбнулся.

— Я хочу сказать вам кое-что, мистер Маккул, — продолжал он. — Я не знал ни одного выпускника Принстона, который мог бы забыть эту песню — «Старый Нассау» и не спеть ее, не пропуская ни единого слова, в любое время, даже перед своим смертным часом. Я в этом убеждался не раз на собственном опыте.

— Ну вот, — сказал Маккул, — теперь вы знаете хотя бы одного.

— Вы обманщик, сэр, — сказал Теренс. — Могу держать пари на тысячу долларов, что вы никогда не учились в Принстонском университете, и нечего всем морочить зря голову.

Последняя часть фразы, по-видимому, предназначалась остальным клиентам. Теренс, уверенный теперь на все сто процентов, что он стоит на твердой почве, пытался как-то загладить неприятное впечатление, которое он произвел на всех, когда завел эту дискуссию об особых условиях для пари по поводу исхода матча. Он смотрел в упор на Уэбела с видом триумфатора.

Уэбел глубоко вздохнул. «Слишком хорошо, чтобы быть истиной, — с восторгом подумал он. — Конечно, это — грязный трюк, но этот сукин сын сам на него напросился». Уэбел вытащил свою чековую книжку из кармана и бросил ее с легким шлепком на стойку.

— Теренс, старый вы мой друг, — сказал он, — вы сами заговорили о пари. Вы готовы поставить тысячу долларов, чтобы доказать, что Маккул никогда не заканчивал Принстонский университет?

Теренс бросил гневный взгляд на Уэбела. Он был ужасно удивлен, чуть ли не в шоке.

— Ну а какой колледж посещали вы?

— Я — изгой, социально прокаженный, — сказал Уэбел. — Я учился в Лейхайе. Но я выписываю чек на тысячу долларов. Если у вас нет при себе чековой книжки, можете воспользоваться моей. Эдди разобьет пари. Ты готов, Эдди?

— С удовольствием! — согласился Эдди.

Уэбел, достав из кармана авторучку, отвинтил крышку и церемонным жестом занес ее над чековой книжкой.

— Ну, — сказал он в сторону Теренса.

Тот побледнел. Такая необычная поспешность со стороны Уэбела, тон, с которым Эдди поспешил заверить его, бросив фразу — с удовольствием! — действовали ему на нервы. Он уже с меньшей уверенностью взирал на Маккула, и о ходе его мыслей в эту минуту можно было легко догадаться. Он явно чувствовал, что попал в ловушку и дверца вот-вот захлопнется. Маккул совершенно не был похож на выпускника Принстона, ни сном ни духом, и он, Теренс, ни за что на свете не принял бы его за своего брата по учебе, коллегу, а тот факт, что Маккул не смог вспомнить названия ни одного студенческого клуба и не знал даже названия улицы, где они расположены, — Клаб-стрит, и не помнил слова песни «Старый Нассау», по всем признакам говорил о том, что Маккул лжет, и ничто не могло опровергнуть это просто сокрушительное доказательство. Но времена меняются, хозяином Белого дома выбрали демократа, общество постоянно переживало какие-то перемены; к тому же это был низкопробный бар для театрального люда, чуть лучше, чем подобный салон где-нибудь в трущобах, и ему, Теренсу, по сути дела, не нужно было сюда заглядывать, и кто знает, — постоянные посетители могли оказаться кем угодно, даже выпускниками Принстонского университета. Но и тысяча долларов — это куча денег, даже на Мэдисон-авеню.

— Ну, Теренс, — издевательски подтрунивал над ним Уэбел. — Что-то не вижу, чтобы ты заполнял чек.

— Отложите свою авторучку, старик, — сказал Теренс. Ему хотелось, чтобы произнесенные им слова показались всем небрежными, подводящими черту под дискуссией, но голос у него явно дрожал от волнения. — Я не держу пари. Из-за такого никто не станет биться об заклад. — Не обращая никакого внимания на Маккула, он большими шагами прошел мимо Уэбела к стойке, к своей девушке. — Тебе не кажется, что пора выпить еще, дорогая? — громко спросил он.

— Мне кажется, что все в этом баре слышали ваше предложение поставить тысячу долларов, чтобы держать пари по такому пустяковому факту, — сказал Уэбел, решительно настроившись доставить Теренсу как можно больше неприятностей. — Что же заставило вас, Теренс, изменить свое решение?

— Это был лишь речевой оборот, старичок, — не больше, — ответил Теренс. — Еще два «джибсона», прошу тебя, Эдди.

Эдди не сдвинулся с места.

— Мистер, — сказал он. — Я все внимательно выслушал. Вы стали причиной нарушения порядка в моем баре. Вы поставили в неловкое положение нашего старого клиента. Вы предложили пари, а потом пошли на попятный. Теперь вот, как ни в чем не бывало, заказываете два «джибсона». — Эдди говорил так, словно читал литанию со страшным обвинением. — Любой джентльмен, попав в такое положение, как вы в данный момент, поступил бы следующим образом. Или он заполнил бы чек в книжке вот этого джентльмена, — Эдди махнул в сторону Уэбела, словно рефери, представляющий на ринге боксера, — или, — он повысил голос, — принес бы свои извинения.

— Извинения? — удивленно повторил за ним Теренс. — Это перед кем же?

— Перед джентльменом, слово которого вы подвергли сомнению, — объяснил Эдди. — Перед мистером Маккулом.

Теренс посмотрел на Маккула, который увлеченно что-то рисовал уже на третьем меню.

— Ах, перестань, Эдди, — резко сказал Теренс. — Тащи выпивку и давай забудем об этом.

— Вы не получите в этом баре никакой выпивки до тех пор, покуда не сделаете того, что я вам сказал, — стоял на своем Эдди.

— Послушай, Эдди, — сказал, закипая, Теренс. — Это — общественный бар и...

— Теренс, — прервала его девушка, положив, чтобы успокоить его, руку ему на локоть, но в голосе ее чувствовался холод. — Не нужно хамить больше, чем обычно.

— Вот, прислушайтесь к своей девушке, — мрачно посоветовал ему Эдди.

Теренс вытащил одну из двух бутылок из пакета, стоявшего перед ним. Посмотрев на наклейку, скорчил кислую гримасу и опустил бутылку на место. Все молчали.

— Ну, ладно, — небрежно сказал Теренс, — если кто-то из присутствующих принимает такой пустячок всерьез и намеренно раздувает его... — Он долго, сознательно затягивая время, зажигал сигарету, потом подскочил к столику Маккула. Он остановился в безопасной зоне, на расстоянии четырех футов от него. — Между прочим, — сказал он, обращаясь к склонившейся над рисунком голове Маккула, — мне очень жаль, если я невзначай нанес вам оскорбление.

— Что такое? — вскинул голову Маккул, скосив на него взгляд. — Что вы сказали?

Теренс подошел к столику поближе.

— Я сказал, что мне очень жаль, — и лицо его постоянно менялось из-за его трусости, смущения и недоверия, которое он испытывал ко всем всю свою жизнь.

— Скажите ему, что вы берете все свои слова назад, — продолжал беспощадно казнить его Эдди из-за стойки. — Скажите ему, что вы верите ему, что он на самом деле — выпускник Принстонского университета.

— Нечего меня учить и говорить за меня, Эдди, — огрызнулся Теренс, и вдруг голос у него стал таким, как у старой горничной. — Я вполне способен сам, без посторонней помощи, изъясниться.

— Что вы сказали, мистер? — спросил снова Маккул, поднимая на него свои моргающие глаза.

— Я ошибался, — сказал Теренс. — Теперь я убежден, что вы из Принстонского университета.

— На самом деле? — удивленно спросил Маккул.

— Да, убежден! — заорал прямо ему в лицо Теренс, наклонившись еще ближе к нему.

— К черту Принстон! — сказал Маккул. Он схватил обеими руками Теренса за лацканы пиджака, сильно тряхнул его. — И к черту тебя, братец, — он тряхнул его еще раз, посильнее.

Теренс так отчаянно отбивался от крепко держащих его рук Маккула, что чуть было не свалился на пол. Ему помешал прижатый к стене стул Маккула.

Уэбел пошел к ним, но девушка в зеленых чулках его опередила. И это после стольких выпитых «джибсонов», — удивился он ее живости. Она в одно мгновение оказалась рядом с ним. Мелькнула ее нога, и Уэбел не понял, что она сделала. Вдруг Теренс оказался на полу среди сигаретных окурков и лужиц пролитого пива.

— Послушай, Теренс, — мягко сказала девушка, — истинные джентльмены не трогают пьяниц, а я из их среды.

Теренс с ненавистью смотрел на нее снизу. На полу его узкий, безукоризненный костюм казался потрепанным и немодным.

Она помогла Теренсу подняться.

— Ты дала мне подножку, — сказал он обвиняющим тоном.

— Да, дала, Теренс, — спокойно ответила она, отряхивая сор с его костюма.

— Думаю, лучше нам пойти домой, — сказал Теренс, гневно поглядывая на окружающие его лица. — В этом месте пропал весь шарм.

— Но только не для меня, — сказала девушка. — Иди домой. И подари мне когда-нибудь колечко.

Теренс начал вытаскивать из кармана бумажник, но девушка оттолкнула его руку.

— Я сама заплачу, — сказала она улыбаясь, но ее улыбка, казалось, долетала сюда издалека, с Аляски.

Теренс огляделся. Эдди выбивал пробку из стеклянной пивной бутылки, весь поглощенный своим занятием. В четырех футах от него стоял Уэбел с недовольным видом, как человек, которого лишили удовольствия подраться. Парочка в третьей кабинке снова сцепила руки и, как прежде, сидела со своими двумя бутылками пива. Маккул затушевывал левую ножку Брижит Бардо.

— Ну, — сказал Теренс, словно такой звук предшествовал его важному политическому заявлению. Повернувшись, он вышел, громко захлопнув за собой дверь.

Его девушка села на свое место на высоком стуле у стойки, а Уэбел вернулся в свой угол. Наступила короткая тишина. Девушка, сбросив балетные туфли, стащила с себя сначала один чулок, затем другой. Уэбел не смог сдержать своего удивления.

— Ненавижу все эти вещи, — объяснила ему девушка. — Но Теренс постоянно твердит, что ему нравятся цыганки. Вот у него такое представление о цыганках, — зеленые чулки. И к тому же, — она хлебнула из стакана, — не верьте всей этой чепухе о Домингине и его выступлении в Сантандере. Я никогда не была ближе трех тысяч миль от Сантандера и никогда в жизни не видела боя быков. Весь этот вздор я прочитала в журнале. Три года назад летом Теренс побывал в Испании, и он не станет даже смотреть на девушку, если только она не говорит ему о «manoletiras» и о том великом дне, когда Хосе, как его там бишь, выступил в «альтернативе» против Миуры в Виттории. Ole! — Она хрипло рассмеялась. — Все лето в прошлом году я провела в Фар Рокэвей. Девчонки сейчас — дрянь. Знаете, почему они дрянь?

Она обращалась прямо к Уэбелу, и ему нужно было что-то ей ответить.

— Почему же? — спросил он.

— Потому что гуляют с подонками, — сказала девушка. — Они готовы на все, только чтобы в их квартире не прекращались эти проклятые телефонные звонки. — Она вдруг пропела все стихи песни «Старый Нассау», пропела сладким голоском, с большим чувством. Закончив, она сказала, не обращаясь ни к кому, просто так: — Я сказала ему, что училась в Антиохском колледже. Ха! Я так и не закончила даже среднюю школу Джеймса Мэдисона.

— Нельзя ли вас угостить, мисс? — спросил Эдди. — Вы помогли остановить это вторжение чужаков. Вы нанесли удар, удар в защиту демократии.

— Нет, благодарю вас, мистер Хольштейн, — сказала девушка, сворачивая свои чулки и убирая их в сумочку. — Эта маленькая девочка сегодня уже приняла достаточно джина. Пора в постельку, бай-бай, мистер Хольштейн.

Эдди дотронулся до бумажного пакета с двумя бутылками вина.

— Вам они не нужны? — спросил он.

— Почему же, мистер Хольштейн, конечно, нужны. — Она придвинула к себе пакет. — Я выпью это «шабли», которое все же, по-видимому, пить можно, завтра утром во время пикника на Западной Семьдесят четвертой улице. Нахожусь я всего на расстоянии шестидесяти пяти миль, — любая ворона может долететь, — от Йеля с его Кубком.

Она босиком направилась к двери.

— «Настрой свое сердце...» — напевала она чисто по-женски, с особой старательностью, проходя через дверь на улицу.

— Ночь — она и есть ночь, — сказал Эдди, покачав головой. Он повернулся к Уэбелу.

— Может, вам еще чего-нибудь?

— Кофе, Эдди, — ответил Уэбел.

— Еще кофе? — лицо его еще сильнее помрачнело. — Не забывайте участь Эдгара Уоллеса, — сказал он. И пошел, чтобы налить ему свежего кофе.

«ЗОЛОТИСТЫЙ ЛЮТИК» У КРАЯ МОГИЛЫ

Она была удивлена, увидев Бордена в церкви. Она и не знала, что он — в Лос-Анджелесе. Только в одной газете было помещено такое сообщение: «Смерть бывшего сотрудника государственного департамента. Вчера ночью после продолжительной болезни в больнице в Санта-Монике скончался Уильям Макферсон Брайант. Он поступил на дипломатическую службу в 1935 году, занимал различные посты в Вашингтоне, Женеве, Италии, Бразилии и Испании. Вышел в отставку по состоянию здоровья в 1952. У супружеской четы детей не было. Его вдова под девичьим именем Виктория Симмонс работает редактором «Странички для женщин» в нашей газете».

В церкви почти не было прихожан, так как у Брайанта, по сути дела, не было друзей, когда они с женой перебрались на Запад. Там стояла небольшая кучка людей, сотрудников газеты, которые пришли сюда, чтобы выразить свои соболезнования вдове. Так что Виктория сразу, без особого труда заметила Бордена. В этот хмурый, дождливый, ненастный день он сидел один в глубине церкви, возле самого входа, и его белокурую голову, конечно, нельзя было спутать ни с чьей другой. Рассеянно, слушая лишь вполуха то, что говорил священник, Виктория вдруг вспомнила тайную кличку Бордена, — они втроем называли его «золотистым лютиком».

В погребальном кортеже, приехавшем на кладбище, было всего два автомобиля, но Борден как-то ухитрился втиснуться во вторую машину и во время траурной церемонии стоял под дождем с непокрытой головой возле могилы. Виктория сразу заметила, что теперь он красит волосы, хотя если глядеть на него издалека, то он был все еще похож на парнишку с привлекательными, почти детскими чертами лица, а вблизи можно было заметить, что его лицо все в морщинах правильной формы, прямых, темноватых линиях, и кажется покрытым серым налетом усталости и переживаний из-за своего ненадежного положения.

Когда она скорбно отходила от могилы, прямая, стройная пожилая женщина с сухими глазами, в своем черном траурном платье, Борден на ходу спросил ее, не хочет ли она поехать домой вместе с ним? Так как ей предстояло возвращаться с кладбища только в компании одного священника и в машине были свободные места, она согласилась. Голос у Бордена тоже порядком изменился. Как и его крашеные волосы, он претендовал на молодость и энергичность, на то, что она так хорошо помнила, но чего больше не было и в помине.

Священник промолчал почти всю дорогу назад, в город. Виктория познакомилась с ним впервые только за день до этого, когда занималась организацией похорон. Ни она сама, ни ее муж не были его прихожанами, и на лице у священнослужителя было слегка озлобленное выражение, которое часто можно видеть на лицах представителей его профессии, когда они с сожалением понимают, что их религиозными услугами пользуются лишь в силу необходимости, а не из соображений, диктуемых верой.

В машине все трое едва обменялись тремя десятками слов на всем пути до города. Священник вышел у церкви, робко, смущенно пожав им руки, едва коснувшись их своей, и Борден, когда тот захлопнул двери, осведомился, не может ли он проводить Викторию домой. Она абсолютно не утратила самообладания, — все свои слезы она выплакала за эти годы, — и ответила ему, что ей не нужна его помощь. На самом деле, придя домой, она собиралась сразу же сесть за свой письменный стол, чтобы поработать над своей воскресной газетной «страницей», потому что этого, во-первых, нельзя было откладывать, а во-вторых, работа — это надежное средство от охватившего ее приступа меланхолии.

После ухода священника Виктория, повернувшись к Бордену, попросила сигарету. Она отбросила вуаль, а он вытащил две сигаретки из золотого портсигара — для нее и для себя и зажег их, щелкнув золотой зажигалкой. Что-то не нравилось Виктории в суетливых движениях его рук. Трудно объяснить что. Они казались ей какими-то неестественными, слишком большими. Другого слова она так и не могла подобрать.

Они молча ехали с минуту, может, две.

— Он был счастлив, эти последние несколько лет? — спросил Борден.

— Нет, увы, — ответила она.

— Какая досада! — вздохнул Борден. Этот вырвавшийся у него вздох, конечно, предназначался не только ее усопшему мужу.

— Такой способный человек, такой способный.

Его высокопарный тон резанул ей слух. Ей показалось, что в это мгновение он превратился в политика, произносящего торжественную речь при освящении статуи, с запозданием поставленной в память о погибшем в этой уже полузабытой войне.

— Чем он занимался после ухода в отставку? — поинтересовался Борден.

— Читал, — сказала она.

— Читал? — озадаченно переспросил Борден. — И все, больше ничего?

— Ничего. Моя работа в газете позволяла нам жить достаточно хорошо.

— Вот не знал, что вы стали кем-то вроде писательницы, — признался Борден.

— Только в силу необходимости, — ответила она. — Я выучила английский алфавит на курсах английского в колледже.

Они оба улыбнулись.

— Клэр теперь с вами? — спросила Виктория.

Борден бросил на нее странный взгляд, словно подозревая в невольном сарказме.

— Разве вы ничего не слышали?

— Что я должна была слышать? — удивилась она.

— Мы уже шесть лет как в разводе. Она вышла замуж за итальянца. Он — владелец конюшни рысистых лошадей. Больше она не вернется в Америку.

— Очень жаль, — сказала она.

Он пожал плечами.

— Это, по сути дела, нельзя было назвать браком. — Голос у него звучал ровно, небрежно. — Мы здорово притворялись в течение нескольких лет, хотя нам с ней все равно было не так уж плохо. Ну, после этого, — как и полагается: «Adieu, Chedi...»

— Что вы здесь делаете? — спросила Виктория.

— Ну, — продолжал он, — после катастрофы мы с ней немного побродили по Европе, но прежних отношений уже, конечно, не было. Я не желал никакой работы, у нас было достаточно денег, чтобы я не торчал на службе, и когда мы входили в чью-то комнату, то сразу слышали знакомый шепоток. Может, нам это лишь казалось, но все-таки...

— Нет, вам не казалось, — подтвердила Виктория.

Некоторое время они ехали молча. Потом он спросил у нее номер ее телефона, записал его удивительно аккуратными крошечными буковками, водя по странице красивого кожаного блокнота золотым карандашом.

— Если вам вдруг захочется, — сказал он, — то позвоните мне, и мы вместе пообедаем. — Он протянул ей свою визитку. — Борден Стейнс, — прочитала она, — «Полуденный магазин. Модная одежда для мужчин».

— Я там ежедневно, — объяснил он, — после одиннадцати утра.

Она неоднократно проходила мимо этого магазина. Его название в витрине всегда казалось ей глупым и претенциозным. Во всяком случае, по-английски. Но он был достаточно элегантен, дорогой, в его витринах демонстрировались броские яркие мужские сорочки с галстуками, итальянские свитера, ну и прочие вещи мужского туалета, но все они, на ее вкус, казались слишком крикливыми. Она в него никогда не заходила.

— Я купил магазин лет пять назад, — сообщил ей Борден. — Наконец я решил, что пора чем-то заняться. — Он смущенно, с виноватым видом улыбнулся. — Просто поразительно, как удачно все вышло. По правде говоря, мне никогда и в голову не приходило, что в конце концов я стану торговцем галантерейными товарами в Беверли-хиллз. Ну, в любом случае, он не дает мне возможности бездельничать.

Машина остановилась у многоквартирного дома, в котором жила Виктория. Дождь все не прекращался, но Борден бойко выскочил из автомобиля, чтобы галантным жестом открыть перед ней дверцу. Он отослал шофера домой, заявив, что предпочитает немного пройтись.

— Вы уверены, что не будете чувствовать себя одинокой? — вежливо осведомился он. — Знаете, я был бы просто счастлив подняться к вам... и...

— Нет, не нужно, благодарю, — осадила она его.

— Ну... — неуверенно протянул он. — Мне казалось, что я просто обязан прийти. В конце концов, мы провели вместе столько приятных минут... — Голос у него смолк.

— Очень приятно, Борден, что вы пришли, — сказала Виктория.

— Хочу сделать одно небольшое признание, — сказал Борден. Он пугливо озирался, словно опасаясь, что его кто-то подслушает. — Я на самом деле видел вас в тот день, Викки. Когда ты, улыбнувшись, отвернулась. Я всегда чувствовал себя во всем этом глупцом, свою вину, и я...

— В какой день? — спросила Виктория. Она, повернувшись, открыла дверь в вестибюль.

— Неужели ты не помнишь? — Он впился в нее своими подозрительными, пытливыми глазами.

— В какой же день, Борден? — повторила она, все еще не убирая руки с круглой бронзовой ручки.

— Думаю, я все же ошибся, — сказал он. — Ну да ладно, это не столь важно. — Он мило улыбнулся ей, почти точно имитируя парнишку с его детскими манерами, поцеловал ее в щеку на прощание, поцеловал, может, в последний раз, навсегда, и пошел прочь, такой моложавый, такой стройный в своем модном плаще, с поблескивающими от капель дождя белокурыми волосами на непокрытой голове.

Она поднялась к себе, открыла дверь. Отшвырнула от себя шляпку с вуалью и стала бесцельно расхаживать взад и вперед по пустой квартире. То, как она выглядела внутри, — не описать пером. Никто сюда не наведывается, казалось, жаловалась квартира, я стала тем местом, где двое когда-то давно обрели свое убежище. Временное. Теперь это убежище не для двоих, а для одной.

Не испытывая никаких эмоций, Виктория смотрела на фотографию мужа в серебряной рамке. Ее сделали лет десять назад. Это был настоящий фотопортрет, муж старательно позировал для него в фотоателье, ведь он был таким серьезным, с полным осознанием своей ответственности, словно молодой человек, которого вдруг избирают в попечительский совет университета, того самого, который он когда-то окончил. Разве можно себе представить на нем модный костюм, один из тех, которые выставлены в витрине калифорнийского «Полуденного магазина».

Ее ждала работа — разложенные на столе бумаги, чистые листы, но она никак не могла себя пересилить и заставить засесть за нее. Эта встреча с Борденом всколыхнула слишком много воспоминаний. Она была такой неожиданной, настолько взбудоражила ее, разволновала, что оказалось не под силу даже давно ожидаемой смерти мужа.

Она подошла к кладовке, где хранила файлы и рукопись в картонном переплете. На обложке большими цифрами было написано: 1953. Она полистала странички, покуда не нашла то, что искала. Она увидела тонкую папочку, аккуратно скрепленную медными скрепками, а в ней около двадцати пяти напечатанных на машинке белых листочков.

Виктория села на стул возле окна, которое все еще заливал дождь, надела очки и принялась читать. Впервые за последние, по крайней мере, десять лет она глядела на эту папку.

— «Письмо из пустыни», — прочитала она заголовок. — Короткий рассказ В. Симмонс.

Скорчив кислую гримасу, потянулась за карандашом. Густо заштриховала фамилию В. Симмонс. Сев на стул, снова углубилась в чтение.

«Вполне естественно, — читала она, — я не поставлю под этим своего настоящего имени. Если читатель дочитает мой рассказ до конца, то поймет почему.

Если мне повезет и после многочисленных попыток на самом деле удастся стать писателем, то нет ничего проще, чем скрыть свое настоящее имя. До этого я еще ничего не написала, и все эти годы, когда была замужем, в опросах или официальных запросах на вопрос «Род занятий» неизменно отвечала: домохозяйка.

Я все еще по-прежнему стелю постели, готовлю трижды в день еду, дважды в неделю выхожу в город, чтобы сделать необходимые покупки, у нас нет соседей, нет друзей, поэтому никто из чужих не увидит пишущую машинку на моем письменном столе или пачку дешевой бумаги, которой я заблаговременно запаслась в С. — большом городе, расположенном в пятидесяти милях от того места, где я живу. Я приняла все меры предосторожности, сняла в аренду почтовый ящик в том же городе под вымышленным именем, то есть псевдонимом, которым намерена пользоваться при переписке с издателями и редакторами. Если возникнет нужда отправить по почте что-нибудь написанное мною, то я сама поеду в этот большой город, запечатаю все свои рукописи в обычные, ничем не примечательные конверты, сама отнесу их на почту, когда там больше всего посетителей. Ради этого я надену свое самое простенькое, скромное платье, чтобы никто не обратил внимания на пожилую женщину, ожидающую подходящего момента у широкой щели в стене отдела отправки, чтобы незаметно протолкнуть в нее свой пакет.

Все эти меры могут показаться читателю излишними, чрезвычайными, но дело в том, что до последнего времени мы с мужем жили в атмосфере постоянной слежки, слухов об установленных в нашей квартире «жучках», перехватываемой почте и секретных донесений о наших частных беседах с друзьями. Хотя, как я полагаю, эти слухи куда более грозные, чем сами факты, трудно с уверенностью утверждать, насколько все серьезно, и я уже привыкла к постоянной дрожи от страха и неизвестности. Даже в такой жизни, которую мы ведем, в открытой пустыне, без слуг, где нет ни одного другого дома на горизонте, нет телефона для излишне любопытных, злых людей, любителей подслушать чужие разговоры, я все равно не могу отделаться от постоянного подозрения.

Нашу давнюю привычку к полной изоляции приняли на таких странных условиях в том городе, где я обычно делаю свои покупки. Мой муж никогда не кажет носа из дома, и все жители, конечно, знают, что мы не принимаем ни гостей, ни визитеров. Я вступаю в контакт только с продавцами магазинов, лавок да почтальоншей, и, по-видимому, они пришли к выводу, что мой муж страдает от чахотки и приехал сюда, в эти места, чтобы на пользу себе обратить наш сухой, жаркий климат и тишину, обычно царящую в пустыне. Вполне естественно, мы ничего плохого им не говорили. Джон, мой муж (это, конечно, не подлинное его имя), никогда не пользовался особой популярностью, и его имя не появлялось в газетах, но нам удалось избежать последствий тех событий, которые привели нас к этому уединению, главным образом, благодаря везению.

Решение писать крепло во мне постепенно и объясняется целым рядом причин. У меня оказалась масса свободного времени, так как все хлопоты по дому, такие незначительные и простые, не занимали у меня больше трех-четырех часов в день. Со времени приезда сюда моего мужа он становился все менее и менее общительным и проводил большую часть своего времени за чтением, уединившись в уголке нашего патио, защищенного каменной стеной от ветра, или часами любовался грядой гор, окаймляющих нашу пустыню с северной и восточной сторон. Финансовый вопрос возникнет, как я думаю, не раньше следующего года, и теперь я вообще пришла к выводу, что муж в свои сорок пять больше никогда не будет работать.

Когда он впервые приехал сюда, я предполагала, что наше уединение — дело временное, и продлится недолго, покуда муж не смирится со своим поражением, не соберется с силами, чтобы предпринять усилия в новом направлении. Вначале он посылал по нескольку писем в неделю старым друзьям и знакомым, в которых сообщал, что после продолжительного, может, полугодового отпуска снова будет готов приступить к работе. Он, конечно, отдавал себе отчет, что на государственной службе он будет абсолютно бесполезен, во всяком случае, в ближайшем будущем, но его образование, его жизненный опыт, особенно служба за границей могут оказаться весьма нужными для целого ряда частных предприятий и учреждений.

По тону и содержанию ответов на его письма, особенно на те, которые приходили от его друзей со студенческой скамьи, можно было с полной уверенностью судить, что он, мой муж, напрасно предается иллюзиям, хотя никогда и вида не подавал, что сильно этим расстроен. Вот уже три месяца он не написал ни одного письма.

Он никогда не признавался мне, что оставил всякую надежду, но я слишком хорошо его изучила, и поэтому никогда не требовала от него никаких откровенных заявлений. Я шпионю за ним. Читаю его письма. Исподтишка наблюдаю за сменой его выражения на лице, если рядом с ним. Когда перед ним на столе появляется какое-то новое, незнакомое ему блюдо, я не спускаю с него глаз, ищу, пусть даже едва заметные, признаки одобрения. Когда у нас еще были друзья, я могла с точностью почти до секунды определить, что их дружба начинает угнетать его, надоедать ему, и решительным образом принимала все меры, чтобы такая дружба завершилась как можно скорее и самым безболезненным образом. Такие взаимоотношения между женой и мужем я, как писатель, несмотря на современную моду, не имею никакого намерения обсуждать, но, должна признаться, я стала знатоком всех его желаний. Стоит ему прочитать какую-то книгу, я немедленно прочитываю ее после него. Я составила настоящее «досье» всего того, что ему нравится, а что не нравится, его привычных настроений, всего того, что дает ему внутреннее удовлетворение и приносит удовольствие. Я не делаю всего этого из-за ревности или болезненной, женской любви к личной собственности. Я все это делаю тогда, когда могу развлечь его, чем-то заинтересовать, и делаю исключительно для него, не для себя, и только из чувства благодарности к нему.

Мой муж — человек необычный, экстраординарный, хотя в его внешности ничего такого особенного нет, сколь старательно вы бы ее ни изучали. Он носит скромную, не бросающуюся в глаза одежду людей своего круга, у него короткая стрижка, и он зачесывает волосы назад, хотя его продолговатое, костистое лицо и большой, мясистый нос из-за такой короткой стрижки иногда принимают неприятные, искаженные пропорции. Однажды, когда мы проводили отпуск на одном острове в Карибском море, он отрастил волосы и даже густые черные усы. Вдруг, неожиданно его лицо вернуло себе нормальные пропорции и теперь четко отражало свойства его характера. С его загаром, который он приобрел на пляже и на маленьком паруснике, который мы брали в аренду, он был похож на одного из группы молодых людей на фотографии — решительных и смелых, которые уезжают в далекую экспедицию, чтобы взобраться на вершину Гималаев. Но когда пришло время возвращаться на свой дипломатический пост, он сбрил усы, снова сделал себе короткую стрижку, так что его лицо вновь утратило свое замечательное, необычное выражение, и гармония в его пропорциях безвозвратно исчезла.

Его манеры, как и внешность, были призваны скорее что-то скрывать, чем выставлять на всеобщее обозрение. Он — типичный сноб, который всегда безупречно вежлив со своими подчиненными и не проявляет никакого, даже осторожно-поверхностного интереса к присутствию рядом людей, которых обожает. Он подвержен яростным, внезапным вспышкам гнева, которые пытается сдерживать с помощью все более слабеющей силы воли, заставляя себя в момент наивысшего напряжения говорить медленно, низким, дрожащим голосом. Он абсолютно уверен в своем здравом рассудке и выражает полное презрение к способностям большинства людей, с которыми ему приходилось работать, хотя он мог часами слушать их болтовню, делая вид, что его на самом деле заинтересовали их предложения. Этот человек, терзаемый беспредельными амбициями, неизменно отказывался от сотни хитроумных уловок, которые помогали его куда менее одаренным коллегам быстрее добиваться продвижения по службе.

Мучительно терзаемый, насколько мне известно, пламенной страстью, он никогда на людях даже не касался моей руки и никогда не выражал абсолютно никакого, даже самого легкого интереса к присутствию красивых женщин, которые довольно часто посещали то общество, в котором мы с ним так долго вращались. Он жадно ждал прикосновения Судьбы, но не сделал ни одного шага в ее сторону.

Вот таков человек, который теперь сидит изо дня в день, читая в тишине, на жарком солнце пустыни за каменной стеной патио, защищающей его от постоянного знойного ветра, и на нем, как всегда, даже здесь, аккуратно завязанный галстук вокруг накрахмаленного воротничка рубашки и серый пиджак той поры, когда он ходил на работу.

Если он захочет остаться здесь, со мной, один, до конца жизни, то я буду только рада этому. Я пристрастилась к пишущей машинке, так как в той ситуации, в которой мы очутились, у нас нет никакого способа зарабатывать деньги, а обе наши семьи уже давно опустились на самое дно экономической бездны, и посему на помощь от них рассчитывать не приходится. Нам, правда, многого не нужно в этом далеком от окружающего мира месте, и, хотя я не могу похвастать своим опытом в области литературного творчества, все же меня в моем стремлении поощряет приводящее в отчаяние качество тех литературных опусов, которые ежедневно печатаются в нашей стране. Несомненно, образованный человек, который в течение долгого времени, почти целых двадцать лет, находился в самом центре важнейших событий, вполне может, принимая во внимание столь жалкий литературный уровень, заработать себе на самое скромное существование, даже если у него почти полное отсутствие образования.

Должна признаться, что я с удовольствием ожидаю результатов своего эксперимента. Я — женщина простая, мстительная, которой приходилось подолгу не раскрывать рта в компании настоящих дураков и откровенных карьеристов, и теперь, когда я намерена отплатить им за все, чувствую, что смогу извлечь как свою выгоду, так и выгоду для тех читателей, внимание которых смогу привлечь к своему творчеству, читателей, еще не утративших до конца своих искренних чувств под потоками дешевой сентиментальности, яростного насилия и лицемерия, которые постоянно ежедневно прорывают шлюзы наших печатных станков.

Я где-то прочитала, что первоклассные писатели, как мужчины, так и женщины, — это одержимые люди. Хотя я нисколько не обманываюсь в отношении своих способностей или тех высот величия, которых я смогу добиться в конечном счете, я разделяю с ними целиком это единственное чувство. Одержимость. У меня оно тоже есть. Это — мой муж, и о нем я собираюсь писать.

Мой муж — выходец из семьи, которую в другой стране и в другие времена по праву можно было бы назвать аристократической. Ее состояния хватило надолго, что позволило ему ходить в соответствующие школы и закончить соответствующий колледж, и ему случилось учиться в одном классе с поразительно большим числом соучеников, которые проявили себя самым заметным образом в бизнесе и на государственной службе. Испытывая неприязнь к миру коммерции, будучи выходцем из семьи, в которой существовала долгая, уважаемая всеми традиция общественного служения, мой муж поступил на дипломатическую службу. Нужно сказать, это было такое время, когда двери других государственных департаментов были широко распахнуты перед ордами шумных, неприятных карьеристов весьма сомнительного происхождения, с дурными манерами и весьма слабыми знаниями. Дипломатическая служба, в силу существовавшей в ней строжайшей и жесткой системы отбора и ее откровенного пристрастия к интеллектуальным, консервативно настроенным молодым кандидатам из хороших семей, была единственным спокойным анклавом в этой бушующей стихии мелочного элитаризма, в которой истинный джентльмен мог служить на благо своей страны, не идя на компромисс со своей совестью.

Мой муж, который никогда не щадил ни своих усилий, ни себя самого, когда речь заходила о честной работе, получал один хороший дипломатический пост за другим. Он никогда не пользовался большой популярностью, но все относились к нему с большим уважением, и, когда мы поженились, четыре года спустя после его первого назначения, мы оба были абсолютно уверены, что с течением времени он добьется самых высших дипломатических должностей. Во время войны ему была поручена весьма деликатная и очень опасная миссия, и он с ней так хорошо справился, что при встрече с ним государственный секретарь лично поблагодарил его за то, что ему удалось своими умелыми действиями спасти немало жизней американцев.

После окончания войны он был назначен в посольство в столице Х. (Прошу прощения за использование таких старомодных символов. Сейчас в истории нашей страны скромность считается безрассудством, за чем немедленно следуют самые строгие репрессии.) Я не поехала с мужем в Х. В это время, к большому сожалению, выяснилось, что мне предстоит перенести гораздо более сложную операцию, чем до сих пор считал мой доктор. После первой последовала вторая, начались всевозможного рода осложнения, и только спустя полгода мне удалось приехать к мужу.

За шесть месяцев пребывания в этом неспокойном городе мой муж сошелся с двумя людьми, которые, как потом выяснилось, хотели его уничтожить. Первого звали Мундер (имена, конечно, везде вымышленные), который к этому времени добился блестящей карьеры, став первым секретарем посольства. Джон с ним дружил еще в колледже, и эта давнишняя дружба только возобновилась и окрепла во время их работы в посольстве; она позволяла им уважать друг в друге одинаковые по силе амбиции, вырабатывала одинаковое ревностное отношение к работе, дополняла их похожие темпераменты. В то время на посту посла находился весьма любезный, но ужасно ленивый человек, который пытался переложить всю свою работу в посольстве на плечи подчиненных, и Мундеру с моим мужем приходилось довольно часто самим выполнять директивы, поступавшие из Вашингтона, и на месте вырабатывать американскую политику. В этот период во всей Европе, где царил переполох и полная неразбериха после заключенного перемирия, наибольшую выгоду получили коммунисты, и успешные действия посольства, в результате которых там незаметно и без особого шума было приведено к власти правительство, дружески настроенное по отношению к Соединенным Штатам, были, конечно, отмечены, и в этом немалая заслуга принадлежала Мундеру и моему мужу. Фактически из-за этих событий Мундера вскоре отозвали в Вашингтон, где он в течение нескольких лет играл важнейшую, лидирующую роль в выработке американской внешней политики. Но его выдающиеся способности, как это часто бывает, стали причиной его неожиданного падения. Когда пришло время, чтобы принести какую-то жертву, чтобы успокоить раздраженный и разочарованный электорат, Мундера, как раз в силу его прежнего отличия, все стали так невыносимо третировать, что ему пришлось подать в отставку. Его друзья и помощники в Госдепартаменте, хотя и не отдавали в то время себе отчета, тоже были все обречены на понижение в должностях или, что еще хуже, на прозябание на мелких, не имеющих никакого значения дипломатических постах.

Мой муж сблизился еще с одним человеком, на сей раз это оказалась женщина, она была женой дипломата, прибывшего из другой страны, поразительного идиота, который не задумываясь отправлялся куда угодно, чтобы выполнять порученные ему миссии, и иногда пропадал по несколько месяцев неизвестно где. Она же была светской дамой с самым опасным сочетанием всех женских качеств: красивой, разговорчивой, сентиментальной, и всем вокруг было ясно, что очень скоро она окажется в центре громкого скандала, это лишь вопрос времени. К великому несчастью моего мужа, как раз на нем прервалась затяжная череда ее удач, в то время он был ее любовником. Как выяснилось позже, на его месте мог оказаться любой из трех или четырех джентльменов из этой дипломатической колонии, которых она особенно поощряла в своей активной деятельности.

Хотя я находилась на расстоянии четырех тысяч миль от места главных событий, я сразу все поняла, поняла с самого начала, что там происходит. Ну, здесь, как обычно, постарались друзья. Не стану притворяться, что я была ужасно обрадована такой новостью или она застала меня врасплох. В таких браках, как мой, когда партнеры разделены и разлука длится немало месяцев подряд, а жена такая, как я, уже далеко не молодая и скучно однообразная, то лишь закоренелая дура может ожидать от страстного, привлекательного мужчины непреклонной супружеской верности. Я что-то не знаю ни одного брака в кругу моих друзей и знакомых, в котором на том или ином этапе не приходилось исполнять весьма болезненную процедуру либо одному из партнеров, либо обоим, просить прощения за измену, если только они хотели в будущем сохранить неразрывными свои супружеские узы. У меня не было никакого намерения разрушать главный фундамент всей своей жизни ради мимолетного удовольствия взаимных горьких обвинений или ради удовлетворения суетного лицемерия моих друзей. Я не торопилась со своим окончательным выздоровлением, будучи абсолютно уверена в том, что как только я появлюсь на сцене, то постепенно определенный «modus vivendi"1 будет в конечном счете выработан.

К несчастью, когда мой муж сообщил этой даме о моем скором приезде и заявил ей, что это означает конец их близким отношениям, она предприняла нерешительную попытку покончить с собой. Таким способом глупые и фривольные женщины стремятся доказать как себе, так и своим любовникам, что они совсем не такие: не глупы и не фривольны. Наглотавшись таблеток, она позвонила моему мужу. Когда он приехал, то застал ее лежащей без сознания в неглиже. Джон оказал ей первую помощь, в общем, сделал все, что полагается в таких случаях, и даже оставался рядом с ней в больнице до тех пор, пока врачи не заверили его, что ей не грозит никакая опасность. К счастью, обслуживающий персонал больницы оказался вполне нормальным, и все с симпатией отнеслись к моему мужу. С помощью минимальных взяток ему удалось уладить все это дело, чтобы оно, не дай Бог, не просочилось в газеты. Конечно, по городу прокатилась волна слухов, особенно в некоторых недоброжелательно настроенных кругах, и, несомненно, в течение недели или даже двух распространялись на самом деле верные сведения о случившемся; но, как известно, в Европе скандалы очень скоро гаснут, превращаются в десятки безобидных смешных анекдотов, и когда эта несчастная темпераментная дама две недели спустя появилась на дипломатическом приеме под руку со своим мужем, такая же красивая и обворожительная, то всем стало предельно ясно — это печальное событие стало достоянием прошлого.

Муж честно рассказал мне обо всем в тот же день, когда я приехала к нему. Я его внимательно выслушала и сказала, что больше ничего не желаю об этом знать, и мы никогда об этом не упоминали до этого дня. Думаю, я могу искренне признаться, что этот инцидент не изменил даже в малейшей степени наших обычных взаимоотношений.

Но вот в этом месте своего рассказа я начинаю осознавать проблемы, которые обычно возникают перед писателем. Для того чтобы доходчиво объяснить, что произошло, нужно как можно полнее осветить прошлое моего мужа, его личность, особенности нашего приятного для обоих брака, а также все этапы и все важные происшествия в его карьере. Но все это не будет иметь никакого смысла, если не рассматривать всего через призму той атмосферы, в которой ему приходилось работать, жить, того постоянно оказываемого на него давления. Более опытный, более искушенный писатель, несомненно, сумел бы привести максимум такой информации, столь необходимой для описания затейливых, драматических по характеру сцен, чтобы подготовить читателя, увлеченного бурным конфликтом персонажей, сопереживающего им, подвести его незаметно даже для него самого, к наивысшей точке повествования, его кульминации. Я попыталась сделать это в силу двух причин. Прежде всего, это пока выше моих творческих сил. Во-вторых, когда я читала книжки, то обнаружила, повинуясь собственному вкусу, что из писателей лучше всех справились с этой задачей такие, которых я просто не перевариваю.

В жизни людей, как мужчин, так и женщин, как и в жизни правительств и армий, случаются критические дни; они могут с виду ничем не отличаться от других, обычных и рутинных, без видимых признаков грядущих серьезных кризисов с падением кабинетов, проигранных сражений, неожиданно, самым катастрофическим образом оборвавшихся успешных карьер.

Такой критический для моего мужа день, ясный и теплый, наступил поздней весной, когда вода в гавани того порта, в котором он служил вице-консулом, была удивительно спокойной и пронзительно голубой. За завтраком мы с ним пришли к выводу, что уже скоро лето и теперь можем обедать на террасе своей квартиры. Я пообещала ему поискать в магазинах фонари «молнии», чтобы под напором ветра по вечерам не гасли свечи на столе. После обеда к нам должны были прийти двое друзей, чтобы сыграть партию-другую в бридж, и поэтому я попросила мужа захватить с работы бутылку виски. Он вышел, как всегда, безукоризненно, аккуратно одетый, с приглаженными щеткой волосами, такой неторопливый, вдумчивый, — настоящий американец, несмотря на многие годы, проведенные за границей, и, когда он влился в толпу прохожих нашего оживленного квартала, ни у одного из них в этом отношении не возникало ни малейшего подозрения.

Мой муж — человек педантичный, с хорошо натренированной памятью, и, когда позже я спросила его, в силу собственных причин, что произошло сегодня утром, он рассказал мне обо всем, слово в слово. Консул уехал на север страны на несколько дней, и мой муж временно занял его место в кабинете. Когда он пришел в офис и прочитал всю поступившую почту и депеши, то заметил, что ни в одном письме, ни в одном донесении не было ничего особенно важного.

Как только он закончил, в кабинет вошел Майкл Лаборд (прошу вас не забыть, все приводимые мной имена — вымышленные). Кабинет Майкла находился рядом с кабинетом мужа, и они могли, когда хотели, приходить друг к другу через разделяющую их внутреннюю дверь в стене. Ему не было еще и тридцати, у него был невысокий дипломатический пост и занимался он в консульстве торговыми делами. У него была весьма привлекательная внешность, и хотя он был человеком со слабостями, мой муж считал, что он не обделен интеллектом. Ему было одиноко в городе, и мы приглашали его пообедать с нами, по крайней мере, раз в неделю. У него был быстрый ум, правда, мысли постоянно перескакивали с одного на другое, он собирал все сплетни, и, по признанию моего мужа, ему нравилось во время пятиминутного перерыва на работе поболтать с ним, если тот заглядывал к нему в кабинет. В это утро Майкл, как обычно, вошел к нему, — в зубах тот держал сигарету, и у него был расстроенный вид.

— Боже праведный, — начал он, — этот Вашингтон, уму непостижимо!

— Ну что там произошло на сей раз? — поинтересовался мой муж.

— Вчера я получил письмо, — сказал Майкл. — Один мой друг работает в латиноамериканском отделе департамента. Там они просто воют от ужаса. Людей увольняют пачками, каждый день.

— Ну, освободиться от некоторого балласта, — начал было мой муж. Но он всегда очень осторожен в таких деликатных вопросах, даже со своими хорошими друзьями.

— Ничего себе, балласт! Черт подери! — возмутился Майкл. — Они режут по живому. Как сумасшедшие гоняются за гомосексуалистами. Устраивают настоящие облавы. Мой друг сообщает, что они установили тайные микрофоны в половине отелей и баров в Вашингтоне, и уже удалось схватить, подслушав разговоры, человек двадцать. И тут уж без всяких штучек. Никто не интересуется благодарностями в личном деле, никому нет никакого дела до продолжительности службы, вообще ни до чего. Пятиминутный разговор — и пошел вон, в тот же день, как только закончится работа.

— Ну, — сказал мой муж, улыбаясь. — Мне кажется, вам нечего беспокоиться по этому поводу. — Майкл в местных кругах пользовался репутацией дамского угодника, он был холостяком, и, как я уже сказала, весьма и весьма привлекательным внешне молодым человеком.

— Да я не беспокоюсь о себе, вообще об этом, — ответил Майкл. — Но я не столь уверен в отношении главного принципа. Официально провозглашенная чистота нравов. Как только люди начинают отстаивать принцип чистоты нравов, то они, смею вас заверить, не остановятся до тех пор, пока не прищучат всех. И мой друг посоветовал быть весьма осторожным в выборе слов, когда я пишу свои письма. Мое последнее письмо запечатано скотчем, липкой лентой, но я никогда им не пользуюсь.

— По-моему, ваш друг слишком нервничает, — пытался успокоить его мой муж.

— Он утверждает, что у Эль Бланко только в Европе девяносто платных шпионов, — сказал расстроенный вконец Майкл. (Эль Бланко — так Майкл называл сенатора, который держал всю американскую дипломатическую службу в постоянном страхе.)— Мой приятель говорит, что эти проклятые доносчики постоянно шлют ему свои донесения. Он говорит, что они садятся с вами в ресторане за один столик и записывают все ваши шутки, стоит вам отвернуться в сторону.

— В таком случае нужно питаться дома, — посоветовал ему мой муж. — Ну, например, как это делаю я.

— Он говорит еще, что слышал новую выдумку, — продолжал Майкл. — Один псих, которого вы никогда и в глаза не видели, вдруг решил, что он вас недолюбливает, и отправил анонимное письмо в ФБР, в котором утверждает, что собственными глазами видел, как вы в день общенационального праздника Соединенных Штатов четвертого июля вывесили американский флаг вверх ногами и что вы сожительствуете с двумя одиннадцатилетними арабчонками. К тому же он отправляет копию своего письма какому-то бешеному конгрессмену, и тот пару дней спустя, вскакивая со своего места и размахивая этим письмом, громко заявляет: «Я располагаю копией присланного донесения, оригинал которого в настоящее время хранится в файлах ФБР». И вот вы, ничего не ведая, ни сном ни духом, попадаете как кур в ощип.

— Вы этому верите? — спокойно спросил муж.

— Откуда, черт подери, мне знать, чему верить, а чему не верить? Сейчас я жду слуха о том, что им наконец удалось обнаружить единственного человека в здравом уме на Пятой авеню. Получив его, немедленно прошусь в отпуск, чтобы в этом убедиться собственными глазами. — Он, погасив сигарету, пошел к себе в кабинет.

Как потом рассказал мне муж, он сидел за своим письменным столом, ужасно раздосадованный тем, что Майкл поднял тему, которая, если быть честным до конца, отчасти имела отношение и к Джону. Ему дважды отказывали в повышении, и его нынешнее назначение, даже при самом оптимистическом взгляде на ситуацию, нельзя было рассматривать иначе как верный признак того, что он лишился, по крайней мере, благосклонности в некоторых влиятельных кругах дипломатической службы. Вот уже целый год он время от времени испытывал неприятные чувства из-за своей почты, и, хотя старался, как мог, не признаваться в этом даже самому себе, теперь в своих письмах даже к самым близким друзьям старался выдерживать весьма нейтральный тон, не говоря уже о содержании. Нельзя было ничем — ни словом, ни намеком выдавать себя. Когда он сидел за столом после ухода Майкла, то вдруг с тревогой вспомнил, что среди его личных писем, полученных за последние несколько месяцев, было несколько запечатанных скотчем с тыльной стороны конвертов. В ходе исполнения своих служебных обязанностей он в паспортном и визовом отделах получал через каналы разведки секретную информацию удивительно интимного характера о тех людях, которые обращались за визой или паспортом в посольство, причем информацию, — в этом не могло быть ни малейшего сомнения, — которую кто-то собирал незаконным и весьма необычным способом. К тому же в последние месяцы к нему зачастили различного рода расследователи, эти нудные, без тени юмора, раздражавшие его молодые люди, которые, пристав с ножом к горлу, нагло требовали от него компрометирующей информации о его коллегах по работе, начиная с 1933 года. Хотя они постоянно убеждали его, что в этом нет ничего особенного, — так, обычная информация, — он отлично понимал, несмотря на все их заверения, что эти молодцы собирают сведения и о нем самом.

Мой муж — реалист по характеру, и не принадлежал к числу тех, кто считал такую деятельность просто безответственным беспричинным преследованием со стороны Госдепартамента.

Актер в душе, он куда лучше других осознавал тайный и опасный характер борьбы в мире и необходимость принятия в связи с этим надежных оборонительных мер; предательство по-прежнему существовало, его не вырвать с корнем, и он считал весьма легковерными тех его друзей и знакомых, которые либо на самом деле полагали, либо притворялись, что это не так. Его только настораживала расплывчатость самого термина, его пределы, и от этого ему становилось не по себе. Его учили, во время продолжительной службы в Европе, признавать в равной степени как вину, так и невиновность, и все это вылилось в привычку всегда относиться терпимо к разнообразию политических взглядов, но он не мог не знать, что и начальство в результате будет считать его дипломатом старомодным, недостаточно суровым и принципиальным.

Теперь он по обыкновению постоянно советовался со мной по поводу всех получаемых им приглашений, с тем, чтобы по моей рекомендации избежать даже самого поверхностного, «шапочного» общения с такими людьми, которые могли бы его дискредитировать в глазах других. Хотя это необходимая процедура, согласитесь, она неприятна и сильно действует на нервы.

Чтобы действительно получать удовольствие от пребывания в обществе, требовались какие-то особые, привлекательные качества, но они, если и были раньше, вообще исчезли за последний год. Одно дело судить о достоинствах своих коллег и обращающихся к нему за визой или паспортом людей с профессиональной точки зрения дипломата, но совершенно другое — подвергаться принуждению по самым незначительным случаям и высказывать свое мнение о политике, осмотрительном поведении, грядущей потенциальной немилости в компании случайно встреченных собутыльников или туристов в баре.

Размышления Джона прервал приход Трента. Трент был исполнительным директором американской нефтяной компании, и у него в городе был свой офис. Крупный, с приятным мягким голосом человек, родом из штата Иллинойс, чуть старше моего мужа. Они время от времени вместе играли в гольф, и Джон считал его своим другом. Муж поднялся, обменялся с ним рукопожатиями, пригласил сесть на стул напротив. Они поговорили о чем-то, совсем посторонних вещах, и только после этого Трент приступил к делу, которое заставило его прийти сюда, в консульство.

— Мне нужно с тобой посоветоваться, — сказал Трент. Вид у него был не из лучших, и он чувствовал себя не в своей тарелке, ерзал на стуле, что, в общем-то, было не свойственно этому бизнесмену.

— Ты больше разбираешься в таких делах, тебе лучше, чем мне, известно, что происходит в мире. Я торчу здесь уже довольно долго. Каждую неделю я читаю журналы, которые мне присылают из Америки, но из них очень трудно понять, насколько на самом деле серьезна та или иная возникающая ситуация. Я, Джон, столкнулся с одной проблемой.

— В чем она заключается? — спросил муж.

Трент явно колебался, не зная, что ответить, вытащил сигару, откусил ее кончик, отправил, незажженную, в рот.

— Ну, — наконец вымолвил он, сконфуженно улыбаясь. — Однажды мне предложили вступить в Коммунистическую партию.

— Что такое? — удивленно спросил муж. Трент, этот крупный тщеславный, удачливый исполнительный директор, бизнесмен, в дорогом костюме, с аккуратно приглаженными седыми волосами. Его никак нельзя было принять за кого-то другого. И вдруг??!

— Я говорю, мне предложили вступить в Коммунистическую партию, — повторил Трент.

— Когда? — спросил его муж.

— Это было в 1932 году, — ответил Трент. — Когда я учился в Чикагском университете.

— На самом деле? — озадаченно спросил мой муж, не совсем понимая, чего же хотел от него Трент.

— Ну и что мне делать? — спросил Трент.

— Ты вступил? — спросил муж.

— Нет, не вступил, — признался бизнесмен. — Хотя не скрою, я долго размышлял над этим.

— В таком случае, я не вижу здесь никакой проблемы, — сказал муж.

— Тот человек, который сделал мне такое предложение, — продолжал Трент, — был преподавателем. На экономическом факультете. Один из тех молодых людей в твидовых пиджаках, которые побывали в России. Он обычно приглашал способных студентов к себе домой выпить пива, потрепаться, как правило, раз в неделю, и мы разговаривали обо всем на свете: о сексе, политике, и нам казалось, что мы такие умные, интеллигентные — хоть куда. В те дни он был отчаянным парнем...

— На самом деле? — все еще удивленно, не веря своим ушам, переспрашивал его мой муж.

— Ну, — продолжал Трент, — я вижу, чем сейчас занимаются эти комитеты, — колледжами, — и вот не знаю, должен ли я сообщить им его имя.

Сейчас мой муж решил быть настороже. Он вдруг вспомнил, что не очень хорошо знает этого Трента, несмотря на их встречи по вечерам на площадке для гольфа. Он, взяв карандаш, пододвинул к себе блокнот.

— Его имя? — спросил он.

— Нет, нет, — всполошился Трент, — я не хочу вас в это втягивать. Я до конца сам не уверен, стоит ли мне самому вмешиваться.

— Где этот человек сейчас?

— Не знаю, — ответил Трент. — В Чикаго он уже не живет. Я переписывался с ним несколько лет, до того момента, когда все это выплыло наружу. Насколько я знаю, он либо уже умер, либо где-то занимается йогой.

— Скажи, только поточнее, — с некоторым раздражением, довольно резко, спросил его мой муж, — что тебе нужно от меня?

— Только твое мнение, — не моргнув глазом, ответил он. — Ну, помочь, что ли, мне принять нужное решение.

— Сообщи в комитет его имя.

— Ну, знаешь ли, — неуверенно протянул Трент. — Нужно прежде как следует подумать. Мы ведь были с ним хорошими друзьями, я часто думал о нем, и такой шаг с моей стороны может ему сильно повредить, к тому же это было все так давно, лет двадцать назад...

— Ты пришел ко мне просить совета, — твердо сказал мой муж. — Так вот он — сообщи его имя в комитет.

В этот момент дверь отворилась, и без стука вошел консул. Его никто не ожидал всего через два дня, и мой муж, вполне естественно, очень удивился.

— Ах, простите, я не знал, что у вас посетитель, — извинился консул. — Как только освободитесь, прошу вас зайти ко мне.

— Я ухожу, ухожу, — торопливо сказал Трент, вставая со стула. — Благодарю тебя. Благодарю за все.

Они пожали друг другу руки, и Трент вышел...

Консул, осторожно закрыв за ним дверь, повернулся к моему мужу.

— Садитесь, Джон, — сказал он. — У меня для вас есть очень важная новость. Это очень серьезно.

Консул, по существу, был еще молодым человеком, не старше Майкла. Он принадлежал к числу тех юных счастливцев, которые умеют выплывать на поверхность в любой организации, не предпринимая никаких видимых усилий со своей стороны. У него был ясный мягкий взгляд, приятная внешность, и он, казалось, всегда умудрялся отлично загорать — у него был ровный, здоровый загар. В прошлом году он женился на очень красивой девушке, единственной дочери в состоятельной семье, и оба они вскоре обрели весьма ценную репутацию забавной супружеской пары, и поэтому все постоянно приглашали их на приемы, вечеринки, продолжительные уик-энды в самые знаменитые дома. Он был молодым человеком, которого с большим рвением продвигали его начальники, все его явно отличали с самого начала дипломатической службы. Мой муж, который никак не мог похвастаться таким везением или таким темпераментом, как у них, относился к нему с таким же радушием, как и другие, с удовольствием выполнял дополнительные служебные обязанности за консула, которым тот, из-за перегруженности своей «социальной» программы, не имел никакой возможности уделить должного внимания. Нельзя сказать, что мой муж был к нему равнодушен и не завидовал. Да, завидовал, и еще как! Мой муж слишком хорошо осознавал собственную ценность, знал о своих серьезных достижениях по службе и, конечно, не мог не чувствовать допущенную по отношению к нему несправедливость, когда ему приходилось сравнивать их нынешнее положение и вероятное будущее. Кроме того, когда они оба работали в посольстве в Х., мой муж занимал гораздо более высокий дипломатический пост, чем он, и, скажите на милость, какой человек станет равнодушно взирать, как его бывший подчиненный, гораздо моложе его, через его голову добивается большей власти и становится его начальником? Но странная смесь зависти, любви и преданности — не такая уж большая редкость в любой иерархии, как это обычно себе представляют.

Из всех сотрудников только Майкл Лаборд был невысокого мнения о консуле и презрительно называл его «золотистым лютиком» из-за его белокурых волос и постоянного везения. Должна признать, со своей стороны, что я сама, как и мой муж, не была абсолютно очарована консулом. Меня отталкивало в нем что-то смутно неприятное, фальшивое, но я старалась не выдавать своих чувств перед мужем даже намеком. Я также держала в тайне один небольшой инцидент, участниками которого были только двое — консул и я. Однажды днем я делала в городе покупки и на секунду остановилась перед витриной магазина. Когда я нечаянно подняла глаза, то увидела консула. Он выходил из какой-то двери всего в нескольких футах от меня. На нем не было шляпы, волосы у него были еще влажными, прилизанными, как будто он только что принял душ. Он сделал нерешительный шаг в мою сторону, и я улыбнулась ему. Вдруг неожиданно для меня он резко повернулся и, делая вид, что не узнал меня, быстро зашагал прочь. Я была уверена, что он меня видел, и во всем этом небольшом разыгранном спектакле чувствовалось, что он весьма смущен, что, конечно, было отнюдь не в его характере. Я подождала, пока он не завернет за угол, и пошла своей дорогой, нужно признаться, весьма озадаченная. Потом из чисто женского любопытства остановилась, пошла назад, подошла к той двери, из которой только что вышел консул. На одной из створок был список имен шести жителей этого дома, и только одно оказалось мне знакомым. Это была фамилия одного молодого американца, у которого, как полагали, был крупный, независимый доход. Он поселился в нашем городе всего три месяца назад. Я видела его раз, может, два на приемах, но даже если бы его слава не бежала впереди него, я без особых усилий, только по одной его манере ходить и разговаривать, могла бы догадаться, кто он такой. Само собой, если бы консул не повел себя таким странным образом, если бы он, как водится, поздоровался со мной, сказал — «хэлло», как все нормальные люди, то мне бы и в голову не пришло изучать список жильцов этого дома на медных табличках.

— Я прибыл сюда из посольства гораздо раньше, чем рассчитывал, — начал объяснять моему мужу консул, когда тот сел на стул напротив него. — Только потому, что должен лично сообщить вам об этом. Вы временно отстранены от своей должности, и это распоряжение вступает в силу сразу же после окончания рабочего дня.

Мой муж, рассказывая мне об этом, подчеркнул, что он испытал при этом какое-то странное чувство облегчения. Где-то в подсознании, без всякой видимой причины, вот уже в течение двух лет он ощущал, что все время ждет именно этих слов. И теперь, когда эти давно ожидаемые слова наконец были произнесены, он почувствовал, как с его плеч свалился тяжелый груз.

Но все же на какую-то долю секунды у него в голове промелькнуло спасительное сомнение, и он хотел, чтобы оно длилось подольше, чтобы решительно убедиться в обратном.

— Повторите то, что вы сказали, прошу вас, — сказал мой муж.

— Вы временно отстранены от своей должности, — отчетливо повторил консул, — и я горячо советую вам немедленно подать в отставку.

— Мне позволено подать в отставку? — спросил он.

— Да, — ответил консул. — Ваши друзья неплохо постарались, действуя за кулисами, и, по-моему, им все удалось на славу.

— Какие же претензии ко мне? — спросил он. Как это ни странно, но, несмотря на мрачные предчувствия, преследовавшие его вот уже два года, он до этого момента не догадывался, какого же рода обвинение будет выдвинуто против него.

— Это обвинение нравственного порядка, Джон, — сухо продолжал консул. — Но если вы станете протестовать, бороться, то смею вас заверить, что все выйдет наружу и вам придется узнать, что на самом деле думают о вас люди.

— То есть они узнают, что меня прогнали за гомосексуализм, — опередил консула мой муж.

— Ну, не те, конечно, люди, которые лично с вами знакомы, — подхватил консул, — а все другие...

— Ну а если я начну бороться и в результате выиграю дело, что тогда?

— Это невозможно, Джон, — осадил его консул. — За вами следили, и им известно все о той даме, которая пыталась из-за вас покончить с собой. Они располагают заявлением от врача, от портье в ее квартире, еще от одного человека в посольстве, который по собственной инициативе, в качестве частного детектива, собирал сведения о вас и потом их передал куда надо.

— Кто это такой? — спросил муж.

— Этого я вам не скажу, — ответил консул. — А вы сами никогда не узнаете.

— Но ведь это произошло более пяти лет назад, — старался переубедить его мой муж.

— Это не имеет значения, — безразличным тоном сказал консул. — Такое было, и точка.

— Если я подам в отставку так неожиданно, то люди, которые не поверят, что меня прогнали с работы за гомосексуализм, могут подумать, что я представляю собой угрозу для безопасности государства или человек... нелояльный.

— Я же сказал вам, — продолжал консул, — что все заинтересованные лица согласились проделать все без особого шума, не придавая вашему делу большой огласки.

— И все равно, — настаивал на своем мой муж, — кое-что всегда может просочиться, пусть даже немного.

— Немного, — эхом откликнулся консул. — По-моему, лучше всего для вас — уехать отсюда, не поднимая особого шума, уехать в такое место, где вас никто не знает, пожить там с год, пока все это не уляжется.

— Ну а что, если я обращусь ко всем тем людям, с которыми работал долгое время на дипломатической службе, — решил начать атаку с другого фланга мой муж, — и попрошу дать мне характеристики о той ценной работе, которую я проделал вместе с ними, — это может стать моим оправданием, оправданием против обвинения, выдвигаемого общественностью...

— Никаких обвинений, выдвигаемых общественностью, больше нет, — отрезал консул.

— Тем не менее, — продолжал гнуть свое муж, — что если я заручусь хорошими характеристиками от людей, занимающих и не самые высокие посты в правительстве...

— Это вам нисколько не поможет...

— Но даже если это так, — продолжал спорить мой муж, — почему не попытаться. Могли бы, например, лично вы дать мне такую положительную характеристику?

Поколебавшись несколько секунд, консул твердо ответил:

— Нет!

— Почему же нет? — поинтересовался мой муж.

— В силу нескольких причин, — начал объяснять ему консул. — Не забывайте, — ведь с вами поступают довольно снисходительно. Вам разрешено подать в отставку, и все согласны не поднимать шума, все спустить на тормозах. Если вы станете протестовать, сопротивляться, то вполне можете рассердить кого-то из них, он раскроет рот, очень скоро ваше имя замелькает в газетах и вас просто, без всяких церемоний, уволят. Во-вторых, если я напишу вам характеристику, то независимо от того, насколько точно я отзовусь о вашей ценной работе как дипломата-профессионала в нашем консульстве, мои слова могут быть восприняты как попытка оправдать вас, поощрить к более настойчивым протестам, и в результате многие сочтут, что я — на вашей стороне. Поверьте мне, Джон, — сказал консул, — и, по словам моего мужа, он говорил на этот раз искренне, — если бы это вам помогло, я бы пошел на это. Но заранее уверен, что это вам не поможет, напротив, еще больше навредит, поэтому о характеристике не может быть и речи.

Мой муж согласно кивнул, собрал все свои вещи и в последний раз вышел из своего кабинета. Дома он рассказал мне все о случившемся. Пришлось отменить игру в бридж, и я намеревалась как следует все обсудить с ним ночью. Большую часть времени мы потратили, высказывая различные догадки по поводу того человека в посольстве, который взял на себя инициативу и лично, как частный детектив, выслеживал Джона и записал все его амурные похождения. Мы так и не смогли этого выяснить, и по сей день не знаем, кто же это мог быть.

Утром Джон отослал в консульство свое прошение об отставке, и через две недели мы вылетели в Америку. Мы купили машину, отправились на Запад, где хотели найти маленькое уютное местечко, в котором можно было бы жить без больших расходов, где все было гораздо дешевле и где не было бы назойливых соседей. Мы совершили с ним замечательное, очень приятное путешествие, мы наслаждались роскошными пейзажами, богатой густой растительностью, подолгу разговаривали с американцами.

Нам повезло, и мы нашли наконец свой маленький домик. Мы осматривали его всего минут пять, не больше, потом долго разглядывали окружавшую его со всех сторон безбрежную, безжизненную пустыню и сразу же решились, и, нужно сказать, никогда ни на секунду не пожалели о своем выборе. Я выбрала мебель по нашему вкусу, заказала две большие полки для книг Джона. Та лампа «молния», которую я купила в последний день работы Джона, превосходно служила нам, освещая наш обеденный стол, выставленный на патио, под звездным небом пустыни.

За все это время произошел только один инцидент, заставивший меня задуматься, осуществится ли разработанный для нас самих план, и во всем этом целиком виновата моя беспечность. Несколько месяцев назад, во время одной из моих поездок в город, я купила журнал мод, в котором была помещена статья с фотографиями, озаглавленная с типичной журналистской вульгарностью «Модные американцы за границей». Там, на фотографии были изображены консул со своей женой. Они стояли на занесенной снегом террасе в Сен-Морице. Оба такие загорелые, они радостно улыбались. Должна признаться, они были такими красивыми, такими молодыми и такими счастливыми, и им очень шли их лыжные костюмы. И тут я совершила непростительную глупость. Думая, что эта фотография позабавит мужа, я протянула ему журнал и сказала:

— Вот, посмотри, он все еще на коне, не так ли?

Он долго разглядывал фотографию, потом наконец молча вернул ее мне. В тот вечер он совершил продолжительную прогулку по пустыне, где-то бродил всю ночь и вернулся домой только на рассвете. Когда я утром увидела его, то не узнала: лицо у него сразу постарело, посерело от изнеможения, словно пришлось всю ночь с кем-то бороться. Покой и забвение, которых, как мне казалось, нам удалось добиться, мгновенно пропали у него на лице, когда он стоял передо мной, теперь все шлюзы, сдерживающие до поры эмоции, были снесены его неистовой гордыней, его беспредельной амбицией, его клокочущей ревностью, и все это теперь отчетливо отражалось на его лице, в его невыносимо болезненной гримасе, которая застыла на нем из-за этого улыбающегося на фотографии человека, которым он так восхищался и которому служил верой и правдой.

— Больше никогда не поступай со мной так безжалостно, — пробормотал он тем утром, и, хотя мы больше не сказали друг другу ни слова, я поняла, что он имел в виду.

Теперь, правда, все кончилось, хотя этот инцидент давал о себе знать целых три месяца, лишая нас обоих всякого покоя. Мой муж за все это время ни словом не обмолвился со мной, он теперь почти ничего не читал, лишь целыми днями сидел, пожирая глазами пустыню до самого горизонта, а по ночам без устали глядел на пылающий огонь в камине, словно банкрот, который снова и снова мысленно проверяет свои счета, уточняет понесенные убытки и делает это в приступе тихой, беззвучной истерики. Но сегодня утром я вернулась из города с письмом от Майкла, единственного из всех наших старых друзей, который продолжал переписываться с нами. Он прислал коротенькое письмецо, и мой муж очень быстро прочитал его стоя, не меняя привычного странного выражения на лице. Закончив читать, он передал его мне.

— Прочти, — сказал он.

— «Дорогие дети, — писал Лаборд своим торопливым корявым почерком. — Это не письмо, а скорее записка, чтобы вы были в курсе. Погода здесь чудовищная, туземцы ужасно мрачны, все консульство трясет. «Золотистого лютика» больше нет. Он внезапно подал в отставку, всего пару дней назад, не дав при этом никому никаких объяснений. Однако на каждой вечеринке с коктейлем, в каждом баре, где только слышится английская речь, звучит одна и та же догадка — Кинси. Первая капля яда просочилась три дня назад в газетной колонке в Вашингтоне. «Золотистый лютик» с невестой, которая была вся заплаканная, в слезах, вчера отбыли на отдых в Альпы, чтобы там поразмышлять над иронией Судьбы. Сожгите мое письмо и храните для меня теплую постель в пустыне с любовью и проч.. ..»

Сложив письмо, я вернула его мужу. Он задумчиво сунул его в карман.

— Ну, — тихо сказал он, — что ты думаешь об этом?

Он, конечно, не ожидал от меня ответа, и я промолчала. Он сделал круг по дворику, касаясь пальцами нагретой солнцем каменной стены, и, подойдя ко мне, остановился.

— Несчастный человек, — сказал он, и по его лицу было заметно, что его непритворная жалость постепенно возрождается вновь. — Все у него шло как по маслу.

Сделав еще один круг по патио, он, остановившись напротив меня, спросил:

— Что случилось? Как ты думаешь?

— Откуда мне знать? — ответила я. — Думаю, кто-то послал кому-то письмишко.

— Кто-то послал кому-то письмишко, — повторил он, медленно покачивая головой, он долго смотрел на меня, долго-долго, пристально и испытующе. Коснувшись моей руки, он как-то странно улыбнулся.

— Знаешь, о чем я подумал? — сказал он. — Я подумал о том, что неплохо бы нам сесть в машину и поехать в город С, купить там бутылку хорошего вина для обеда.

— Да, — согласилась я с ним, — неплохая идея.

Я пошла к себе, переоделась, и мы промчались по прямой асфальтовой дороге все эти пятьдесят миль до города С. Мы купили там бутылку «Бордо», которая, по словам мужа, была отличного качества, — такого вообще здесь не найти, в самом центре Америки. Казалось, теперь у него все вызывало неподдельный восторг — и толпы прохожих на улицах, и выставленные в витринах вещи, и он даже настоял, чтобы я купила себе красивое хлопчатобумажное платьице с бледно-зелеными узорами, которое он сам высмотрел в каком-то магазине.

Мы поехали домой, я приготовила обед, мы сели за стол в патио, как всегда под звездами, и стали медленно, не спеша есть.

«"Бордо», — сказал муж, — на самом деле удивительно хорошее вино». И мы, не привыкшие к вину, вдруг захмелели; мы оба смеялись без всякой причины, сидя за столом друг против друга, и если бы невзначай кто-нибудь увидел нас в эту минуту, то непременно подумал бы, что мы были очень, очень счастливы в тот вечер...»

Виктория положила папку на колени.

Этот рассказ так и не был напечатан. Она получила три отказа из редакций и отказалась от дальнейшей борьбы с издателями. Сейчас они все поголовно — трусы, убеждала она себя. Она начала писать еще четыре или пять рассказов, но так их и не закончила. Одного желания мало, чтобы стать писателем. Тут не помогут ни образование, ни несправедливость, ни страдания. С выгодой для себя они продали свой домик и переехали в Лос-Анджелес.

Она все разглядывала фотографию своего мужа — такого серьезного, светлого, притворно спокойного, притворно честного. Она не жалела о том, что он умер.

Она выглянула в окно. Дождь все шел. Его шум заглушал гудящий за окном окружающий мир. Какой хороший день для похорон. Неплохой день также и для кое-каких вопросов. Виктория. Победа. Победа, одержанная над чем?

Какой же странной, какой необычной должна быть любовь, если она требовала такую высокую цену за свое выживание? Во времена, когда беснуются, торжествуя, акулы, неужели все должны стать акулами? Что за чудовище сидело тогда за столом в новом красивом платье — гордая, хитрая, коварная, рабски послушная женщина за обеденным столом под звездами пустыни и, улыбаясь от удовольствия и соучастия, смотрела через стол на мужчину, наслаждаясь превосходным французским вином?

Белокурые волосы в тот день были влажными, хотя Борден тогда был моложе и еще их не красил.